

Михаил Волконский

Воля судьбы



Михаил Николаевич Волконский

Воля судьбы

Аннотация

«Несмотря на то, что старый князь Андрей Николаевич Проскуров, Рюрикович по происхождению, был богат, знатен, и если не более, то во всяком случае не менее своих сверстников обладал способностями к службе, – он, достигнув солидного возраста, не сделал карьеры. Ему просто не было счастья. Только что начинала улыбаться ему судьба, как являлось непредвиденное обстоятельство, разрушавшее все планы и надолго уносившее надежду на достижение желанной цели...»

Содержание

Часть первая	6
I. Князь Андрей Николаевич	6
II. Найденыш	11
III. Перелом	17
IV. Новая жизнь	20
V. Жених	26
VI. Дипломатический разговор	33
VII. Рискованная ставка	42
VIII. Встреча	49
IX. Что она скажет?	56
X. Соловьиная песнь	63
XI. Отец	71
XII. Синьор Торичиоли	79
XIII. «Каждому свое»	88
XIV. Новый гость	94
XV. Доктор Шенинг	99
XVI. Мнимобольной	104
XVII. Две девушки	112
XVIII. Болезнь Ольги	117
XIX. Правда доктора	126
XX. Последнее слово князя	141
XXI. Граф	147
XXII. История графа	157

Часть вторая	161
I. Семилетняя война	161
II. Ротный командир	173
III. Первое дело	181
IV. Полковое знамя	190
V. Вдали от военных стонов	197
VI. В Кенигсберге	210
VII. Старый знакомый	220
VIII. Камень философов	233
IX. Третьего ноября	242
X. Выздоровление	257
XI. Факт есть предопределение	271
Часть третья	278
I. Давнишние приятели	278
II. Мать и отец	288
III. Русские люди	293
IV. Екатерина	301
V. Поездка на Мызу	313
VI. Агент	319
VII. Совещание	326
VIII. Блаженны плачущие	334
IX. Забота Ольги	344
X. Список	354
XI. Две встречи	363
XII. Неосторожность	369
XIII. Несчастье	375

XIV. Старые счета	381
XV. Ловушка	393
XVI. Измена	407
XVII. Безвыходное положение	417
XVIII. Двадцать восьмое июня	425
XIX. Розы	431
XX. Предательство	439

Михаил Волконский

Воля судьбы

Часть первая

I. Князь Андрей Николаевич

Несмотря на то, что старый князь Андрей Николаевич Проскуров, Рюрикович по происхождению, был богат, знатен, и если не более, то во всяком случае не менее своих сверстников обладал способностями к службе, – он, достигнув солидного возраста, не сделал карьеры. Ему просто не было счастья. Только что начинала улыбаться ему судьба, как являлось непредвиденное обстоятельство, разрушавшее все планы и надолго уносившее надежду на достижение желанной цели.

И это было тем обиднее, что сначала Проскурову повезло. Двадцати семи лет князь Андрей Николаевич, покровительствуемый Меншиковым, только что достигшим апогея своего величия с воцарением государыни Екатерины I, получил чин бригадира. Все улыбалось ему, он почти был уверен, что счастье, в лице все сильного Меншикова, навеки не изменит ему, лишь бы суметь угодить временщику, и приложил к то-

му все старания.

Но императрица Екатерина вскоре скончалась, а затем и Меншиков пал и был отправлен в ссылку. Проскуров не был замешан в его дело, но как лицо, которому все-таки покровительствовал опальный, должен был уехать к себе в деревню. Ему намекнули об этом; и он, из боязни навлечь на себя еще более тяжкие беды, не заставил повторять себе намек.

Наконец после долгих усилий, просьб и искательств Проскурову удалось вернуться в Петербург, но уже сорокалетним бригадиром. Этот чин, завидный в двадцать семь лет, теперь казался как будто не совсем почетным, когда сверстники князя давно были уже генералами, а иные даже заседали в кабинете.

После тринадцати лет деревенской жизни Проскуров попал в Петербург в самый разгар борьбы Волынского с Бироном. Устроившись в столице, он старался осмотреться и решить, откуда ждать ему столь желаемых благ. Бирон был временщиком. Проскуров, видевший силу Меншикова, который, несмотря на эту силу, все-таки не мог устоять против происков врагов, теперь, видя всеобщую, хотя скрытую, нелюбовь к Бирону, решил, что и этому временщику не миновать гибели, и примкнул к Волынскому. Князь рассчитал верно. Однако не совсем: Бирону суждено было пасть, но только не Волынскому предстояло победить его; Волынский сам пал, казненный на площади. Проскуров не ждал на этот раз даже намека и сам поспешил уехать поскорее в деревню.

Скончалась императрица Анна Иоанновна, а через три месяца после этого правительницей Анной Леопольдовной был сослан Бирон. Проскуров снова ожил, снова, полный надежд, вернулся в Петербург, нашел дорогу к сильным людям, но едва приготовился встретить радостью как будто к нему на этот раз обращенную улыбку счастья, как новый удар, новое разочарование: ноябрьскою темною ночью цесаревна Елизавета Петровна явилась в казармы Преображенского полка, с тремястами солдат арестовала правительницу и была провозглашена самодержавной императрицей. Сильные люди, на которых надеялся и в которых верил Проскуров, а именно Миних, Остерман, Головин, были сосланы в далекие города, а сам Проскуров отправлен «вечным» бригадиром вновь в свое имение. «И все за то только, что в жилу не умел попасть», — как говорил он.

С тех пор, то есть с воцарения Елизаветы Петровны, князь Андрей Николаевич жил уже безвыездно в деревне.

Однако, поселившись там, он все еще в глубине души надеялся, что настанет наконец и его время, и ждал этого времени, не замечая, что годы проходят, а сам он стареет. Это начало старости становилось в нем в особенности заметным по увеличивающейся с каждым годом ворчливости и раздражительности.

Свою барскую усадьбу Проскуров устроил в виде замка, окружив ее частоколом, валами и бойницами: он открыто принимал у себя только таких людей, которые бранили со-

временные порядки, и не пускал к себе лиц начальствующих; и благодаря его богатству это сходило ему, а главное – и ездили-то к нему, в сущности, люди самые смиренные, только прикидывавшиеся пред ним недовольными, чтобы иметь к нему доступ, потому что всегда находили у него хороший завтрак и отборные вина. Князь Андрей Николаевич только и бывал в духе, когда, сидя за столом и кивая дворецкому, чтобы тот подливал вина, слушал разговоры о том, какие тяжелые времена, мол, переживаются теперь. Тогда он хмурил свои нависшие на глаза брови и одобрительно потряхивал чубуком.

Несмотря на безвыездную жизнь в деревне Проскуров все-таки внимательно следил за всем, что делалось в столице, в особенности за наградами и повышениями, и, встретив в «Петербургских ведомостях», в списке награжденных, знакомую фамилию, выходил обыкновенно из себя, комкал газету, кидал ее и становился несносен для окружающих. Правда, иногда он сам старался совладать с собой и тогда записывался в своем кабинете.

Но ничто не бесило Андрея Николаевича так, как возвышение Разумовского. Это он уже никому простить не мог и даже в провинции не терпел ненавистного имени. Одного из гостей он чуть не затравил собаками за то, что тот заговорил при нем о Разумовском, хотя и неодобрительно. Андрей Николаевич не хотел примириться с мыслью, что простой певчий стал вдруг вельможей, когда он, князь Проскуров, придворный Рюрикович, сидит где-то у себя в деревне с чином

бригадира. Он всей душою ненавидел этот свой чин и тоже комкал и бросал письма, не читая их, если на адресе к титулу было прибавлено «и бригадиру». Впрочем, он говорил всем, что на чины не смотрит и что незачем ему иметь их, когда у него есть неотъемлемый княжеский титул, прирожденный, который пожаловать нельзя. И этому прирожденному титулу он придавал такое значение, что у него в усадьбе, в штабе служащих, жил ученый итальянец, специально приглашенный для составления родословной князей Проскуровых.

II. Найденыш

К 1789 году князь Андрей Николаевич женился в Петербурге по любви и, пока все хорошо шло у него тогда относительно службы, был ласков с женою и, казалось, души в ней не чаял. Он ждал, что первым ребенком у него будет непременно сын, продолжатель рода Проскуровых, и так, казалось, уверен был в этом, что только и говорил о том, как он назовет сына, как будет растить и воспитывать его. И вдруг родилась дочь. Князь заперся на неделю к себе в комнату, не пожелал видеть ребенка, не пошел к жене и отменил приготовленное заранее угощение для дворовых. На крестинах он тоже присутствовал лишь официально и никакого пира не устроил. Девочку назвали Ольгой.

С рождением дочери Андрей Николаевич вдруг охладел к жене. Вскоре тут пошли служебные неприятности. Положение Волынского, у которого «искал» Проскуров, казалось поколебленным. Князя грызло предчувствие, что он опять дал промах, и настроение его духа становилось все хуже и хуже. Конечно, страдали от этого главным образом домашние князя.

Княгиня была женщина болезненная, худенькая. Она едва перенесла первые роды, и доктора сказали, что вряд ли у нее еще будут дети. Это окончательно сразило Проскурова. Он долго не мог примириться с мыслью, что должен навсегда

расстаться с мечтою о сыне.

Отношения его к жене совершенно испортились. Дом их разделился на две половины, и князь из своих комнат иногда по целым неделям не хаживал на половину княгини.

Однажды, рано утром (князь Андрей Николаевич только что встал с постели), в парадных больших сенях раздался крик младенца. Это был настойчивый, заявлявший свои права на жизнь крик маленького существа, видимо, оставленного на милосердие добрых людей. Проскуров, сидевший в это время за сбитнем, поднял голову, прислушался, сейчас же понял в чем дело и велел принести к себе ребенка. Было ли в этот день особенно весело на душе Андрея Николаевича, потому что он получил накануне хорошие вести о ходе борьбы Волынского с врагом его, или подкинутому ребенку было суждено найти кров в доме Проскурова, но когда князь нагнулся над корзиной, где лежало дитя, то улыбнулся и проговорил:

– У-у, славный какой, да еще мальчик!

Подкинутому мальчику было не больше нескольких дней, но он, словно поняв, что его судьба зависит от настоящей минуты, перестал кричать и растянул свой беззубый ротик, широко раскрыв удивленные черные большие глаза. Князь Андрей Николаевич окончательно рассмеялся и решил оставить мальчика у себя.

Словно в пику жене, он устроил торжественные крестины найденышу, дал ему, в честь Волынского, имя Артемия

и сам занимался всеми мелочами необходимой для ребенка обстановки. Он велел пол в детской затянуть верблюжьим войлоком, люльку обить шелком, сделать несколько шелковых же покрывал и привезти из вотчины кормилицу, здоровую и красивую.

Кормилицу привезли действительно здоровую и красивую, пол затянули, люльку обили, покрывала дорогие сделали, но не сделали многого самого необходимого, о чем князь не умел распорядиться – даже свивальников не хватало. Однако Проскуров остался доволен. Княгиня, занятая на своей половине дочерью, не интересовалась найденным, но князь иногда призывал ее и хвастал пред нею мальчиком.

Пока они жили в Петербурге, можно было еще надеяться, что особенное благоволение князя к найденному явится для него только мимолетным занятием, развлечением и пройдет впоследствии, как одна из барских затей или прихотей. Но вскоре дело оказалось гораздо более серьезным. Как раз в это время случилось падение Волынского, и Проскуровы, торопливо собравшись, уехали в деревню.

Здесь, в деревне, очутившись без занятия, озлобленный неудачей, князь Андрей Николаевич единственно с кем был ласков – с маленьким Артемием. Он как будто радовался, что этим делает больно жене. Он, видевший для себя в жизни одни только неприятности, казалось, готов был теперь платить всему миру тем же, а так как до «всего мира» ему не достать было, а возле него находилось одно только существо,

способное понять и воспринять горечь обиды, а именно жена, то он на ней и вымещал, должно быть, всю свою злобу к человечеству.

Одним из главных орудий такой мести был подкинутый ребенок, и князь с редким терпением нянчился, возился с ним, подчеркивал свою нелюбовь к родной дочери и преувеличивал нарочно привязанность к Артемию.

Княгиня принадлежала к числу тех странных женских натур, которые по непонятной, особенной логике, или, вернее, отбросив всякую логику, с необъяснимой, тихой преданностью любят именно мужей-мучителей, безропотно покоряются им, боятся их, но любят безответною, самоотверженною любовью.

Самые тяжелые годы начинались для княгини, когда она должна была с мужем поселиться надолго в деревне после воцарения императрицы Елисаветы.

Проскуров попал тогда в прямую опалу, конец которой трудно было предвидеть. В иные дни, в особенности когда из столицы приходили вести о наградах сверстников князя, Андрей Николаевич доводил свою жестокость с женою до такого нравственного варварства, что крепостные люди даже жалели ее. Княгиня молча терпела и плакала втихомолку. Проскуров не мог видеть слезы и при виде их приходил в окончательное бешенство.

Между тем время шло, дети росли. Андрей Николаевич выписал учителей и целый ворох книг для Артемия и сам на-

блюдал за его воспитанием. Он лично преподавал ему математику. Эти уроки послужили первым разъединением князя с его любимцем. Сначала все шло хорошо, но вскоре учитель стал выказывать нетерпение, а ученик с каждым днем — увеличивающуюся робость пред ним, вследствие которой во время объяснения урока смотрел на него лишь испуганными глазами и ничего не понимал.

Однако Артемий оказался способным и толковым. Остальные учителя были довольны им, и сам князь, когда бывал в духе и не запугивал мальчика, мог только хвалить его.

Несмотря на появившиеся теперь вспышки гнева по отношению к Артемию за неудачные уроки, князь не переставал утрировать свое расположение к нему, то нарочно говоря при жене, что вот, мол, он не может найти в своей родной семье утешение, а должен искать его в чужом, найденыше, то обещая после своей смерти, которой, вероятно, ждут не дождутся, оставить все этому найденышу, а княжну Ольгу лишить наследства.

Несмотря на то, что Андрей Николаевич старался всяческим образом унизить дочь пред Артемием, видя, что это действует на мать, он всегда называл ее «княжною Ольгою», а Артемия «найденышем».

Княгиня невыразимо страдала и от непрерывных уколов мужа, и от того, что не могла или, как она думала, не умела угодить ему, не спала ночи, хворала постоянно.

Андрей Николаевич так привык к болезненному состоянию жены, что, кажется, думал, что иначе она и жить не может и что все это – пустяки, ничего опасного нет, а есть только одно преувеличение и мнительность. Однако княгиня не только не преувеличивала своего недуга, но, напротив, скрывала его и иногда, чтобы сделать приятное мужу, через силу выходила к нему, к гостям, и должна была улыбаться и пить во время тостов вино, которое терпеть не могла. Она не могла переносить постную пищу, но несмотря на это когда князю иногда приходила фантазия соблюдать вдруг самый строгий пост, принуждала себя есть неприятные для нее блюда. Стоило ей выказать страх пред лошадью – на другой же день ее сажали чуть ли не насильно верхом и не спускали с седла до тех пор, пока она не падала изнеможенная. И много было подобных приемов, изводивших по капле терпение, энергию и здоровье бедной женщины. Проскуров каждый день ухитрялся найти что-нибудь новое.

Княгиня выдержала одиннадцать лет своей замужней страдальческой жизни, но на двенадцатом слегла наконец, измученная, больная, и эта болезнь была последним ее страданием.

III. Перелом

Только тогда опомнился князь Андрей Николаевич, когда было уже поздно и дело оказалось непоправимым. Княгиня лежала при смерти. Чем дольше она перемогала свою болезнь, чем упорнее боролась с нею и скрывала ее, тем сильнее эта болезнь подступила теперь своим последним натиском и вдруг сломила так долго крепившиеся силы измученной женщины.

В большой, затянутой штофом спальне проскуровского дома, на широкой кровати с шелковым балдахином лежала неподвижная, без кровинки в лице, княгиня.

Со вчерашнего дня, после того как ее отсоборовали и причастили, она не сказала ни слова и, как легла на спину, так и оставалась, не меняя положения всю ночь. Никто не знал, в памяти она или нет, страдает ли или уже ощущения у нее притупились, сознает ли наконец, окружающее, или светлое забытие, предшествующее той величественной тайне, которую люди называли смертью, охватило ее существо, готовое встретить свой мирный, тихий, непостыдный христианский конец, потому что иного конца и быть не могло у несчастной княгини, искупившей всей своей жизнью предсмертные свои муки. Она лежала без движения, и только по чуть заметно-му колебанию ее гофрированной белой кофточки да по редкому движению неплотно опущенных век можно еще было

судить, что угасающая жизнь теплится в ней.

Князь, не раздевавшийся и не ложившийся уже три ночи, стоял у постели, боясь, что вдруг не увидит медленного движения и дыхания жены, к которому он жадно столько раз в эти дни прислушивался. И именно потому, что он боялся не найти этого дыхания, ему показалось, что его уже нет, и что последнее движение жизни оставило больную. Он в ужасе, – не крикнув только потому, что судорога свела ему горло, – протянул руки к жене и двинулся вперед.

Княгиня вдруг подняла веки. Ее большие черные глаза открылись и неподвижно уставились на князя, стоявшего тут, против, возле.

«Сознает ли она, видит ли, понимает, простила она или нет?» – тревожно и сразу все одновременно пронеслось в мыслях у князя.

И годами, десятками лет, целою жизнью показались ему те секунды, пока смотрели на него черные осмысленные, без слов говорящие глаза умирающей. Да, они были осмысленны и говорили без слов, что она сознает все, видит, понимает и прощает ему.

Наконец губы княгини шевельнулись и резким, внятным, особенным шепотом она произнесла:

– Девочку... Олю...

Оле шел уже одиннадцатый год. От нее не скрыли болезни матери, но пока думали, что больная вне сознания, ее увели, стараясь как можно сократить тяжелое впечатление. Оля

могла уже понимать.

Кто пошел за Олей, когда ее позвала мать, и скоро ли привели ее, Андрей Николаевич не сознавал; он помнил только (и на всю жизнь запечатлелось в нем это воспоминание), как девочка, серьезная, словно взрослая, без слов, со страшно изменившимся, осунувшимся, но красотой похожим на мать личиком, остановилась у высокой постели и упала на колена.

Мать сделала слабое движение рукою, но последняя не слушалась и бессильно упала опять. Князь положил ее на голову Оли и заглянул в глаза жены, как бы желая узнать, то ли он сделал, что нужно. Взгляд черных глаз ответил ему благодарностью.

Потом больная долго собиралась с силами, и наконец ее губы снова шевельнулись, и чуть внятный шепот сказал:

– Лю... би... ее...

Князь не выдержал, закрыл лицо руками, напрасно слясь подавить сухие рыдания без слез.

IV. Новая жизнь

С тех пор, то есть со дня смерти княгини, прошло восемь лет.

Оля из ребенка стала взрослою девушкой. Обращение с нею отца после смерти княгини резко изменилось. Схоронив жену, князь, в особенности первое время, был очень ласков и мягок со всеми окружающими. Он проводил теперь почти целые дни в комнатах дочери и занимался лишь одною ею. Недавний любимец его Артемий был переведен во флигель, но учителя сначала остались у него. Вскоре, однако, они разъехались, найдя, что условия их жизни в княжеском доме теперь стали невыгодны. Новыми их не заменили. Таким образом Артемий, ровесник Ольги, рано оказался предоставленным самому себе.

Жизнь мальчика, лишенного товарищей, была одинока, и это одиночество спасло его. Если он не имел из-за этого одиночества многих радостей детства, то не имел также дурного примера. Скука и однообразие проводимых безвыездно в усадьбе князя дней прирастили Артемия к чтению. Он рано научился забираться в библиотеку большого дома и там, забытый иногда всеми, просиживал часами, не отрываясь от книги. Он читал все, что попадалось ему под руку, и детское воображение, работая в нем и дополняя прочитанное, создавало чудные картины под влиянием описываемых в романах

событий или приключений, рассказанных путешественниками.

Среди книг часто попадались и более серьезные, научные. Артемий прочитывал и их. Таким образом, когда он вошел в юношеский возраст, то оказался не только не лишенным образования, но мог считаться вполне человеком, знающим многое.

Пришлось ему случайно выказать раза два свои познания пред князем, и Андрей Николаевич снова приблизил к себе прежнего своего любимца, стал поручать ему кое-какие дела, а потом мало-помалу Артемий сделался у него чем-то вроде домашнего секретаря.

Князь свято исполнял завет умирающей жены – любить дочь, но из-за его несчастного, испорченного житейскими неудачами характера эта любовь являлась иногда тяжелою, деспотическою. Он решительно не мог наладить свои отношения к дочери так, чтобы между ним и ею существовали та ясность и простота дружбы и то доверие, которые служат истинным признаком истинной любви. Оля боялась отца более, чем любила. Андрей Николаевич видел это, выходил из себя, но делал усилия побороть бушевавшую в нем желчь; иногда это ему не удавалось, и он раздражался вспышкою гнева, а это еще более запугивало молодую девушку. Правда, в таких случаях князь почти всегда умел совладеть с собою и приходил сейчас же к дочери с ласкою, но и ласкать не умел он.

Тяжелою была жизнь и для самого Проскурова, и для окружающих его.

Чем более уходило времени со дня смерти княгини, тем слабее, разумеется, становилось, впечатление ее конца и тем тяжелее делался нрав Андрея Николаевича.

Но в последнее время у него явились новый предлог для беспокойства и новая причина для гнева. Оля вошла в тот возраст, когда девушка может стать невестою. Это сразу почувствовалось в воздухе. Старухи дворовые, вздыхая и охая, шепотом заговорили по своим светелкам о том, что пора-де приискать жениха красавице-княжне. Соседи спрашивали друг у друга: «За кого же, однако, может выйти замуж Проскурова?» – и не находили ей достойной партии в околотке. Эти толки не доходили до князя, но он и без них не мог не видеть, что его Оля – не вечная жилица в его доме, и что близится то время, когда не он, не отец, а другой завладеет всецело ее сердцем, которое (князь чувствовал это) и теперь не бьется для него так, как этого ему хотелось бы.

Смерть похитила у него одно любящее существо, и он, только потеряв его, понял, как оно было дорого ему, а теперь ему грозила разлукою с другим близким, единственным родным существом свадьба. И князь инстинктивно стал бояться этой свадьбы пуще смерти.

А между тем не только в доме Андрея Николаевича, не только соседи в околотке, но и в столицах вспомнили, что у старого князя Проскурова есть дочь на возрасте наследница

всего его огромного состояния. И вдруг у него в Москве и в Петербурге отыскались приятели, старые знакомые. О них он и помнить забыл, а теперь они писали ему вежливые письма, спрашивали, как живет он, советовали бросить затворничество в деревне, приехать в столицу и намекали, что теперь-де можно устроить это его возвращение, чтобы он только понадеялся на них и выразил согласие, а они уже похлопочут и все устроят.

Проскуров сразу понял истинную причину пробуждения этой приязни старых друзей – у каждого из них, как нарочно, оказывался взрослый сын. И князь с тайным злорадством отвечал на письма, что своим деревенским житьем он доволен, что он стар, что трудно ему подниматься на старости лет всем домом, а главное – не находит нужным тащиться в столицу, когда ему и в деревне хорошо.

Как в продолжение всей жизни, так и теперь странно шутила судьба над князем Андреем Николаевичем: когда он хотел, желал жить в Петербурге – обстоятельства заставляли его уезжать; теперь не было сомнения в том, что дорога ему в столицы откроется свободно, – но он уже не имел охоты стремиться туда, потому что там пугал его призрак свадьбы дочери, для которой, собственно, и звали его туда.

Каждый человек меряет жизнь по своей собственной; так и Проскуров: он не исключительно из себялюбивого страха – остаться одиноким – боялся выдать дочь замуж. Он помнил свою жену и никогда не переставал винить себя, ее мужа, в

ее преждевременной смерти; а если сам он, Проскуров, был таков, то что ожидает его Олю в замужестве?

Чтобы решиться отдать дочь, для князя нужно было решить почти невозможную задачу: найти человека лучше самого себя, и в силу этого каждый, кто мог рассчитывать на взаимность Ольги, становился вдвойне неприятен ему.

Пока в письмах, получаемых Андреем Николаевичем, были одни лишь намеки, они только доставляли ему удовольствие писать язвительные ответы, скрытые под изысканно-вежливую форму. Однако вскоре дело приняло более серьезный оборот. Князь Голицын написал прямо, что много слышал о красоте княжны, что нельзя же девушке жить затворницей, что пора ее отцу подумать о женихе для нее, и что он, князь Голицын, помнит Андрея Николаевича, всегда ему любезного, и что у него есть сын, обладающий превосходными качествами. Письмо было составлено, разумеется, очень гладко, с незаметными переходами, но смысл был более чем ясен.

Предложение казалось таким, над которым следовало подумать: сын князя Голицына являлся блестящей партией во всех отношениях. Однако Андрей Николаевич отказал ему без долгих рассуждений. Он вышел из себя уже, не распечатав еще письма: на адресе стояло злополучное «и бригадирю». Это было достаточно, чтобы князь отнесся к письму с полным предубеждением. Узнав его содержание, он окончательно вспылал. У него разлилась желчь, и он три дня был

болен.

Но это первое, поставленное ребром, приглашение расчи-стило почву для последующих, и вскоре князь Андрей Нико-лаевич должен был принять у себя, в Проскурове, человека, о котором ему приходилось решать, лучше ли он его самого.

V. Жених

Барон Ульрих фон Эйзенбах, проживавший у себя на родине последние крохи значительного когда-то состояния, бывшего у его предков, приехал в Россию искать счастья. Здесь он хотя и нашел его, но все-таки это казалось не то, что он ожидал. Как бы то ни было, барон Эйзенбах все же устроился в Петербурге, женился на русской и прижил с нею сына Карла.

С князем Проскуровым барон сошелся по службе и впоследствии сумел поддержать дружеские с ним отношения. Несмотря на то, что князь даже ссужал его иногда деньгами, эти отношения не испортились. Барон оказывался аккуратен и день в день, час в час платил свои долги.

С переездом князя в деревню барон находился с ним в постоянной переписке, причем никогда в его письмах не было ничего, что могло бы раздражить Андрея Николаевича. В них сообщались лишь сведения, всегда приятные князю: последний из этих писем узнавал о неудаче того или другого в ход пошедшего лица и видел, что не один он на свете терпит немилость судьбы.

Все поручения, какие нужно было исполнить для князя в Петербурге, были ли это мелкие покупки или большие тяжебные дела, исполнялись обязательным и аккуратным образом, и исполнялись самым точным образом. Ни разу ни-

чего не было забыто, ни одной тяжбы не проиграл Андрей Николаевич при посредстве своего приятеля.

Кроме того, барон очень ловко давал при случае понимать князю, что он все-таки имеет какое-нибудь значение в столичном служебном мире и что он – не кто-нибудь, а потомок славного дворянского немецкого рода. Князь благодаря этому не считал его ниже себя, но, напротив, относился к нему, как к приятелю, которому он даже многим обязан.

Итальянец, приглашенный князем для составления родословной, был рекомендован тоже бароном, и через этого-то иностранца Эйзенбах имел аккуратные сведения обо всем, что происходило в Проскурове.

Недаром, разумеется, барон хлопотал для князя, держал на откупу иностранца при нем и ухаживал в продолжение долгих лет за стариком Проскуровым. Восемнадцать лет тому назад, на скромных крестинах княжны Ольги, барон решил: «Вот будущая жена моему Карлу!» – и с тех пор вел правильную осаду для завоевания своему Карлу счастья, гарантированного богатым приданым княжны.

Он заботился о сыне, насколько хватало у него сил. Карла природа наградила всем, чем только могла, – и умом, и молодцеватым видом, и красивым лицом. Об одном только жалел его отец, а именно, что не может оставить ему крупное состояние, и старался заменить этот пробел, приготовив ему одну из самых богатых невест в России. Само безвыездное житье Проскурова в деревне было на руку барону. Роскошь

двора Елизаветы и наличной аристократии в Петербурге на глазах Эйзенбаха съедали целые состояния, имущество же Проскурова лишь увеличивалось от его затворничества в деревне. Одиночество же этой затворнической жизни лишало барона конкурентов в задуманном им деле, потому что он знал наверное, что на письме никто так не сумеет подойти, как он, к взбалмошному и своенравному князю.

У Андрея Николаевича была одна склонность; она проявилась сравнительно недавно, но тем не менее с необычайной силой, как всякая прихоть: он полюбил цветы, в особенности розы. Расширяя коллекцию их, князь поручил барону выписать и выслать ему целую партию кустов. Эйзенбах исполнил это, как всегда, крайне тщательно. Князь остался ими очень доволен и целый угол своего сада отделил специально под розы. Они разрослись и, покрытые цветами, представляли действительно прекрасный вид, производивший совсем необычайное впечатление.

Весною того года, когда исполнилось Ольге восемнадцать лет, князю понадобились еще какие-то совсем особенные сорта. Он написал об этом барону. Тот ответил, что достанет розаны из императорских оранжерей, что по нежности их они требуют очень тщательной упаковки, а главное – перевозки, и доставить их затруднительно, но, по счастью, его сын Карл намеревается поехать в Москву и по дороге может, если угодно, завезти посылку собственноручно к князю.

Андрей Николаевич был поставлен до некоторой степени

в тупик этим письмом приятеля. В этом письме, разумеется, не было и тени намека относительно каких-либо видов барона по отношению к княжне, однако старый князь сразу отнесся недоверчиво к появлению у себя молодого человека. Но отказать было трудно. Проскуров понимал, что нет причин обидеть старого и всегда обязательного приятеля. К тому же неизвестно еще, каков собою этот молодой Карл фон Эйзенбах; может быть, он и некрасив, да и влюблен уже в другую, да вовсе и не думает о княжне Проскуровой, так отчего же ему не приехать? И Проскуров выразил согласие видеть у себя молодого Карла, который привезет ему новые сорта роз.

Тем не менее, сообщив старику-барону о своем согласии, Андрей Николаевич впал на несколько дней в дурное расположение духа. Он молчал за обедом, подолгу ходил по саду один и наконец объявил раз за столом, что вскоре-де к ним приедет из Петербурга «петиметр» (почему Проскуров уже заранее, даже не видав Карла Эйзенбаха, пожаловал его в петиметры, этого и сам он, пожалуй, не знал вполне основательно).

Не знал также Андрей Николаевич, что главной целью поездки барона Карла была не Москва, а именно Проскурово. Туда он должен был заехать якобы по дороге, но на самом деле старый барон Эйзенбах, денежные дела которого были далеко не в блестящем состоянии, с большим трудом собирал сына в эту поездку. Проскуров не знал, каких трудов сто-

ило его приятелю найти средства на этот случай для сына. Однако, несмотря на затруднения, все было сделано не только с умением соблюсти известные внешние приличия, но даже с расчетом на некоторое впечатление. Карл ехал в собственном, весьма удобном и изящном экипаже, с ним были запас щегольского платья, два лакея. Кроме розанов он вез в подарок князю бювар, за который, скрепя сердце, старик Эйзенбах заплатил хорошие деньги.

Все это было ставкою опытного игрока, рассчитавшего на почти верный выигрыш и не жалеющего увеличить свой ударный, рассчитанный куш. Эйзенбах сильно рассчитывал на свадьбу сына с княжною Проскуровой. Эта свадьба могла не только поправить его дела, но и позолотить побледневший герб барона, и позолотить с честью.

Таким образом молодой барон Карл явился в Проскурово блестящим гостем.

Его встретили тут с не меньшим достоинством и тактом. Сейчас же по приезде барона отвели во флигель, где были приготовлены для него комнаты. Почтенный дворецкий с медлительными и важными движениями явился к нему спросить, не угодно ли будет барону откусать у себя, потому что господа уже кончили обед и князь Андрей Николаевич легли почивать после обеда, но, проснувшись, примут барона через два часа.

Проговорив все это, дворецкий откланялся, и барон мог, если ему было угодно, сделать честь расставленным на круг-

лом столе блюдам на серебряном подносе. Флигель, отведенный под его помещение, был сплошь увит ползучими растениями, ветви которых причудливым кружевом свешивались над окнами, пропуская сквозь свои тонкие листья лучи солнца, заливавшие широкий цветник пред флигелем.

Эйзенбах устал с дороги, чувствовал голод и с тем большим удовольствием принялся за вкусные блюда. Он ел не спеша, стараясь оглядеться и оценить ту роскошь, в которую попал теперь и которая, может быть, со временем станет его собственностью. Ему было приятно чувствовать вокруг себя прохладу уютных комнат, уставленных штофною мебелью и дорогими вещами; ему было удивительно после только что испытанных неприятностей и лишений дороги видеть пред собою стол, за которым он сидел, отрезать золоченым ножом кусок паштета, которому позавидовал бы король Франции, наливать вино из хрустальных графинов и чувствовать ароматный, нежный, особенно во время еды, вкусный запах фруктов, поставленных пред ним в хрустальной же вазе, на причудливой серебряной подставке.

«Этот князь, – соображал барон, сидя за столом, – должен быть страшно богат, гораздо богаче, чем мы думали с отцом».

И он еще раз в душе решил, что постарается вести себя по возможности умно и дальновидно, не отступая ни на шаг от тех советов, которые давал ему предусмотрительный отец при отъезде.

Встав из-за стола, Эйзенбах начал одеваться, чтобы представиться князю. Камзолы, привезенные им с собою и казавшиеся ему в Петербурге довольно богатыми, теперь, после виденной им в Проскурове роскоши, были едва только приличными, и самый роскошный наряд, про который он говорил отцу, что едва ли стоит его делать, так как пред князем необходима скромность, показался ему совершенно соответствующим.

Когда Эйзенбах оделся со всею тщательностью аккуратного человека, к нему снова явился важный дворецкий с докладом о том, что князь проснулся и ждет к себе молодого гостя.

VI. Дипломатический разговор

Карл Эйзенбах был введен дворецким в большой кабинет старого князя. Тот сидел у окна в кресле. Рядом с ним стоял столик, на котором в чинном порядке помещались очки, табакерка, платок, фарфоровая саксонская чашка с крышкой, стопка золотообрезной бумаги и карандаш.

Князь имел обыкновение вслед за послеобеденным сном один оставаться у себя в кабинете у окна некоторое время, в продолжение которого часто делал на отдельных листках заметки. Часть их вручалась управляющему и заключала в себе распоряжения по обширным делам и хозяйству, часть переносилась непосредственно со столика в секретный ящик бюро с тем, чтобы не быть вынутыми оттуда.

Никто не смел своим появлением нарушать это молчаливое «сидение» князя у столика, и если в редких случаях Андрей Николаевич звал кого-нибудь к себе в это время, то делал это только в силу важных и исключительных причин. Таким образом для Карла Эйзенбаха было нарушено одно из обыкновений.

Объяснялось это тем, что Проскуров хотел поскорее увидеть, каков был на самом деле сын его приятеля, заранее обозванный уже им «петиметром», и относительно действительной цели посещения которого можно было догадываться. Поэтому, когда показался в дверях кабинета молодой

гость, большие, строгие, выпуклые глаза князя остановились на нем с любопытством.

Несмотря на то, что Андрей Николаевич, умевший часто одним словом, с первого же взгляда охарактеризовать человека, явно смотрел на Карла Ульриха фон Эйзенбаха с тайным желанием подметить в нем какую-нибудь черту; для прозвища, – блестящий внешний вид красивого молодого человека не мог подать ему для этого никакого повода. Карл был высок, строен, хорошо сложен. Его парик и платье ловко сидели на нем. Лаковые башмаки с пряжками, на красных каблуках, красиво облегли узкую ногу. Кружево его манжет отличалось вкусом, хотя было весьма просто. Он стоял перед князем почтительно, но без подобострастной робости. Нельзя сказать, чтобы его красивое лицо с полными румяными губами казалось с первого же раза симпатичным, но производимое впечатление было все-таки скорее благоприятным. Карл знал это и потому так спокойно стоял перед князем, хотя это внешнее спокойствие все-таки стоило ему усилий, чтобы подавить в себе не робость, но некоторое биение сердца при виде этого внушительного, отделанного под темный дуб, богатого кабинета и старика-князя, сурово, строго и испытующе глядящего на него. Карл чувствовал, что серые глаза князя словно хотят, пронизав его насквозь, заглянуть в самый тайник его души, и старался не позволить этого, спокойно и почтительно выдерживая обращенный на него взгляд.

– Ну, познакомимся! – проговорил наконец князь. – По-

дойди сюда, сядь! Что отец? здоров?.. а?

Карл подошел, чуть заметно улыбаясь. Эта улыбка явилась у него невольно, потому что он знал теперь, что первый и самый серьезный искус выдержан: князь не понял его.

Он ответил не торопясь об отце, потом сказал, что всю дорогу берег розы, так что те доставлены; по всем вероятностям, в полной неприкосновенности, и вместе с тем просил Проскурова принять привезенный им от отца в подарок бювар.

Князь благодарил, кивая головою. Относительно розанов он сказал: «Спасибо, потом пойду посмотрю», – и, приняв бювар, с удовольствием поглядел на него.

Мозаиковый бювар, сделанный на заказ, с огромным гербом Проскуровых посередине, видимо, очень понравился Андрею Николаевичу. Старый барон знал, чем угодить приятелю.

Князь положил бювар рядом с собою на столик и, кладя его, заметил, что он словно по мерке сделан по тем листкам, на которых он имел обыкновение набрасывать свои заметки.

Карл сидел, скромно опустив глаза, будто не замечая явного удовольствия князя, не считавшего нужным скрывать это удовольствие.

– Ну, а ты что же, служишь? – заговорил опять Андрей Николаевич, слегка морщась при слове «служишь».

Карл глубоко вздохнул и с подчеркнутым сожалением ответил, что служит.

– И хорошо идешь по службе?

– Очень хорошо... Мне вот уже третье место предлагают и повышение! – опять ответил Карл с прежним спокойствием.

Князь нахмурился, но Эйзенбах не смутился. Он знал что делал.

– Вот как! – отрывисто проговорил Проскуров. – А тебе и двадцати трех нет еще?

– Двадцать три будет в августе...

– Молодой, да из ранних! – подхватил Проскуров. – Что ж, при ком из сильных руку имеешь?

Тон князя становился с каждым словом недовольнее.

– Относительно протекции пожаловаться не могу, но должен сознаться, что и служба мне известна до мельчайшей подробности, и по мере сил я стараюсь... Вот недавно граф...

– Ну, и дай бог вам! – вдруг перебил Проскуров и, нахмурив брови и отвернувшись к окну, забарабанил по подоконнику пальцами.

Эйзенбах молчал.

– В чины выйдете, пожалуй, к нам, маленьким людям, в начальство попадете, так не забудьте вашими милостями, – продолжая глядеть в окно, усмехнулся князь.

– Я никогда не выйду в чины! – тихо проговорил Эйзенбах.

Князь быстро взглянул на него удивленно.

– Что так? – спросил он не столько словами, сколько взглядом и всем своим движением.

– Разве на службе умеют ценить истинные заслуги? – в свою очередь усмехнулся Карл. – Небольшой опыт, который я имел, и тот убеждает меня, что лишь искательство и ловкость дают возможность подвигаться вперед; но могу вас уверить, князь, – с жаром вдруг закончил барон, – что каждый истинно достойный человек должен бежать из того омута, который в столицах называют службой.

Находясь почти за пятьсот верст от Петербурга, Карл был уверен, что начальство, которому он еще недавно, уезжая, говорил совершенно противное, не услышит его, а потому мог позволить себе сказать это, чтобы выпустить пред князем первую ракету хитро обдуманной вместе с отцом блокады.

С первого же шага Карл увидел, что не только расчет оказался верен, но результаты превосходят ожидания.

Действительно, не мог не обрадоваться видевший одни только неудачи по службе князь словам молодого человека, который, напротив, идет блестяще и все-таки убежден, что служба, не давшаяся Проскурову, – омут, его же должен избегать всякий достойный человек!

Улыбка снова осветила лицо князя. Ответом барона он так остался доволен, что, взяв большую щепоть табака, подмигнул гостю, зажмурился и втянул ее, после чего проговорил:

– Так ты говоришь, что служба все равно, что кумовство да дружба?

Карл, никогда не говоривший этого, но сейчас же заметивший, что князь снова начинает говорить ему «ты», наклонил голову и тоже улыбнулся.

– Ну, а если не служить, так что же делать, а? – снова весело спросил Проскуров.

– Судить об этом вообще не берусь, но личное мое желание – при первой возможности ходатайствовать пред государыней об увольнении с тем, чтобы, если у батюшки будут средства, купить поместье и заняться им, – произнес Карл и вдруг с приливом внезапного красноречия (внезапным оно было для князя, потому что Карл всю дорогу обдумывал, как и что он будет говорить) стал объяснять, что истинное призвание дворян не на службе, а именно в деревне, что не один он, но большинство дельной современной молодежи уважает людей, посвятивших свою деятельность земле; пред ними эта молодежь преклоняется и им хочет подражать. А вслед затем Эйзенбах объяснил, почему именно он и большинство молодежи так думают: – Без служилых людей земля просушится, а без земли служилые люди – нет! Ведь вся гордость и надежда России заключаются в истинных дворянах, живущих на земле и в годину бедствий идущих на зов своего государя, чтоб нести уже тогда действительную службу. Вот истинно великие люди, вот пример, достойный подражания.

И долго говорил красноречивый Карл фон Эйзенбах, приводил исторические справки, латинские цитаты, метал громы и журчал, как ручеек, постоянно однако следя за впечат-

лением, производимым на старого князя.

А Проскуров слушал, не перебивая. Речь ловкого барона, словно чарующая музыка, ласкала его слух. Его согнутая спина выпрямлялась, и голова гордо закидывалась назад.

Указ Петра Великого относительно обязательности службы для дворян давно приучил общественное сознание к тому, что вне этой службы нет спасения, и что человек не служащий почти, ничего не стоит. Так думали все, так думал и Проскуров, страдавший своим деревенским житьем и ревниво оберегавший – для вида, разумеется, – это страдание от посторонних глаз, но чувствовавший его тем сильнее.

И вдруг теперь ему свидетельствуют, что, напротив, вся сила, вся суть – в людях, живущих «на земле», что они составляют главное и что уединение князя есть почетное уединение, заметное даже в Петербурге, и вот молодежь желает подражать ему и мечтает не о той карьере, которая не удалась ему, но о жизни, которую он ведет. Значит, не один он, князь, завидует другим, но есть много людей, которые завидуют его положению.

Это открытие, это удовлетворение, после долгих лет тайного унижения – тайного, потому что всегда гордый по виду князь Проскуров внутренне лишь раздражался им, – не могло не подействовать особенно радостно на старика.

«Так вот как! – думал он, пристально смотря в ясные и, пожалуй, наивные глаза барона. – Вот как! Ну не дурак же ты! Молодец!...»

Но вслед за тем легкая тень пробежала по лицу князя: Андрей Николаевич давно научился не сразу доверять людям и всегда отыскивал затаенную причину их слов и действий. Сначала, по-видимому, такой причины в настоящем разговоре не могло быть у Карла, но потом у князя вдруг мелькнула мысль: а что если «мальчишка» морочит его, имея виды на княжну, его дочь?

«А вот мы это сейчас выясним», – подумал снова Проскуров и ласково обратился к гостю:

– Ну, я очень рад был познакомиться! Милости прошу пожить, завтра дочь мою увидишь... Ты долго намерен остаться у нас?

Карл, вполне владея собою, ответил, что благодарит за честь, но едва ли ему будет возможно представиться княжне, так как он намерен завтра рано утром ехать дальше, и просит князя позволения откланяться ему сегодня вечером, а завтра на заре приказать приготовить для него лошадей.

Проскуров с удивлением посмотрел на него. По-видимому, у Карла никаких задних мыслей не было. Как ни странно показалось это князю, но приходилось верить.

– Ну, очень жаль! – сказал он. – А дочь сегодня уехала на целый день со старой своей нянюшкой в монастырь; ужинать одни будем... Так завтра, значит, едешь?

И, как внимательно ни вглядывался Андрей Николаевич в лицо молодого барона, ни одно движение мускула этого лица не выдало Карла.

– Да, мне нужно ехать завтра рано утром! – повторил он.

VII. Рискованная ставка

Князь не солгал, сказав, что Ольги не было дома. Она уехала за пять верст в монастырь на целый день. Там была погребена покойная княгиня, и монастырь был единственным местом, куда отпускал Андрей Николаевич свою дочь.

Ужин был накрыт в маленькой семейной столовой князя.

За столом кроме хозяина и его гостя был знакомый Карлу итальянец, рекомендованный его отцом Проскурову; однако тот не подал вида, что между ним и Эйзенбахами существуют какие-нибудь сношения. Кроме того, в ужине принимал участие и молодой человек, с которым князь обращался как со своим, называя его просто Артемием. Карл знал, что это был воспитанник князя, а теперь его секретарь, но и с ним познакомился, как с человеком, совсем ему неизвестным.

Князь Андрей Николаевич был в самом лучшем расположении духа и так весел, как давно не видали его домашние. Он, видимо, всеми силами хотел показать Карлу, что тот имел полное основание считать лучшей участью человека на земле – жизнь «деревенского затворника», и потому и шутил, и смеялся, как будто вполне довольный своею судьбою.

Карл, в свою очередь, играл роль неподражаемо. Впрочем, он мог от души хвалить барское и беззаботное житье Проскурова. Если бы ему сейчас предложили отказаться от всякого служебного самолюбия, а взамен этого дали этот

роскошный дом, эту толпу слуг в золоченых ливреях и богатство Проскурова, то лучше этого он ничего и придумать не мог бы.

И снова два-три намека, сделанных вовремя, льстивая похвала, сказанная кстати, и наивно, словно случайно вырвавшееся признание барона жить навсегда в деревне произвели на князя свое впечатление и отметились в его памяти.

Из-за стола все встали веселые и довольные.

Карл, прощаясь, благодарил князя за гостеприимство и ушел к себе во флигель с веселым, улыбающимся лицом человека, у которого вся душа наружу, чистая и непорочная, как мечта дитяти.

Но, придя к себе в спальню, он уже не скрывал волнения и беспокойства, весь вечер тревоживших его и искусно скрываемых. Он торопливо разделся, велел уложить свои вещи, посмотрел, аккуратно ли сложен новый его наряд, и, отослав наконец слуг и надев полотняный шлафрок, сел было писать отцу, но с первых же строк увидел, что писать ему еще нечего.

Сегодня день весь был очень удачен. Карл чувствовал, что понравился старому князю, и понравился так, что не ожидал этого. Но вместе с тем он понимал, что игра, которую он вел, была очень опасна и что в продолжение ее каждую минуту можно было потерять все. И теперь именно Карл переживал одну из таких минут: положим, он понравился князю; тот не разгадал его, Карл вел себя отлично. Но неизвестно бы-

ло – понравился ли Карл князю настолько, чтобы тот задержал его в Проскурове, якобы по своей и против его, Карла, воли. Барон рискнул, сказав, что ему нужно ехать завтра, и попросив лошадей рано утром. С одной стороны, это было отлично и окончательно убедило князя, что его гость ни на что никаких видов не имеет. Но с другой – этот ход казался способным сразу разбить все надежды и планы. Если завтра утром Карлу дадут лошадей – он должен будет уехать, и тогда трудно найти предлог для возвращения, и прощай все мечты, расчеты и, главное, расходы, сопряженные с этой поездкой. Но зато, если князь вдруг пожалеет так сразу отпустить приятного себе гостя и не прикажет давать лошадей, тогда кампания почти выиграна. Дальнейшее пойдет, как по маслу, Карл знал себя и надеялся на себя. Правда, он думал, что князь за ужином предложит ему остаться в Проскурове и отложить свой завтрашний отъезд. Но этого не случилось, и, вспоминая, как весь вечер сегодня он ждал и ловил, не обратится ли князь к нему с предложением погостить подольше, Карл чувствовал, что беспокойство неизвестности и сомнения овладевают им все больше и больше. Он ходил скорыми шагами по комнате, и то ему казалось, что все уже потеряно, и ясно было, что у князя нет причин задерживать его, и он раскаивался в своем слишком рискованном поступке; то, наоборот, ему приходило в голову, что ведь каждую минуту одинаково рисковал он, каждую минуту взбалмошный старик-князь мог рассердиться на него, и просьба о лошадях –

такой же риск, как и всякий другой, и все зависит от судьбы.

В то самое время, когда Карл не мог подумать о сне у себя во флигеле, тревожась и беспокоясь о том, что будет завтра, в угловой комнате большого дома, служившей и кабинетом, и спальней Андрея Николаевича, последний поворачивался с бока на бок на широкой кровати, тоже страдая бессонницей от вереницы мыслей, теснившихся в его голове.

Сначала он долго думал о Карле, и чем больше думал о нем, тем больше нравился ему барон.

– Славный, славный мальчик! – бормотал князь, имевший привычку иногда вслух произносить то, что было у него на уме.

И он с удовольствием вспоминал, как Карл умно, смело и последовательно доказывал, что ненавистная ему до сих пор жизнь в деревне – лучший удел избранных счастья. Тут и самолюбие князя было польщено, и являлось сознание, что недаром прожиты им годы, длинные и скучные.

Андрей Николаевич удивился, как раньше ему не приходило этого в голову. Он не подозревал, что для него нужен был именно внешний толчок, свидетельство постороннего лица, чтобы направить его мысль на самоутешение. И впервые в жизни Проскуров почувствовал себя если не вполне счастливым, то, во всяком случае, примиренным с судьбою. Это примирение было настолько приятно ему, что он, хотя и знал, что от волнения заснуть не может, все-таки боялся, чтобы сон не сомкнул ему глаз, – так хорошо ему казалось

теперь наяву и так радовался он проявившемуся у него сознанию благополучия. И он медленно повернулся на другой бок.

Новые, совсем новые мысли внезапно охватили князя, как будто, переменив положение тела, он почувствовал внутри себя тоже переворот, словно в нем пробудился совсем другой человек, который совершенно неожиданно стал рассуждать таким образом:

«Я не хочу отдать Ольгу ни за кого замуж, потому что боюсь ее несчастья и боюсь лишиться ее, чтобы не остаться одному. Но почему я до сих пор воображал, что нельзя устранить этих препятствий? Если найдется человек молодой, красивый, приличный, с хорошим именем, который пожелает остаться в деревне навсегда, тут у меня, на моих глазах, и составить счастье дочери, то разве не одну лишь радость принесет мне это? Я с нею не расстанусь тогда, и сам уже буду следить за отношениями к ней мужа. Лишь бы нашелся такой человек».

И князь, не признаваясь себе в этом, чувствовал, что такой человек уже нашелся, и это – Карл Эйзенбах. Он был красив собою, горд дворянским именем своего древнего рода и казался настолько благоразумным, что мог, если присматривать за ним, явиться идеальным мужем.

Князь был уверен, что все эти мысли приходят ему сами собою, что сам он соображает и делает выводы, и не отдавал себе отчета, что все его соображения подсказаны разгово-

рами ловкого барона, который благодаря урокам отца знал, что никогда не нужно убеждать человека прямыми доводами, если это – не пустой разговор: наоборот, в деле серьезном нужно только направить его мысли так, чтобы сам он пришел к желаемому убеждению, и тогда это убеждение будет несокрушимо и твердо.

Как видно, старый барон Эйзенбах знал слабости человеческого сердца, а Карл оказался понятливым учеником. В результате этого рассуждения князя невольно катились, как снежный комок по подставленной ему плоскости, и этот комок разрастался и увеличивался. Князь уже видел себя главою семьи, счастливым, окруженным внуками и внучками, которых он любит, балует, и которые души не чают в своем милом дедушке.

При этой мечте Проскурову показались так милы и дороги его дом и сад, ему так захотелось дожить до тех пор, пока он увидит этот скучный и тихий до сих пор дом, оживленным новою жизнью родных, близких ему существ, что одно уже предвкушение этой радости делало его почти счастливым.

И с тихой, радостной улыбкой заснул старый князь в эту ночь. Никогда не спалось ему так покойно.

На другой день солнце встало без облачка. Утро было прекрасным и тихим.

Карл еще с вечера велел разбудить себя на заре и, едва его слуга вошел в комнату, как он уже открыл глаза и первым делом послал узнать, готовы ли лошади. Слуга пошел испол-

нять его приказание.

Быстро, нетерпеливо начал одеваться Карл, беспрестанно поглядывая на дверь, в ожидании известия. А что как ему скажут, что все готово к его отъезду? Что делать тогда, как поступить? Тогда выхода не будет – придется ехать...

Наконец в дверях явился лакей.

«Ну, так и есть, – мелькнуло у Карла в мыслях, – все кончено».

Однако лакей почтительно произнес:

– Его сиятельство просят господина барона пожаловать закусить с ним на террасу.

– А лошади? – спросил Эйзенбах.

– На конюшне не сделано никаких распоряжений.

Лицо Карла озарилось торжествующей улыбкой. В ней блеснула радость, сменившая его волнение, радость настолько же сильная, насколько было сильно волнение. Судьба благоприятствовала ему: рискованная ставка, казалось, выиграна.

VIII. Встреча

Послав сказать своему гостю, что он зовет его к себе на террасу, князь Андрей Николаевич прошел на половину дочери, которая вчера после ужина вернулась из монастыря целою и невредимою.

Ольга встретила его уже причесанная и одетая. Князь боялся, что вчерашняя поездка утомит ее, но, к своему удивлению, увидел, что на хорошеньком личике Ольги не было заметно и тени утомления. Ее тонкие, девственно очертанные, губы так же, как всегда, улыгнулись ему при встрече, голубые глаза были ясны, и матовый румянец играл на щеках.

– Экая ты у меня красавица! – проговорил Проскуров, взяв дочь обеими руками за голову и нежно и осторожно целуя ее в лоб.

Ольга стала рассказывать ему о вчерашней поездке, передала благословение и поклон игуменьи, принесла привезенную для него просфору и, видя, что отец в редко хорошем расположении духа, разговорилась, рассказывая. Она не могла никогда рассказывать спокойно, а быстро увлекалась, щеки ее разгорались и глаза блестели. Князь всегда любил смотреть на нее в такие минуты, но сегодня оживление Ольги, очень шедшее ей, как будто доставляло ему особенное удовольствие. Он любовался ею, не слушая того, что она говорит, и будучи занят своими, зародившимися у него вчера

с вечера, мыслями.

– Вы как-то, батюшка, говорили, что к нам должен приехать... Как это называется... Петиметр... – вдруг произнесла Ольга.

Легкая тень пробежала по лицу князя.

– Ну, однако, пойдём! – проговорил он, вставая, и, взяв дочь за талью, повел ее вниз.

Войдя в большой зал с хорами, князь приостановился и, придерживая дочь, показал ей кивком головы на широкое окно, выходящее на террасу, уставленную тепличными деревьями. Там был накрыт стол для утреннего завтрака, и прямо в рамке окна, у стола, виднелась красивая и бравая фигура Карла Эйзенбаха.

– Ты видишь его? – спросил князь у Ольги.

Она молча взглянула в окно, потом с каким-то испуганным удивлением перевела взор на отца.

– Приглядишься к нему – он мне нравится, – произнес князь отчетливо и ясно, голосом, которым отдавал приказания. – Он мне нравится, – еще раз повторил он и вышел на террасу.

Летом Проскуров имел обыкновение вставать с восходом солнца, и все домашние должны были следовать его примеру. Вследствие этого у стола кроме Эйзенбаха были в сборе и все остальные.

– А хороший денек сегодня будет! – весело говорил князь, здороваясь с ожидавшими его прихода на террасе и искоса взглядывая на дочь, так как желал незаметно проследить, как

она встретит Карла. – Олюшка, – обернулся он к ней, – это – барон Карл фон Эйзенбах, сын старого моего приятеля... Ты сюда сядь, – сказал он Карлу, показывая на место справа от себя.

Лакеи отодвинули стулья и подставили их гостям.

Ольга села по левую сторону от отца, против Эйзенбаха. Дальше за столом поместились Артемий и итальянец.

Недавнее оживление девушки, которым только что любовался Андрей Николаевич у нее в комнате, вдруг совершенно исчезло вместе с румянцем на ее щеках. Она казалась теперь бледною и смущенною и сидела, опустив глаза, словно к смерти приговоренная.

Князь не мог не заметить этой внезапной перемены в ней и тихо спросил ее, когда сел за стол:

– Что с тобою?

Ольга вздрогнула и провела рукою по лицу.

По счастью, Карл нашелся. Он заговорил о красоте княжеского сада, чистосердечно сознаваясь, что никогда в жизни не видал ничего подобного.

Проскуров обернулся к нему и заговорил.

Эйзенбах очень ловко стал поддерживать разговор, но почти не спускал взора с Ольги в это время.

Когда сегодня его пришли звать на террасу, он понял, что увидит ее, и, подумав, сейчас же обсудил, как держать себя с нею.

Итальянец писал его отцу, что княжна очень красива.

Карлу это было известно, но и зная о красоте ее, он все-таки был удивлен, когда увидел ее. Пред его глазами была теперь не одна красота; нет, вся женственная прелесть сосредоточилась в этой красоте, чтобы приковать к себе и взгляд, и мечты человека, у которого способно еще биться сердце.

С первого же взгляда на князя Карлу стало ясно, о чем тот думал сегодня ночью и о чем можно было уже догадаться по отсутствию приказа о лошадях на конюшне.

Карл не пропустил ни одного взгляда князя, ни одного хотя бы легкого движения его лица. Он видел и хорошее расположение духа Андрея Николаевича, и легкое движение его бровей, когда Ольга вдруг побледнела, и особенную ласковость к себе Проскурова, – ласковость, которая сильно увеличилась со вчерашнего вечера.

«Все прекрасно!» – подумал Карл и решил, что он может не обинуясь выказывать свое восхищение пред Ольгой: князь этим не останется недоволен.

И действительно, Проскуров, разговаривая с молодым гостем, все время чувствовал направление его глаз, которых тот не сводил с княжны. Андрей Николаевич не должен был сомневаться, что она нравится барону, да иначе и быть не могло.

Что касается Ольги, то Проскуров сначала попробовал объяснить ее смущение первым впечатлением нового знакомства с чужим молодым человеком.

«Ведь не броситься же ей ему на шею, – мысленно утешал

он себя. – Что ж, она, как и следует девушке, скромна, вот и все...»

Но вместе с тем что-то внутри князя говорило ему, что в опущенных глазах Ольги и в особенности в бледности, покрывавшей ее лицо, есть нечто еще, кроме скромности и застенчивости: страх не страх, но во всяком случае, недружелюбное чувство к Карлу. Откуда оно могло появиться? Но на этот вопрос старый князь тщетно старался ответить себе.

Молодой Эйзенбах как будто ничего не замечал, и, казалось, слова восторга так и готовы были сорваться у него с языка. Он был так увлечен, что не мог сосредоточить ни на чем остальном своего внимания; словно машинально, не замечая того, что он делает, в рассеянности, он, кончив тарелку с простоквашей, выпил стакан сливок, потом наложил варенцу, а, съев последний, принялся за варенье.

«Ну аппетит!» – невольно подумал итальянец, следя глазами за бароном.

Ольга ничего не ела, продолжая сидеть, опустив глаза. В ней, видимо, происходила какая-то необъяснимая тревога.

– Да что ты, устала со вчерашнего? – опять спросил ее князь.

Она хотела ответить, но губы ее задрожали и подбородок затрясся.

На этот раз на помощь ей пришел ученый итальянец.

– Княжна, может быть, нездорова? – сказал он на дурном русском языке.

– Ты нездорова? – испуганно переспросил ее князь.

– Да... А впрочем, нет... так... голова...

– Хочешь, Иосиф Александрович принесет тебе капли?

Итальянец, которого, собственно, звали Джузеппе Торичиоли и который в России привык откликаться на имя Иосифа Александровича, сделал движение встать. На его попечении была домашняя аптека князя.

– Нет, нет, не надо! – поспешно проговорила Ольга и, налив себе стакан воды, выпила его почти залпом.

Благодаря этому происшествию с княжною за столом сидели недолго. Князь поднялся первым и, когда все встали сейчас же за ним, он, уж уходя, в дверях, как бы только что вспомнив, обернулся к Карлу и проговорил улыбаясь:

– А я и забыл сказать тебе, что лошадей не велел тебе закладывать; разве в деревню приезжают гостить на один день? Ты говоришь, у тебя дела в Москве?

Барон смотрел на князя в нерешимости, что ответить ему. Но Проскуров не дал ему говорить.

– Так дела подождут, – продолжал он, пригибаясь к Карлу и взяв его повыше локтя. – Подождут ведь, а?

– Мне ли не послушаться вас, князь! – ответил барон с таким выражением преданности и покорности, что Андрей Николаевич рассмеялся тихим, радостным смехом и, похлопав гостя по плечу, произнес:

– Ну, ну, хорошо!.. Поживем – увидим...

Вслед затем он особенно бодрыми и скорыми шагами на-

правился к себе, насвистывая что-то военное.

В приемной, смежной с кабинетом, князя уже ждали приказчики, бурмистры и конторщики с докладом, но, прежде чем позвать их, Андрей Николаевич велел лакею доложить княжне, что просит ее прийти к себе.

IX. Что она скажет?

Ольга вошла к отцу, уже вполне оправившись и стараясь казаться по-прежнему веселою и беззаботною.

Трудно было понять, откуда и как эта воспитанная в четырех стенах проскуровского дома девушка могла научиться в нужную минуту владеть тем особенным, гибким, чисто женским тактом, который способен провести самую опытную наблюдательность.

– Ты, правда, нездорова? – участливо, нежно обернулся к ней навстречу князь, ходивший по кабинету и ожидавший ее в беспокойстве.

– Да нет, батюшка, – как бы шутя, проговорила Ольга. – Это, должно быть, от цветов – слишком сильно пахло ими на террасе.

– От цветов? – недоверчиво протянул Проскуров и глубоко вздохнул.

Он опять вспомнил о своей покойной жене, которая, вероятно, сумела бы разгадать причину тайной тревоги дочери, а он вот не может. И это внутренне обидело его и вызвало то неприятное стеснение в груди, которым обыкновенно обозначалось у него начало проявления гнева.

– Ну, а барон понравился тебе? – спросил он опять.

Ольга слегка вздрогнула и не ответила.

Князь так все хорошо обдумал вчера, в его мечтах такую

прекрасною слагалась их общая жизнь в Проскурове, и главное – ему все это так казалось возможно, что он как-то обходил мыслями самое существенное препятствие, а именно следующее: а что, если барон не понравится Ольге? Но у него было столько неудач в его расчетах в продолжение жизни, что, как ему хотелось думать, – уже трудно было ждать и тут опять нового промаха. И вдруг, с первых же шагов дело имело вид не совсем ладный. И от одной возможности допущения ошибки желчь князя начала подниматься. Глаза его сузились, лоб сморщился, и он, близко подойдя к молча стоявшей пред ним дочери, подставил ухо к самым ее губам и резко, крикливо проговорил:

– Что ты говоришь, а? Не слышу.

Ольга продолжала молчать. Подбородок ее снова затрясся, глаза наполнились слезами. Она готова была разрыдаться.

Андрей Николаевич опомнился. Он понял, что пошел напролом, силой там, где можно было добиться чего-нибудь только лаской, и, круто повернувшись, сделал несколько шагов по комнате, стараясь успокоиться.

– Ну, погоди, дочка... Прости... погорячился... Иди к себе... иди! – сказал он наконец тихим голосом, неуверенно подымая руку, чтобы приласкать дочь.

Эта близость ласки обрадовала Олю. Она по впечатлениям детства помнила припадки гнева отца, боялась их какою-то сверхъестественною, неудержимою боязнию и с тем

большею радостью и доверием готова была теперь обнять его и в слезах, при его редкой для нее ласке, высказать, может быть, все, что у нее на душе.

Но князь боялся за себя.

– Иди!.. Иди, говорю тебе! – опять крикливо произнес он и, отстранив руку резким движением, опять зашагал по кабинету.

Ольга неслышно скользнула из комнаты.

Долго в этот день бурмистры и приказчики ждали, пока князь станет звать их по одному к себе, и прислушивались из приемной к мерным шагам Андрея Николаевича по кабинету. А он ходил и соображал, ища себе успокоения. И так как он хотел найти себе его, то и доводы приходили ему на ум утешительные.

«В самом деле, – рассуждал князь, – с чего мне это пришло в голову? Да ведь, если бы она оставалась равнодушною, хуже было бы... Конечно, хуже... И разве можно было спрашивать так прямо? Какая же девушка скажет?.. Ну, первый раз в жизни видит молодого человека... Не могла же она камнем сидеть... А выказывать радость было бы неприлично»...

И чем дольше думал Андрей Николаевич, тем более опять, как вчера, успокаивался, находя, что решительно не было причин ему выходить из себя.

Не было сомнения, что Ольга понравилась барону с первого же взгляда. А она? Да чего же ей еще? Он и ловок, ка-

жется, и умён, и красив, и имя имеет... Да где же сыскать еще такого молодца?

И, к своему удивлению, подначальные князя, когда он наконец призвал их к себе, вместо ожидаемого гневного на сегодня приказа, обыкновенно следовавшего за долгим хождением барина по кабинету, получили, напротив, милостивое разрешение всех дел.

Карл, беспрекословно подчинившийся воле князя и тем еще более выигравший в его глазах, написал подробно отцу и остался жить в Проскурове, ожидая дальнейших событий.

Главное препятствие было пройдено – старый князь оказался на стороне ловкого и дальновидного молодого человека. Но в отношении Ольги барон положительно не знал, как ему подойти. Он, выдавший на своем веку виды, понимал, что сразу вступить в какие бы то ни было объяснения являлось более чем опасным. Сначала все должно было если не решиться, то, во всяком случае, подготовиться посредством того непереводимого языка любви, который при помощи взгляда, выражения, интонации совершенно обыкновенных, по-видимому, слов говорил яснее всяких объяснений, и затем эти объяснения должны были подтвердить только то, что давно уже жило в душе обеих сторон.

Чем чаще видал Ольгу Эйзенбах, тем сильнее становилось его вполне искреннее чувство к ней. Но, как ни старался разгадать он задумчиво-грустный взгляд Ольги, трудно было подметить в нем не только ответ на это чувство, но даже

легкий проблеск надежды, что этот ответ может явиться хоть со временем. Ольга была вежлива с гостем отца, говорила с ним, но как бы нехотя, и если смотрела на него, то тем холодно-стальным взглядом, которым умеют смотреть женщины на ненавистного им человека. Инстинктом влюбленного Карл чувствовал весь скрытый смысл этого взгляда, так же далекий от поэмы любви, как далека была Ольга от проявления нежности к красивому барону.

Барон ломал голову над тем, чем мог он провиниться перед нею, но все его усилия были тщетны. К тому же Ольга была непроницаема и с самого своего приезда он не видел ни разу на лице ее ни оживления, ни веселости. Он спрашивал у Торичиоли, всегда ли Ольга такая. Итальянец качал головою и говорил, что в последнее время просто не узнает княжны.

Карл пробовал все средства ухаживанья, не раз примененные им и увенчавшиеся успехом: то он, как в первый день их знакомства и утро встречи на террасе, старался показать, что до того занят ею, что не замечает ничего кругом, то, напротив, прикидывался равнодушным и делал вид, что не обращает внимания. Иногда он заводил умные, горячие, поэтические разговоры, рассказывал истории, полные страсти, но Ольга слушала все это с видимым терпением притворной любезности, пугалась, когда он подчеркивал свое внимание к ней, и вздыхала свободнее, когда он не замечал ее.

Старый князь, обдумавший положение и успокоивший себя тем, что рано или поздно девушка не может остаться рав-

нодушной к исканиям честного, порядочного и красивого молодого человека, удерживал у себя влюбленного барона и – в ожидании исполнения своих грез – строил новые планы будущей жизни, еще заманчивее прежних.

Когда сильно желаешь чего-нибудь, то невольно веришь, что желание сбудется, и невольно готов истолковать все в пользу этого своего желания. Так и князь, ослепленный своими мечтами и неспособный к тому наблюдению посредством инстинкта, которым владел Карл благодаря своему чувству, не видел холодности Ольги и верил, что, напротив, она уже начинает интересоваться молодым Эйзенбахом.

С отцом Карла он поддерживал все это время деятельную переписку. Старый барон отвечал ему немедленно же и с верной оказией. Он также писал сыну, сообщая ему вкратце, что пишет ему князь, и делая наставления Карлу, как держать себя и как вести к благополучному окончанию так блестяще начатое дело. Относительно «молодой девушки», как он называл Ольгу в своих письмах, старик Эйзенбах почти не сомневался. «Ты у меня – такой славный мужчина, – писал он Карлу, – что не только запертую в захолустье княжну, но и петербургскую девицу сумеешь обуздать и послушную сделать», – и как бы для того, чтобы придать еще более храбрости Карлу, добавлял, что его отсутствие в Петербурге заметно и о нем скупают некоторые персоны.

«Славный мужчина» был польщен этими похвалами и одобрением, но все-таки не находил пути, дабы, по выра-

жению отца, «запертую княжну обуздать и послушною сделать».

Наконец через три с половиной недели своего пребывания в Проскурове Карл получил от отца радостное известие, что старый князь прислал в Петербург письмо, в котором делал более чем прозрачные намеки и звал старика-барона к себе в деревню погостить. Ясно было, что Андрей Николаевич затевал формальное сватовство. Карл понял, что долее терять время нечего, и решил во что бы то ни стало объясниться с Ольгой.

Х. Соловьиная песнь

Карл сидел с письмом отца в руках у окна своего флигеля. Пред ним за расположенным под окнами цветником виднелась часть проскуровского сада, устроенного князем в первые годы пребывания в деревне.

Этот сад был большой, со множеством перекрещивающихся дорожек и аллей, лабиринт которых молодой Эйзенбах успел уже изучить во время своего трехнедельного пребывания в гостях у князя.

От цветника у флигеля, окруженного подстриженными на голландский манер деревьями, шли клумбы другого большого цветника, примыкавшего к террасе главного дома. Дальше виднелось начало первой аллеи, терявшейся затем в глубине высоких лип. Направо узкой змейкой вилась, дорожка в самый красивый угол сада, засаженный розанами и кончавшийся обрывом у реки.

Был тот час вечера, когда солнце еще не закатилось совсем, но сумерки постепенно уж наплыли и сгустили тени в чаще дерев. Жаркий день сменялся теплым вечером. Воздух был так хорош, что Карлу жаль казалось отойти от окна.

Старый князь сказал за обедом, что у него много дел и что он вплоть до ужина не выйдет из своего кабинета. У Карла оставалось свободных часа полтора. Он думал было пойти погулять, но какой-то внутренний голос словно шептал ему,

что некуда, да и рано теперь идти и что следует остаться у окна, чтобы дышать этим легким, пахучим воздухом и смотреть, как медленно лиловые сумерки охватывают все кругом, давая предметам волшебные, фантастические очертания.

Сегодня это тихое, вечернее погружение природы в сон было особенно нежным. Никогда тени не казались так глубоко прозрачны, никогда отблеск потухающих лучей не переливался в высоком небе такими причудливыми красками и никогда почему-то не дышалось Карлу так легко, как сегодня.

Вдали – должно быть, у реки – пел соловей, и отклик его песни словно наполнял собою дрожащий истомою, влажный, но теплый воздух.

Вдруг Карл приподнялся со своего места и, высунувшись в окно, стал внимательно вглядываться пред собою. От большого дома, между клумбами цветника, шла, не торопясь, спокойною, уверенной походкою Ольга. Барон сделал усилие, чтобы приглядеться еще – не обманывают ли его глаза; нет, он не ошибся, это была действительно Ольга. Она шла, опустив голову. Он узнал ее голубое платье и косыночку.

Ольга, миновав цветник, направилась не по главной аллее, а по дорожке к розанам. Она была одна.

Сама судьба, казалось, давала Карлу возможность переговорить с нею при самых подходящих условиях. Но выйти из флигеля с тем, чтобы нагнать ее на дорожке, было рискованно и опасно. Она могла повернуть назад, к дому и тогда слу-

чай был бы упущен. Карл сейчас же сообразил это и, будучи предусмотрительным даже в увлечении, немедленно составил план необходимого действия. Самым лучшим было спуститься низом и короткой дорогой достичь обрыва, подняться к розанам и пойти навстречу княжне, сойдясь с нею как бы случайно.

Не теряя ни минуты, Карл схватил шляпу и почти выбежал из флигеля со стороны, противоположной цветнику.

Быстрою, уверенною походкой подвигался Карл вперед, пробираясь по сухим от росы местам. Хотя избранный им путь значительно сокращал расстояние, но все-таки нельзя было терять время, потому что приходилось сторониться от кустов и выбирать дорогу так, чтобы мокрая трава не слишком замочила башмаки и чулки: ведь неловко было показаться княжне в неряшливом виде.

Благодаря этому Карл достиг обрыва позже, чем думал. Если бы Ольга ускорила шаг, она могла бы дойти уже к розанам. Но назад уходить Карлу не было основания. К тому же он надеялся, что княжна продолжала идти так же медленно, как и вначале, когда он видел ее из окна.

Достигнув кустов наверху, он остановился. Ему послышалось движение за ними. Ольга была здесь.

«Скоро, однако!» – мелькнуло у Карла в голове.

Теперь ему было бы неловко прямо вылезать из кустов, и он решил неслышно пробраться на дорожку и выйти оттуда к Ольге. Только сначала ему хотелось удостовериться, она

ли это была здесь. Он осторожно, чуть дыша, раздвинул ветки кустов. На него пахло сладким, густым, пахучим ароматом розанов, его глазам открылась небольшая площадка, и, взглянув туда, Карл замер от удивления, неожиданности и вдруг поднявшейся злобы. Ему сразу все стало ясно.

На площадке на скамейке сидел Артемий, молодой воспитанник князя; Ольга подходила к нему, с трудом переводя дух от быстрой ходьбы.

– Долго ждал? – спросила она, приблизившись к скамейке, и привычным движением любимой и счастливой этою любовью девушки опустила обе руки на плечи Артемия.

Он вместо ответа охватил ее талию, а другой рукой взял ее руку и прижал последнюю к своим губам.

– Долго ли ждал? – проговорил он наконец. – Да теперь мне уже казалось, что ты никогда не придешь ко мне.

И он снова прижался губами к руке девушки.

Дрожь пробежала по спине Карла, в висках застучала прихлынувшая кровь; одно мгновение у него мелькнула сумасшедшая мысль кинуться вперед, но он сделал над собою усилие и прилег к земле, не спуская жадных, завистливых взоров с того, что происходило пред ним. Нужны были почти сверхчеловеческие усилия, чтобы не выдать себя несчастному Карлу.

– погоди! – сказала княжна. – Дай мне сесть, я слишком торопилась идти, – и она опустилась на скамейку рядом с Артемием. – Ну, отчего теперь тебе показалось, что я не приду?

Артемий вздохнул.

– Теперь другое, Оля!..

– Отчего же другое, отчего? Я тебе говорю, что из всего этого ничего не выйдет, ничего он не добьется от меня... ему надоест здесь жить, он уедет и все пойдет по-старому.

Теперь, когда она села, Карлу было видно вполоборота ее оживленное счастьем лицо, дышавшее еще невиданной им прелестью.

Артемий снова вздохнул, опустив голову:

– И как все хорошо было, Оля, до сих пор!

– И потом будет хорошо... ты увидишь, я знаю... Послушай! Разве мало ему петербургских красавиц? Ну, что ему во мне?.. Разве он не найдет лучше меня?

Артемий улыбнулся и отрицательно покачал головою.

«Боже мой, Боже мой! – думал Карл. – Как она хороша, как она хороша!»

И он вспомнил петербургских красавиц, про которых говорила Ольга, набеленных и нарумяненных, и та же улыбка, что у Артемия, скользнула по его губам.

– Ты заметил, – продолжала Ольга, – я делаю все, чтобы казаться ему дурною; и одеваюсь хуже, и глупости говорю...

Артемий, счастливый этой преданностью любви, рассмеялся тихим смехом, а затем сказал:

– Да разве это возможно? Ведь, что бы ты ни делала, ты все-таки останешься красавицей... Милая моя, милая!..

И Карл, стиснув от бешенства зубы, снова увидел, как Ар-

темий взял Ольгу за талию, а она прижалась к нему, видимо, желая, если не словами, то лаской рассеять его беспокойство.

– И потом я не знаю, – начал снова Артемий, – но иногда приходит в голову, что вдруг...

Тут он запнулся.

– Что «вдруг»? – переспросила Ольга.

– Ты разлюбишь меня...

– И тебе это не стыдно думать? Не стыдно тебе, а? – воскликнула Ольга.

В ее голосе слышалась шутка, но Артемий делался все серьезнее.

– Право, я иногда сравниваю себя с ним и чувствую, что он лучше меня, – произнес он.

Теперь, казалось, очередь рассмеяться была за Ольгой.

– Кто? – проговорила она. – Кто лучше тебя? Эта петербургская кукла, этот барон с вывороченными глазами? Ты замечал, как он иногда смотрит на меня? Мне всегда смешно, когда он начинает ворочать белками.

Но, не договорив, она вдруг вздрогнула.

– Что с тобой? – спросил Артемий.

Ольга, вытянув шею, прислушивалась.

– Нет, ничего... Мне показалось, точно шорох... наверное, птица.

Карл чуть не выдал себя, пальцы его судорожно сжались, и он сделал невольное движение вперед.

– Конечно, птица, – ответил Артемий. – Кому же быть те-

перь? Ведь князь сказал, что не выйдет до ужина, итальянец – в библиотеке.

– А петербургский барон?

– Кажется, пишет письмо к родителям.

– Ну, вот, видишь, значит, это время наше, мое, и ты – мой! Ну, что же, все еще не веришь? Не успокоился?

– Ах, Оля! Вот ты сейчас назвала барона петербургскою куклой, значит, если бы он был иной, лучше, чем есть, ты бы тогда...

«Проклятый мальчишка, найденыш!» – бешено стиснув зубы, думал Карл, которому было слышно каждое слово.

– Ну, еще, еще что? – перебила Ольга. – Ах, какой ты смешной и милый!.. Да, будь он в десять раз лучше, чем ты представить себе можешь, я и тогда не променяла бы тебя... Довольно?

Замолкнувший соловей, отголосок песни которого Карл слышал, выходя из дома, снова начал петь где-то близко, гулко, точно только что почуяв возле шепот любви и торопясь приветствовать его своею песнью.

Это был хороший нотный соловей, он чисто проделал почин с оттолчкой, а затем сделал два колена и рассыпался дробью, раскатился, запленкал, протянул, перешел в звонкий свист, защелкал гусачком и разлился бесконечною трелью.

Артемий и Ольга притихли. Она положила ему на плечо голову, прислушиваясь к пению.

Эйзенбах едва себя сдерживал, чтобы не вырваться из за-

сады. По счастью, он понимал, что, выскочив, ничего не выиграет, что, напротив, ему нужно притаиться теперь, несмотря на то, что пытка его была невыносимой. И он молча давал себе клятвы в том, что счастливый Артемий дорого заплатит ему за испытываемые им муки. Время для него казалось теперь вечностью.

А Ольга и Артемий, как нарочно, словно дразня его, сидели счастливые, упоенные своим счастьем, и соловей дразнил его своей песнью, а вечер охватывал его томною негой.

«Господи, да долго ли они будут сидеть так?» – думал Карл, чувствуя, что сила и последний остаток благоразумия изменяют ему и он готов уже кинуться вперед, чтобы задушить этого Артемия.

– Ты слышишь эту песню? – заговорила Ольга, – слышишь, милый?.. Ну, так вот так же, как хороша эта песня, так же, как хороши и этот вечер, и мир Божий, и жизнь моя, так же мне хорошо с тобою, и клянусь тебе, что или ты, или никто... никого мне не надо, кроме тебя одного... я люблю тебя...

А соловей, будто желая засвидетельствовать и подтвердить эту клятву, с особенной силой и прелестью завел новую песню.

XI. Отец

Карл, шатаясь, вернулся в свой флигель; но он выдержал до конца, не выдав себя ни одним неосторожным движением и не пропустив ни одного слова из подслушанного разговора Артемия с Ольгой.

«Так вот оно что! – соображал он, – так вот причина ее смущения при знакомстве, вот где тайна ее обращения со мною!.. Но что же делать теперь?»

Однако он чувствовал, что немедленный ответ на этот вопрос дать себе не может и что ему нужно прежде всего успокоиться, чтобы обдумать, как поступать дальше.

Голова барона горела, тело дрожало, как в лихорадке, дыхание прерывалось. Он чувствовал, что переживает одну из тех минут, когда люди, вполне здоровые и владеющие полным разумом, способны вдруг потерять его.

Карл решил сказать больным и не выходить к ужину. Он действительно был совсем болен.

Он призвал к себе слугу, чтобы тот помог ему раздеться; но лакей доложил, что приходил из большого дома дворецкий сказать, что князь Андрей Николаевич просит барона к себе немедленно, как только они вернутся с прогулки.

Карл взглянул на него недоумевающими, рассеянными глазами и спросил, поднося руку ко лбу:

– Что ты говоришь? Какой князь? Куда он зовет меня?..

– Князь Андрей Николаевич, – пояснил лакей. – Они желают вас видеть до ужина, к себе приказали просить.

– Да, к себе, – машинально повторил Карл и, так же машинально взяв поданную ему лакеем шляпу, пошел к князю.

Никогда он так сильно, как теперь, не любил Ольгу, то есть никогда она не нравилась ему так, как теперь, и вместе с тем он ненавидел ее.

Он шел по знакомой дороге в кабинет старого князя, не давая себе хорошенько отчета, что идет туда. Мысли его были все еще заняты только что виденным; пред затуманившимися глазами были Ольга и Артемий, а в ушах звучала соловьиная песнь, под которую Ольга произносила свою клятву.

Андрей Николаевич сидел у стола, перебирая бумаги. Он, наморщив лоб и пригнув слегка голову от мешавшей ему видеть в глубину комнаты зажженной на столе восковой свечи, всматривался, чтобы разглядеть, кто вошел.

– А, это ты, – ласково проговорил он. – Что, гулять ходил?

– Вы меня звали? – спросил Карл, чувствуя, что голос изменяет ему.

Князь опять поглядел в его сторону, точно не узнавая его голоса. Эйзенбах постарался остаться в тени.

– Да, я звал тебя, – начал Проскуров, – и по очень серьезному вопросу. – Он взял большую щепоть табака и потянул его с тем особенным удовольствием, которое служило у него признаком, что вещи, которые он намеревается сказать, будут приятны. – Вот что, мой милый! Надобно тебе знать, что

с первого же дня твоего приезда ты понравился мне, и оттого я удержал тебя у себя... Теперь я узнал тебя ближе и еще более полюбил...

«Боже, как мог бы я быть счастлив!» – подумал, невольно вздохнув, Карл.

– Ты что говоришь? – спросил князь.

– Нет, я слушаю.

– Ну, вот! Так задерживал я тебя недаром. Житье в Проскурове нравится тебе?

– Да, нравится.

– Ты, кажется, не прочь от деревенской жизни?

– Нет, я очень люблю ее.

– И мог бы не выезжать из деревни долго?

– Да, – чуть слышно подтвердил Карл.

Он понимал, к чему клонились эти вопросы князя. Он сознавал, что счастье его жизни должно было решиться сегодня, и князь начал разговор об этом именно сегодня, почти сразу после того, как Карл мог воочию убедиться, что счастье не суждено на его долю.

Если бы Проскуров знал, что испытывает теперь Карл, то не говорил бы так ласково-спокойно. Эта его ласковость и приветливость только увеличивали страдания молодого человека.

А князь, довольный своими мечтами и довольный тем, что пора приводить их в исполнение, не спеша рассказывал, что он в переписке с отцом Карла решил многое: что старик ба-

рон выедет на днях из Петербурга и что если Карл не знает, в чем дело, то это «многое» заключается в сватовстве его, Карла, к княжне, для чего-де и едет сюда барон Эйзенбах.

– Твой батюшка, вероятно, писал тебе о наших предположениях, – со мной можешь говорить без обиняков, – продолжал князь. – И едва ли, я думаю, ты будешь несчастлив...

Карл молчал.

Князь истолковал это молчание по-своему и продолжал:

– Затеял я наш разговор для того, чтобы узнать отчасти твои мысли и спросить, как, на твой взгляд, относится к тебе твоя будущая невеста... Я знаю, что моя дочь никогда не выйдет из моей воли, но, понимаешь, мне хотелось бы полного счастья между вами, мне желалось бы услышать от тебя самого, что она будет счастлива с тобою, потому что только тогда я буду спокоен окончательно, чтобы прожить остаток дней своих в ненарушимой радости.

– Этого быть не может! – вырвалось вдруг у Карла.

Однако тут же его охватило раскаяние, зачем он сказал это, и если бы князь призвал его к себе завтра, не сейчас, после сцены в саду, если бы у него было время одуматься, приготовить, то Проскуров, конечно, ни за что не услышал бы от него этих несчастных слов. Теперь же Карл был застигнут врасплох.

– А почему это, сударь мой? – спросил вдруг в один миг изменившийся князь и, словно ошестинясь, приподнялся на кресле, причем впился в Карла блестящими, сразу наливиши-

мися кровью, глазами.

Где-то, в глубине души, Проскуров предчувствовал, что его мечты не сбудутся, что тяготящая над ним немилость судьбы не изменится и на этот раз. И вот при словах Карла: «Этого не может быть» у князя вдруг со всею силою поднялось это сознание вечной неудачи. Да, и на этот раз расчет был неосуществим, как всегда. Но отчего, кто или что помещает ему?

Это заинтересовало князя, и он теперь желал лишь узнать причину, разбившую его надежды.

– Почему это, сударь мой, спрашиваю я вас? – крикнул он, не помня уже себя.

Только теперь увидел Карл, что значили эти страшные припадки гнева Проскурова, про которые он слышал от отца. Только теперь увидел он, до чего может дойти человек, еще за минуту пред тем ласковый и спокойный.

– Мне ваш батюшка писал, что вы всем сердцем рады, а теперь, что же это?.. Да говорите же что-нибудь! – крикнул князь.

– Я, князь, рад, – заговорил вдруг оробевший Карл. – Я, князь, про себя ничего не говорю, но княжна...

– Ну, ну, что княжна? Что княжна?..

– Может быть, у нее найдется другой избранник сердца...

Князь упал в кресло и, откинувшись на спинку, воскликнул:

– Другой избранник сердца!.. Ах ты, шут гороховый!.. Да

откуда же взяться этому избраннику?.. В Петербурге у вас девки бегают на свободе, а здесь кого увидит княжна Проскурова? Кого, спрашиваю я? Итальянца да Артемия... Что ж, она в Артемия влюбилась, что ли? – и князь расхохотался.

Карл стиснул между колен руки так, что пальцы его хрустнули.

Андрей Николаевич вдруг оборвал свой смех и, словно пораженный ужасом и удивлением, обернулся к Карлу.

– А!.. Тебе не смешно?.. Что ж ты не смеешься?.. В Артемия? – проговорил он. – Что ж, разве это мыслимо?

И, точно догадываясь уже по новому молчанию Карла, что для судьбы ничего нет невысказанного, князь, ударяя в ладоши, крикнул Артемия. Он знал, что тот должен был находиться в приемной.

Дверь отворилась и на пороге показался Артемий. Он был бледен, но держался прямее обыкновенного. Голова его не склонилась, глаза глядели открыто и прямо. Он точно вырос в эту минуту.

Барон сидел, напротив, съежившись и втянув голову в плечи.

Старый князь поднялся со стула, большими шагами подошел к Артемию и, схватив его за руку, подтащил к барону и заговорил, резко выкрикивая слова:

– Скажи ему, что он лжет! Он говорит, то есть не говорит он, а молчит... Он думает... Подозревает, что Ольга... Что ты... Пойми ты... Скажи ему, что это – ложь...

Князь совсем задышался.

Артемий опустил глаза. Он должен был ответить, не мог смолчать. И он ответил:

– Барон говорит правду.

Андрей Николаевич отскочил, точно громовой удар разразился над ним. Он несколько раз перевел с трудом дух, силясь проговорить что-то.

– И... и она? – наконец спросил он.

– Я сегодня сам своими глазами видел, как этот молодой человек сидел с княжною в саду, где розы... – произнес барон отчетливо и ясно. – Я не мог ошибиться... И я слышал весь их разговор...

Злоба при виде Артемия увлекла его, и он снова не мог удержаться.

Несколько мгновений в комнате было слышно только редкое и тяжелое дыхание старика. Он сидел в неловкой, случайной позе в кресле, и лишь изредка руки его судорожно вздрагивали.

– И это... – заговорил он наконец, – за все мои заботы... За всю мою ласку... За то, что я берег ее... Берег... Для того, чтобы найденыш, без рода и племени, осмелился... Ее... Княжну Проскурову... Вон! – вдруг крикнул князь в сторону Артемия. – Вон, и чтоб на глаза мне не показываться!.. Убью!..

Артемий стоял бледный, с затрясшейся нижней челюстью, но на крик князя он не выказал испуга, а покорно по-

вернулся и вышел.

Князь опять встал, подошел к Эйзенбаху и, отвесив низкий поклон, проговорил:

– Виноват, кажется, ваша правда. Не оставьте теперь меня одного!

ХII. Синьор Торичиоли

Весть о княжеском гневe с быстротою молнии разнеслась по усадьбе, и дворовые, по опыту знавшие, каков бывал рассерженный князь, притаились и притихли, запрятались по своим конурам, чтобы хотя случайно не попасть на глаза грозному барину. Дворецкий, давно не видевший гнева Андрея Николаевича и знавший, что припадок будет тем сильнее, чем дольше был светлый промежуток, дрожал заранее, в ожидании, когда господа выйдут ужинать.

На его счастье, никто не явился к столу. В этот вечер в Проскурове некому было вспомнить о еде.

Карл, придя к себе, лег на кровать не раздеваясь и, заложив руки за шею, долго лежал так, с усилием стараясь разобрать спутавшиеся нити мыслей и прийти в себя после свалившихся так неожиданно на его голову несчастий. Только что происшедшее объяснение с князем было у него, как в тумане. Хотя он и обвинял себя за излишнюю, может быть, горячность, но, обсуждая теперь дело со всех сторон, приходил к убеждению, что трудно было поступить иначе. Все равно, рано или поздно, истина должна была выйти наружу, и то, что случилось сегодня, неминуемо произошло бы тогда.

Долго лежал у себя Карл, пока наконец в дверях не показалась голова лакея.

— Иосиф Александрович просит барона, может ли он вой-

ти к нему? – доложил лакей.

– Просите.

Итальянец являлся теперь в Проскурове человеком, которого более всех остальных желательно было видеть Эйзенбаху.

Торичиоли вошел. Карл поднялся ему навстречу и спросил по-немецки:

– Вы знаете, что случилось?

Торичиоли владел этим языком довольно свободно.

– Слышал, – ответил он. – Если бы вы видели, что там происходило! – и итальянец качнул головою в сторону большого дома.

– А что?

– На половине княжны. Князь отправился к ней, и была минута, что он в бешенстве чуть не убил ее. Я там был с каплями. Я его удержал прямо за руку.

– А как же поступить иначе? – спросил он.

– Она молчит. Села в уголок и застыла, не дрогнет.

Карл прошелся по комнате.

– Плохо дело, синьор Торичиоли, – проговорил он.

– Да, барон, нехорошо.

– Я думаю, что все кончено. Выхода нет... Нужно уезжать...

– Значит, все ваши и мои хлопоты пропадут даром? – возразил итальянец.

– А вам сколько обещано отцом в случае, если свадьба

состоится?

– Пять тысяч одновременно и пенсия от вашего имени, – вздохнув ответил Торичиоли.

– Вознаграждение хорошее, – улыбнулся Карл. – Ну, теперь придется вам забыть о нем.

– А разве вы хотите бросить дело? Это – ваше окончательное решение?

Барон на ходу остановился пред итальянцем:

– А как же поступить иначе? – спросил он.

– Нужно поискать сначала какого-нибудь исхода...

– Ищите! – Карл опять заходил по комнате.

– Припадок гнева князя пройдет скоро, – начал рассуждать Торичиоли, – тогда он будет к вам опять ласков... Вы не виноваты ни в чем. Нужно победить молодую девушку – вот вся задача.

– Победить, победить! – процедил сквозь зубы Эйзенбах. – Легко сказать это – победить...

Нужно было видеть Карла в эту минуту, чтобы судить, каков был этот человек, когда маска добродушия спала с него. Лицо его резко изменилось, движения были отрывисты, бешенство горело в глазах. Казалось, он готов был на все решиться, чтобы достичь желанной цели.

– Нужно стараться, – проговорил итальянец.

Карл нетерпеливо взмахнул руками.

– Да разве я не старался, разве не делал все, от меня зависящее, в течение этих трех недель?.. Можно провести отца,

но чувство девушки не обманешь!

– Эх, если бы был я свободен действовать! – вздохнул вдруг Торичиоли.

Видно было, что ему и хотелось, и вместе с тем не хотелось говорить то, что он думал.

Искра надежды мелькнула в глазах Карла.

– Вы имеете какой-нибудь план? – живо спросил он. – Слушайте: если княжна будет моею, – кроме пяти тысяч и пенсии, я обещаю вам заемное письмо в пятьдесят тысяч.

– Пятьдесят тысяч! – повторил Торичиоли. – Пять тысяч и пенсия, заемное письмо в пятьдесят тысяч...

– Да, и ценный подарок в день свадьбы еще... Говорите, что вы придумали?

– Средство довольно старое, но тем не менее всегда действительное... У нас, в Италии, есть много секретов. Когда-то я занимался кое-чем. Можно молодой девушке дать несколько капель...

Карл махнул рукою, не желая дальше слушать.

– Я думал, у вас есть что-нибудь более серьезное, – сказал он разочарованно и снова заходил.

Тонкие губы итальянца растянулись в улыбку.

– Неужели, барон, вы думаете, что я говорю вам про те эликсиры, корешки и нашептывания, которые якобы способны приворожить девушку к кому-нибудь или заставить ее полюбить?.. Нет, Джузеппе Торичиоли никогда не занимался шарлатанством... Ему известны рецепты, более действи-

тельные, и знания, более точные...

– Что же это? Яд, что ли?

– Зачем яд? – рассмеялся Торичиоли. – Нет, напротив, самый жизненный напиток... В наших интересах, чтобы молодая девушка жила и благоденствовала, а молодого человека, который нам мешает, и без того немедля ушлиот куда-нибудь очень далеко... После случившегося сегодня он нам уже не опасен...

– Ну, так я не понимаю... – перебил Карл.

– Очень просто! Молодого человека ушлиот – в этом нельзя сомневаться, и вы останетесь хозяином положения, будете одни здесь, и тогда-то несколько капель известной мне настойки могут оказать свое действие.

– Да что же это за настойка? – нетерпеливо перебил Карл. – Что же, заставив княжну выпить ваши капли, вы воляете в ее сердце любовь ко мне?

Торичиоли снова улыбнулся и ответил:

– Любовь? Пожалуй – да. Но именно к вам? Нет, сделать это я не в силах. Однако довольно и того, что мои капли возбуждают в ней такую страсть, такое желание страсти, что никто не уберезет ее и сама она побороть себя не будет в силах, а так как, кроме вас, никого она более подходящего возле себя не увидит, то она и рада будет кинуться вам на шею.

– Вот оно что! – протянул Карл. – Но это ужасно!.. Ведь это все равно, что украсть ее сердце.

– Но зато это верно, – спокойно проговорил Торичиоли.

Карл задумался.

– Да, ужасное, но верное средство – это правда, – сказал он наконец, произнося вслух то, что было у него на уме, и заходил по комнате. – Но если я составлю ее счастье, – заговорил он опять, – то сделаю все, чтобы она видела в жизни одну только радость... Синьор Джузеппе, я говорю вам, что она не раскиснет в потере этого безродного найденыша... Я люблю ее...

– Тем лучше, – подтвердил Джузеппе, вполне понимая эгоистическую самоуверенность барона: все влюбленные на один лад, и все они думают, что рай только в их шалаше.

– И у вас есть готовым этот эликсир?

Торичиоли поморщился. В душе его, видно было, промелькнуло что-то неприятное, словно тяжелое воспоминание, какой-то призрак прошлого, которому он не хотел позволить возродиться.

– Нет, – ответил он, – у меня нет готовых капель, их нужно сделать... а главное, вспомнить пропорцию, снова вычислить ее... Сегодня которое число?

– Девятое июня, кажется.

– Странно! – как бы говоря сам с собою, произнес итальянец, поводя плечами, – ровно девятнадцать лет тому назад я в последний раз должен был применить свое искусство... Много времени прошло с тех пор...

Но Карл был занят своими соображениями, и воспоминания синьора Джузеппе не интересовали его.

– А много времени вам понадобится, чтобы составить капли? – спросил он.

– Если найду все необходимые материалы, то недели две, самое большее – три...

– Долгий срок! – сказал Эйзенбах.

– Какой вы нетерпеливый!

– Тут дело не в нетерпении, а в том, что рассерженному князю вдруг может прийти фантазия завтра велеть мне приготовить лошадей. Теперь я вижу его характер.

– Скажитесь больным, лягте в постель; я буду делать вид, что лечу вас. И вы только выиграете в глазах князя тем, что так потрясены, что даже заболели.

– Синьор Торичиоли, вы – умный человек! – проговорил Карл улыбаясь.

– Господин барон, вы очень любезны! – в тон ему ответил итальянец.

– Значит, по рукам?

На лице Джузеппе еще раз явилась его особенная улыбка. Он улыбался всегда одними губами, глаза у него оставались серьезны, как это бывает у людей или очень несчастных, или таких, на совести которых лежит какой-нибудь упрек за прошлую жизнь.

– Нет, господин барон, не совсем еще по рукам, – остановил Торичиоли Карла, когда тот для заключения условия протянул ему руку.

– В чем же дело? – удивился Эйзенбах.

– Да в том, что вознаграждение, которое вы мне предлагаете, слишком мало.

– Слишком мало? Вам мало пятидесяти тысяч?

– Вот видите ли, – с расстановкой проговорил итальянец, – я рискую уж слишком многим.

– На мой взгляд – решительно ничем. Никто не может узнать. И в моих, и в ваших интересах хранить тайну, а никому, кроме нас, она не известна.

– Да, но... вот тут что: я должен нарушить одно обещание... больше обещания – клятву... данную мною ровно девятнадцать лет тому назад...

– Ну, это, значит, – эпизод из древней истории; можно легко забыть то, что было девятнадцать лет тому назад.

– Согласитесь, однако, барон, что из-за пятидесяти только тысяч нарушить клятву...

– Синьор Торичиоли, вы, разумеется, рассказываете мне сказки про ваши клятвы.

– Которым вы можете верить или нет, – подхватил итальянец. – Но ведь вы должны получить за княжнюю около миллиона; неужели вам жалко увеличить мою долю?

– Этот аргумент более рационален, – сказал, подумав, Карл. – Но капли уже будут поднесены вами, я ни во что не вмешиваюсь... Сколько приемов вы должны дать?

– О, достаточно одного – в пять или шесть капель!

– Вот дорогой напиток!.. – улыбнулся Карл. – По двадцати тысяч капля!.. Что же вам угодно? Заемное письмо?

– Простую записку, которую вы подпишете.
И условие было заключено.

XIII. «Каждому свое»

Прошло три дня. Старый князь сидел, запершись у себя в кабинете, и никого не пускал к себе, кроме камердинера. Он вовсе не ложился, проводя все время у окна, не спал и ничего не ел.

Странная сцена, происшедшая в комнате Ольги, когда старый князь явился туда после разговора с бароном, так подействовала на молодую девушку, что она слегла.

Отец ни разу не спросил о ней. Он беспокоился только о себе и о новом ударе, которым поразила его судьба.

И этот удар был чувствительнее всех прежних для себялюбивого князя. Князь Проскуров, весь век гордившийся своим титулом, потому что, кроме этого, ему нечем было гордиться, князь Проскуров, высокомерно отвергший предложение князя Голицына и других завидных женихов, должен был сознать, что найденыш завладел сердцем его дочери. Это поистине казалось ужасным.

Но Ольга не была виновата в том, что полюбила Артемия. Чувству не прикажешь, и, когда ее любовь перестала быть тайной, когда рассерженный отец грозил ей монастырем, упрекал в неблагодарности и клялся сжить со света негодного мальчишку, она твердо вынесла всю сцену, но затем не выдержала. Здоровье ее всегда было плохим. Слабенькая, рожденная от болезненной матери, проведшая свое

детство в вечном страхе пред отцом – она выросла нервным, впечатлительным ребенком. Ей случалось жаловаться на грудь: она не могла, не задыхаясь, двигаться скоро... Пока отец берег ее, она чувствовала себя хорошо, но достаточно было первого же сильного нравственного потрясения, чтобы ее некрепкие силы надломились.

Артемий сидел, по приказанию князя, в своей комнате, под ключом, безвыходно. Участь его была решена: его отправляли в действующую армию солдатом.

Один Торичиоли еще надеялся, что все уладится, лишь бы поскорее услали Артемия. Перспектива ста тысяч придала ему бодрости, и он не хотел допустить и в мыслях, что это опьянившее его уже заранее богатство ускользнет от него, а потому горячо взялся за свое дело. Он вытащил запыленные книги, к которым давно не прикасался, сделал выкладки, отыскал на дне своего сундука коробку с засохшими корешками и к удовольствию своему убедился, что все, нужное ему, было налицо. Оставалось набрать розовых лепестков для эссенции.

Мнимобольной Карл лежал у себя во флигеле, скучая своим положением и отчасти уже раскаиваясь, что представился больным, – так, казалось ему, несносно проводить весь день у себя в неволе. Он спрашивал у Торичиоли, нельзя ли ему выздороветь, говорил, что ему скучно, но тот принес ему из библиотеки груды книг для развлечения и сказал, что выздоравливать рано, потому что самое лучшее сделать это днем

позже того, как старый князь, отсидевшись у себя в кабинете, выйдет оттуда, тем более что к тому времени и Артемия, по всей вероятности, уже ушли. Карл проклял в несчетный уже раз Артемия и остался лежать.

Он попробовал утешить себя книгами; он их вообще недолюбливал, но ему попался под руку один из безнравственных романов, довольно многочисленных в литературе XVIII века, и он стал читать его не без интереса. В этом случае он делал только то, что делало почти все общество его времени.

Роман подходил к развязке, и Карла очень занимало, женится в конце концов герой или нет, как вдруг, на самом интересном месте, раздались в комнате, соседней с его спальней, быстрые шаги и, распахнув широко дверь, вбежал растерянный и сам на себя не похожий Торичиоли. Он был без шляпы, парик сбился слегка у него набок, дрожащими руками он силился расстегнуть камзол на груди.

– Что такое, что с вами? – проговорил барон, приподнявшись на постели.

Итальянец махнул рукой и в изнеможении не опустился, а просто упал на попавшийся ему стул, причем испуганными, широко открытыми глазами уставился на Карла. Он тяжело дышал, точно ему пришлось пробежать целую версту.

– Это невероятно, непостижимо, это выше моего понимания, но между тем я видел его... я видел собственными глазами, – запинаясь произнес он.

Карл испугался: Торичиоли, казалось, сошел с ума.

– Да ведь как видел, вот не дальше пяти шагов! – продолжал, все еще едва переводя дух, итальянец. – Мне нужны были розаны... я рвал их и вдруг вижу – он идет по дорожке... Да, да, это был он, я не мог не узнать его!.. В девятнадцать лет его лицо нисколько не изменилось, как будто время совершенно не оставило на нем следов... И как раз теперь, когда я чуть было не нарушил...

– Да кого вы видели? – возвышая голос, перебил Карл, которому невольно передавался ужас Торичиоли, видимо, потерявшего голову.

– Да, я видел... Вот, возьмите назад; я – не слуга вам... Нет, не надо... Возьмите вашу записку, рвите ее... я ни за что, ни за какие деньги... Ах, барон, барон!..

И, говоря это, итальянец расстегнул свой камзол, достал висевший на груди у него полотняный мешочек, а затем, выхватив из него расписку Карла, бросил ее ему.

– Что с вами, кого вы видели, наконец? Дьявола, что ли? – рассердился барон.

– Не знаю... может быть... может быть... но только это почти сверхъестественно... Я наклонился над кустом, подымаю голову... и вижу...

Торичиоли не договорил. Он замер почти на полуслове, остановив глаза на окне.

Эйзенбах взглянул за ним туда же. Сквозь частую сетку оконной рамы виднелся цветник, между подстриженными

деревьями, по дорожке, на которой Карл в памятный ему вечер видел Ольгу, шел теперь к большому дому человек небольшого роста, коренастый, мускулистый, бодрою и твердою походкой. Он шел уверенно, просто, вполне владея тем, что называют «видной осанкой». Одет он был скромно, но его коричневый кафтан прекрасно сидел на нем, ноги, обутые в башмаки дешевой кожи, казались невелики (признак породы), а широкополая шляпа красиво оттеняла его выразительное, несколько смуглое лицо. Парика он не носил, и черные волосы его темнели издали.

– Кто же это? – спросил опять Карл.

Но Торичиоли не слышал этого вопроса и снова не ответил. Эйзенбах стал настаивать дольше.

Мало-помалу, медленно Торичиоли пришел в себя. Он выпил воды, отер платком бледный свой лоб, глубоко вздохнул и заговорил:

– Если бы за минуту пред тем мне сказали, клянусь всеми святыми... голову свою заложить... я не поверил бы, что это могло случиться... Откуда ему попасть сюда?

Эйзенбах повернулся на кровати и сказал, видя, что теперь наконец можно говорить с итальянцем:

– Ну, постойте! Чего же вы так испугались? Что случилось особенного в том, что вы увидели этого господина? Воскрес он, что ли? Были вы уверены, что он умер?

– Нет.

– Ну, так что ж тогда? Это – ваш соотечественник, как его

зовут?

– Comte Soltikoff.

– «Comte Soltikoff», – повторил Карл, пожав плечами. – Это русская фамилия: «граф Солтыков». По всей вероятности, проезжий или, может быть, новый сосед здешний, подъехал к княжескому парку и вышел погулять... Вы давно знакомы с ним?

– Да... да, – все еще рассеянно повторял Торичиоли, – да, тут нет ничего особенного, все это, может быть, очень просто... Soltikoff – русская фамилия... но девятнадцать лет тому назад в Генуе, и теперь вдруг здесь... Нет, это очень странно!..

– Значит, это – ваш давнишний знакомый? Вы пойдете к нему?

– Per Вассо¹, барон! Я останусь лучше с вами, – ответил Торичиоли, испуганно взглянув Карлу в лицо, и опустил на окнах, якобы от солнца, шторы.

¹ Клянусь Бахусом! (*ит.*).

XIV. Новый гость

Только что Торичиоли успокоился немного, выразив намерение остаться в комнате барона, как появился лакей. Итальянец с новым испугом взглянул на него.

– Там вас спрашивает дворецкий, – доложил лакей, обращаясь к Торичиоли.

«Так и есть!» – подумал итальянец.

Но делать было нечего, и он вышел к дворецкому.

Дворецкий Иван Пахомович, угождавший князю с самого поселения его в деревне и очень гордившийся этим, был человеком весьма обстоятельным, спокойным и не лишенным своего рода такта.

– Иосиф Александрович, – начал он, когда к нему вышел Торичиоли, – там иностранный господин пришел и просит доложить о нем князю. А ведь вы сами изволите знать, какие обстоятельства теперь, – к князю подойти невозможно... Я на себя не мог взять решение...

Дворецкий говорил с тою полупочтительною фамильярностью, с которою имеет обыкновение обращаться высокопоставленная прислуга не к господам, но к людям, стоящим близко к последним.

Торичиоли, давно привыкший к этой фамильярности, не обратил на нее внимания, тем более теперь, когда мысли его были всецело заняты совершенно другим.

– Надобно вам сказать, Иосиф Александрович, – продолжал Иван Пахомович, разводя руками, – этот господин явился-с через сад, довольно странно...

– Положим, тут может и не быть ничего странного, – сказал Торичиоли, невольно повторяя то, что только что говорил ему Карл. – Этот господин – вероятно, или приезжий, или новый сосед князя – гулял... зашел в сад... – Но тут Торичиоли замялся, потому что из показавшегося сначала правдоподобным соображения барона теперь как-то не выходило ничего убедительного. Наконец он спросил: – А он сказал свою фамилию? Фамилия его русская?

– Нет, иностранная.

– Иностранная?

– Он говорит, что он – доктор.

– Доктор? Как же он назвал себя?

– Доктор Шенинг.

Торичиоли вздохнул свободнее. Он понял, что человек, которого он знал в Генуе под именем графа Soltikoff, не желает, чтобы его узнавали здесь, и, подумав: «Тем лучше» спросил дворецкого:

– Вы сказали ему, что князя нельзя видеть?

– Да, но он просит остаться в доме. Я ему говорю, что без князя нельзя, а он говорит: «Так доложите князю!» – и Иван Пахомович снова развел руками. – Я уже и не знаю, как быть, Иосиф Александрович? – добавил он. – Как угодно, а вы выйдите, поговорите с ним; я на себя одного не могу

взять это дело.

Торичиоли остановился в нерешимости. Он чувствовал, что должен идти, что скрыться все равно некуда и что трудно будет выпроводить внезапного гостя, если тот захочет остаться. Под влиянием этого соображения он быстро взвесил все обстоятельства «за» и «против». Строго говоря, бояться ему было нечего. Человек, явившийся под именем доктора Шенинга, не желает быть узанным; условие, заключенное с Карлом, нарушено. В продолжение девятнадцати последних лет своей жизни он, Торичиоли, не может упрекнуть себя ни в чем. Ввиду всего этого он решился:

– Я сейчас! – сказал он и вернулся в комнату Эйзенбаха.

Карл лежал по-прежнему на кровати и ждал возвращения итальянца, уставившись на дверь нетерпеливым взором. Любопытство его было задето.

Торичиоли только высунулся в дверь и быстрым шепотом проговорил:

– Так помните, барон, что я – не слуга вам больше, что между нами нет никакого условия и что я вернул вам вашу записку.

Вслед затем, не дождавшись ответа, он снова исчез.

Доктор Шенинг ждал в больших парадных сенях, когда вернется дворецкий, сказавший ему, что пойдет посоветоваться относительно его просьбы. Он спокойно стоял у окна, и вся его фигура обличала столько уверенности в правильности его поступков, что становилось понятно, почему Иван

Пахомович не отказал ему сразу, а нашел удобным посоветоваться с итальянцем о том, как ему поступить.

Торичиоли вышел с крыльца в сени. Доктор обернулся к нему, и глаза их встретились. Но ни один мускул неподвижного лица доктора не тронулся, он бровью не шевельнул, и его остановленный на итальянце взгляд не выражал ничего, кроме ожидания. Казалось, он не только не узнал Торичиоли, но просто никогда не видел до сих пор и не подозревал, откуда явилось смущение этого итальянца и что значит его растерянный, тревожный вид.

«А может быть, это – просто сходство, может быть, память обманывает меня?.. – радостно подумал Торичиоли. – И в самом деле человек не может сохраниться так в продолжение девятнадцати лет... Да, конечно...»

И он смелее поглядел на доктора.

– Я имею удовольствие говорить с управляющим князя? – спросил тот на ломанном русском языке.

«Голос как будто тот», – снова мелькнуло у итальянца в голове, но он тотчас же ответил по-немецки:

– Нет, я живу у князя не в качестве управляющего. Но что вам угодно?

– Я прошу гостеприимства в этом богатом доме. Мне сказали, что это – дом князя Проскурова; я прошу гостеприимства у князя.

– Но его сиятельство никого не может принять теперь... его нельзя беспокоить...

– Я и не желаю беспокоить князя, но прошу лишь, чтобы мне было позволено отдохнуть.

– Это невозможно!

– Разве обычное в России радушие чуждо дому князя? – спросил доктор, улыбнувшись.

Иван Пахомович стоял важно и серьезно, переводя взоры с доктора на итальянца, как будто стараясь узнать смысл непонятого разговора на чуждом ему языке. Он видел, что доктор сообщил итальянцу что-то такое, отчего тот замялся.

– Иван! – вдруг раздался голос старого князя. – Кто это такой и что ему нужно?

Князь Андрей Николаевич стоял на верхней ступеньке спускавшейся в сени внутренней лестницы. Он в первый раз после случившегося три дня тому назад шел гулять в сад.

XV. Доктор Шенинг

Вероятно, это было следствием трех бессонных ночей и нервного утомления князя Андрея Николаевича, но с ним случилось нечто очень-очень странное.

Когда он, намереваясь пойти гулять, вышел на лестницу и наткнулся в сенях на иностранного доктора, просящего гостеприимства, он, должно быть, заговорил с ним и пригласил идти за собою, потому что полное и ясное сознание окружающего вернулось к нему только в саду, когда он шел по дорожке, по которой имел обыкновение ходить. Рядом с ним шел доктор Шенинг. Они разговаривали.

Как это случилось, что вот они очутились вместе, в саду, разговаривая, — старый князь отчетливо не помнил, хотя и понимал, что особенно удивительного тут ничего не было: он вышел сегодня в первый раз из кабинета, утомленный физически и нравственно. Весьма естественно, в первую минуту он мог почувствовать некоторую слабость, затмение и не помнил, что и как говорил. Потом свежий воздух отрезвил его и он пришел в себя.

Как бы то ни было, но доктор был рядом с ним и держался так уверенно и просто, как будто так и следовало тому быть.

Князь поверил его убежденному виду и подумал только про себя: «Гм... плохо дело, видимо, старость приходит, если ж я забывать стал».

Разговор у них шел по-немецки...

– Прекрасно у вас здесь! – хвалил доктор князю его сад и цветник.

Это, видимо, доставляло большое удовольствие Андрею Николаевичу, который был в сущности очень рад поговорить теперь с лицом, совершенно посторонним. Доктор, случайно заброшенный в Проскурово и, конечно, совершенно чуждый всему, что здесь произошло три дня тому назад, являлся вполне таким лицом. Кроме того, бывают люди, в обществе которых чувствуешь себя лучше, сильнее и крепче, словно они электризуют вас исходящими от них симпатическими токами. И доктор Шенинг был именно таким человеком, и в его обществе Проскуров чувствовал себя лучше.

Он, стараясь отвлечь свои мысли от надвинувшегося на него и заполнившего его беспокойства, показывал доктору цветник и высказывал предположения о том, как он разобьет клумбы в будущем году и как это будет еще красивее, чем теперь.

– Да, – согласился доктор, – при желании, разумеется, все можно сделать, хотя ваши клумбы так хороши теперь, что едва ли мыслимо распланировать их еще лучше.

Князь приостановился и взглянул на доктора из-под своих седых нависших бровей.

Когда человек поглощен чем-нибудь, ему кажется, что разговор затрагивает именно его больное место; так и теперь князь видел, что, несмотря на его старание говорить о совсем

посторонних его горю вещах, все-таки сейчас же дело зашло о «неисполнимости желаний», то есть о том, что составляло самое суть его несчастья.

– Да, но вот говорят, что если сильно желаешь чего-нибудь, то оно непременно сбудется, – ответил Андрей Николаевич (говорил уже не о цветнике, а о том, о чем мучительно думал в продолжение трех последних дней).

Доктор, в свою очередь, пристально поглядел на него и, улыбнувшись, произнес:

– Дело в том, что нужно уметь желать, нужно знать, каким путем направить волю свою, и тогда это замечательное наблюдение опыта явится непреложною истиной, в противном случае произойдет совершенно обратное, и человек вечно будет встречать все, идущее вразрез его желаниям, и никогда они не удовлетворятся. Муки Тантала – не простой, бессмысленный миф, не сказка, придуманная для забавы детей. Нет, это, может быть, – одна из аллегорий важнейшего откровения... Человек, не способный управлять своей волей, обречен на то, что вода будет сама, как у Тантала, убегать от его горячих, жаждущих, воспаленных губ.

Волнение снова охватило князя, но он с радостью ощутил, что это не было волнение гнева.

– Уметь желать, уметь желать! – повторил он. – Но хорошо сказать это, а как выполнить? Как научиться этому?

– Жизнь научит.

– Ну, а если есть люди, которые в продолжение всей жизни

не могли научиться этому?

– Значит, в их жизни не было ничего такого, чего бы им следовало желать по-настоящему, значит, судьба сделала все, чтобы они были счастливы, и желания их были излишними, не нужны... себялюбивы...

Это последнее слово Шенинга, как каленым железом, обожгло Андрея Николаевича, но, к его удивлению, этот ожог имел целебное, успокаивающее свойство.

– А разве могут быть желания несебялюбивые? – спросил он...

– Не только могут, но они должны быть, – ответил доктор. Князь задумался.

«Да, – словно заговорил в нем какой-то внутренний, вдруг только что пробудившийся голос, – неожиданность изменит твои расчеты, и судьба разрушит твои планы, если не положить конец страстям, конец себялюбии... Ты веришь в свою силу, а глядишь – камешек, попавшийся на твоей дороге, сильнее тебя... И так во всем».

И этот тайный голос был результатом всей жизни князя. Он это почувствовал теперь.

Они продолжали идти молча, обходя во второй уже раз большой цветник. Флигель, где жил Карл, был направо от них. Они подошли к флигелю. Князь вспомнил про Эйзенбаха, а также сообщение слуг о том, что молодой человек болен.

– У меня тут больной, – сказал он, указывая на флигель и,

видимо, желая дать понять доктору, что хочет его оставить на некоторое время, чтобы зайти к больному.

– Может быть, я могу быть полезен? – спросил Шенинг.

Князь недоверчиво взглянул на него и наконец решился спросить:

– Так вы... вы действительно – доктор?

Шенинг опять улыбнулся той уверенною улыбкой, которая удивительно шла его непоколебимому спокойствию и выдержанной, полной достоинства, манере держать себя.

– С какой же стати я говорил бы вам неправду? – ответил он и назвал известную немецкую академию, давшую ему ученую степень.

Имя академии окончательно убедило князя.

– В таком случае зайдите вместе, – пригласил он.

XVI. Мнимобольной

Карл со своей постели мнимобольного видел через окно, как против его флигеля остановился старый князь вместе со странным гостем, появление которого так напугало Тори-чиоли, что тот вернул ему его расписку и вдруг отказался от задуманного плана. Карл видел также, как они поговорили с князем и потом вместе повернули во флигель.

«Зачем он ведет его ко мне?» – удивился барон.

В первую минуту он решил было поскорее одеться, чтобы выйти к князю, но сейчас же передумал, потому что лучше было бы, если Андрей Николаевич воочию убедится, что он действительно болен и лежит. И Карл постарался придать лицу как можно больше уныния и грусти, полузакрыв глаза, натянул на себя одеяло и в знак своей слабости склонил голову на сторону.

Едва успел он принять соответствующую позу, как дверь отворилась и вошел старый князь.

– Лежите? – проговорил он. – Мне сказали, что вы больны, значит, серьезно больны?

Андрей Николаевич опять говорил Карлу «вы».

«Плохой знак!» – подумал тот.

Князь вошел очень храбро, но войдя, уже заметно сожалел, что пришел сюда, потому что, собственно, не имел ничего сказать Карлу. Однако он понимал, что встреча их все

же необходима, и пошел к барону.

– Благодарю вас, князь, – слабым голосом ответил тот, – мне Торичиоли давал лекарство, он находит, что это пройдет.

Карл говорил одно, а думал совершенно другое: он думал о том, какую имеют связь этот граф, как его назвал итальянец, Солтыков, и старый князь, разгуливающий с ним по саду, и сам, наконец, Торичиоли. Карл находился еще под впечатлением появления и ухода перебежавшегося итальянца.

– Итальянец – не доктор, – ответил князь. – Не послать ли за настоящим?

– О, нет, не надо! – поспешно перебил барон.

– Отчего же? А то вот проезжий есть... говорит, он – тоже доктор, пусть посмотрит.

И князь вернулся к двери и впустил в комнату Шенинга. Он распоряжался, как хозяин, потому что привык считать хозяином в Проскурове только себя.

Удивление Карла росло. Тот, кого князь называл «доктором» и впустил сейчас, был только что итальянцем показан ему, Карлу, под именем графа Солтыкова.

«Что за чепуха?» – недоумевал барон.

Но Шенинг, или тот, кого называли так, быстро приблизился к его постели, окинул его сосредоточенным, внимательным взглядом и посмотрел прямо в самые глаза его. Барон невольно опустил веки. Казалось, ему заглянули в самую душу и поняли все его помыслы.

– Цвет лица – прекрасный, – сказал Шенинг, затем попробовал голову Карла, тронул его руку.

Эйзенбах так растерялся от того тона, которым доктор сказал, что у него прекрасный цвет лица, что не успел опомниться и высказать сопротивление осмотру...

– Да он здоров, – проговорил вдруг Шенинг.

– Как здоров? – переспросил князь.

– Совершенно здоров, могу вас уверить. Даже излишней мнительности нет, это – простое притворство, и только.

Карл вскочил на постели. Резкие слова доктора взорвали его.

– Что ж, я лгу, что ли? – почти крикнул он. Куда девались его слабость, его бессильный голос!

Кровь прихлынула к его щекам, и по всей его энергичной фигуре всякий теперь сразу мог убедиться, что он действительно совсем здоров.

Доктор молча обернулся к князю, как бы приглашая его оценить эту метаморфозу в больном.

– Но с чего ж бы ему притворяться? – проговорил князь.

– Я не знаю, – ответил Шенинг, пожав плечами, – я не знаю даже, кто этот молодой человек, но не могу не сказать того, что вижу. Поищите: вероятно, есть причина, зачем ему нужно притворяться.

– Я барон Карл фон Эйзенбах, – бешено, не помня себя, продолжал Карл, – меня, слава богу, знают... и я не позволю какому-то проходимцу, назвавшемуся чужим именем,

оскорблять меня... Вы – не больше, как проходимец, неизвестно откуда взявшийся... Слышите, и убирайтесь вон отсюда!

Князь едва сдерживал себя, чувствуя уже приступ своего гневного припадка и стеснения в груди. Он уже не сомневался, что болезнь Карла была мнимой, и даже смутно понимал, зачем барон разыгрывал комедию. Если это было (как пришло в голову Андрею Николаевичу) для того, чтобы разжалобить Ольгу, то он мог, пожалуй, допустить это, но чтобы в его присутствии молодой человек, почти мальчишка, забылся до того, что осмелился оскорблять человека, этого он не мог допустить.

– Извольте, государь мой, замолчать! – резко проговорил он.

Карл слегка опомнился.

Шенинг оставался по-прежнему невозмутим и спокоен.

– Вы напрасно оскорбляете меня, – тихо проговорил он, – вы не знаете сами, что делаете, и змея укусит не меня, а вас.

Это невозмутимое спокойствие Шенинга и тихий, но отчетливый голос подействовали на барона, как масло на огонь. Он затрясся от злости. С первого же взгляда этот таинственный доктор стал антипатичен ему.

– Вы меня извините, князь, – обратился он к Андрею Николаевичу, – но если я, по мнению этого господина, – мнимый больной, то могу засвидетельствовать, что он – мнимый доктор, да... Торичиоли показал мне его в окно, когда он

проходил по саду, и назвал графом Солтыковым, которого он знал девятнадцать лет тому назад в Генуе.

Ни одна черта не двинулась в лице доктора. Он остался, как и был, и лишь в глазах у него промелькнула искра, когда Карл назвал его «Солтыковым». Эту искру не могли заметить ни Карл, ни старый князь. Доктор стоял, опершись рукою на спинку кровати Карла, и глядел поверх его головы, как будто то, что говорил барон, вовсе не касалось его.

– Меня могли назвать, как угодно, но это еще ничего не доказывает, – опять пожал он плечами.

Андрей Николаевич поднялся со своего места.

– Милости прошу, – обратился он к Шенингу и, не сказав ни слова Карлу и даже не взглянув на него, вышел из комнаты вместе с доктором.

Эйзенбах схватился за голову. Так хорошо начатое им дело кончилось таким постыдным посрамлением.

«А все этот Торичиоли! – подумал он. – И нужно мне было связываться с ним!.. Да и я не выдержал... Глупо... Теперь все кончено...»

И вдруг, к ужасу своему, Карл заметил, что записка, которую ему бросил, убежав, Торичиоли и которую он забыл спрятать, лежала на столике у самой кровати, повернутая кверху надписанной стороной. С того места, где сидел князь, прочесть текст, казалось, было невысказано, – это Карл сейчас же сообразил и успокоился. Но этот доктор... мог ли он видеть?

Эйзенбах быстро спустил ноги, вдел их в туфли и, подойдя к спинке кровати, оперся на нее рукою совершенно так же, как это делал доктор. Только что он встал на место, как ему прямо бросилось в глаза то, что было написано на этом несчастном клочке бумаги:

«Обязуюсь внести синьору Джузеппе Торичиоли сто тысяч рублей, если княжна Ольга Андреевна Проскурова станет баронессой фон Эйзенбах».

И Карл с отчаянием вспомнил, как он кричал, что он – сам барон фон Эйзенбах, этому доктору, который в ту самую минуту, может быть, читал эту записку.

Не теряя больше времени, барон схватил со стола трут и огниво, высек огонь, раздул, приложил серничку, зажег свечу и, скомкав бумагу, поднес ее к пламени. Бумага, корчась и чернея, вспыхнула синим пламенем и медленно превратилась в пепел.

«Ну, теперь пусть доказывает!» – успокоился Эйзенбах.

Выйдя от Карла вместе с доктором, князь Андрей Николаевич пошел в большой дом с таким видом, как бы предлагая Шенингу следовать за собою.

«Призвать итальянца и свести их с доктором, – сделал он в уме как бы выкладку, – если бароновы слова – правда, то выгнать».

«А может, барон и врет!» – пришло ему также в голову.

Придя наверх, он попросил Шенинга подождать в приемной, а сам прошел в кабинет и велел позвать к себе Тори-

чиоли.

Обстановка кабинета, в которую вернулся Проскуров и которая особенно в последние три дня опротивела ему, не произвела на него удручающего впечатления. А этого он боялся. Напротив, прогулка, видимо, принесла князю пользу: он чувствовал себя бодрее.

Торичиоли явился приниженным и смущенным. Чтобы попасть в кабинет князя, ему нужно было пройти через приемную, где находился доктор.

– Вы видали когда-нибудь этого доктора? – спросил князь.

Итальянец заморгал глазами и, делая всевозможные отрицательные жесты и головою, и руками, поспешно ответил:

– Никогда я раньше не видал доктора, никогда.

– А барон Эйзенбах говорит, что вы указывали на него, как на вашего знакомого в Генуе... и там он будто бы носил другую фамилию.

Итальянец задергался сильнее и, продолжая убедительно размахивать руками, заговорил:

– Ах, нет, господин князь, я не говорил этого; я только сказал, что знал девятнадцать лет тому назад – действительно в Генуе – человека, похожего на доктора Шенинга; но это был не он.

– Вы уверены в этом?

– О, да!.. Тем более что тот господин был приблизительно на вид тех же лет, как теперь и доктор...

– Ну, хорошо! Так подите проведите доктора в одну из

комнат, предназначенных для гостей! – Андрей Николаевич приостановился немного и затем вдруг скороговоркой добавил: – А потом велите завтра утром приготовить лошадей для молодого барона. Он завтра едет.

Вслед за тем движением бровей князь показал итальянцу, что тот может идти и что возразить ему нечего.

Торичиоли вышел в приемную и, согнувшись и извиваясь, стал просить «господина доктора» следовать за ним. Но тот, прежде чем сделать это, вынул из карманного портфеля сложенную вчетверо бумагу и сказал, подавая ее итальянцу:

– На всякий случай будьте добры показать это князю.

Проводив доктора до избранной для него комнаты и оставшись один, Торичиоли немедленно развернул данную ему для князя бумагу. Это оказалась засвидетельствованная русскими властями копия и перевод с диплома академии, выданная на имя доктора Шенинга.

XVII. Две девушки

Больная Оля сидела у себя в комнате. Она сильно переменялась: бледные щеки ее ввалились, глаза неподвижно оставались на первой попавшейся точке. Она не могла плакать, хотя слезы принесли бы ей утешение.

В первый раз третьего дня отец напомнил себя ей таким, каков он был во времена ее детства, когда она жила в вечном страхе и за себя, и за мать.

Смерть почти замученной на ее глазах матери стояла теперь перед девушкой во всех мельчайших подробностях своего леденящего кровь ужаса. Неужели и ей суждено так же умереть? Неужели она должна будет проститься с этой милою для нее до сих пор жизнью, и со своим дорогим, радостным чувством любви? Ей запрещали любить – значит, не хотели, чтоб она жила, потому что она не могла жить и не любить.

Она полюбила человека, которого знала с детства, который сам любил ее, и они были так счастливы, так чисто, безгранично счастливы до сих пор. Они не думали и никогда не говорили между собою о будущем, никогда не строили планов: настоящее казалось им так прекрасно, что нечего было уходить от него даже в мыслях. И вдруг все это оборвалось так грубо, неумолимо, бесповоротно! Оля чувствовала и понимала, что выхода из ее положения нет, что нечего и думать

о благоприятном исходе.

Через свою горничную Дуняшу она уже знала о том, что Артемия отправляют. Она знала нрав отца и не сомневалась, что его решения нельзя изменить.

Но и в себе, в своем самочувствии, она не могла тоже ошибиться. В ней во время гневного припадка отца словно оборвалось что-то, и, помимо нравственного страдания, она заболела физически, силы ее упали. Она была очень плоха.

Дуняша, принимавшая горячее участие в своей госпоже и служившая ей с безграничной преданностью, ухаживала за Олей, не спала ночи и, казалось, умереть была готова для нее.

Оля, несмотря на свою слабость, не лежала в постели, но проводила дни в кресле, беспомощно облокотясь на его спинку и инстинктивно, часто и подолгу останавливая свои широко открытые глаза на окне, выходявшем в сад. Она ждала, что Артемий, может быть, пройдет мимо, что, может быть, ей удастся если не перекинуться с ним несколькими словами, то хоть увидеть его. Потом ей сказали, что Артемия заперли; но она уже по привычке все продолжала смотреть в окно.

Дуняша понимала этот упорный, молчаливый, но тем не менее красноречивый взгляд своей княжны, и в тот день, когда старый князь, «отсидевшись», как называли в доме, вышел наконец из своего кабинета, она, принеся в комнату Ольги обед, остановилась в отдалении, ожидая пока княжна

заговорит с нею.

– Нет, не хочу, – проговорила Ольга, слабым движением руки отстраняя от себя поднос. – Что ты, Дуняша?

– Да что, барышня! Сердце надрывается, на вас гляючи... Бедная ты моя!.. – и в голосе беззаботной в дни веселья черноглазой Дуняши, первой затейницы в хороводах и играх, сводившей с ума первостатейных кавалеров двора, слышались теперь неподдельные слезы. – Барыня милая!.. Вот что я придумала!.. Завтра попроситесь на балкон, вниз, посидеть, будто воздухом подышать, а я тем временем раздобуду ключ от комнаты Артемия Андреевича; когда после обеда все успокоится, Артемий Андреевич и может спуститься в сад... Поняли?..

Тень улыбки мелькнула на бледных губах Ольги. Эта заботливость расторопной Дуняши, эта внимательность, выразившаяся в понимании того, что было нужно Ольге, – приласкали ее, а ей так нужна была ласка в эти тяжелые дни.

– Как же ты достанешь ключ? – спросила она.

– Уж это – мое дело. Он у Ивана Пахомовича; ему князь приказали соблюдать Артемия-то Андреевича, и так настрого, что ни-ни-ни... Ну, а Иван Пахомович вчера Сергея посылал вместо себя обед относить Артемию Андреевичу, потому что мы все его на смех подняли, – я нарочно это завела, – что, мол, на старости лет из дворецких в острожные сторожа попал, вроде то есть тюремщика. Ивану Пахомовичу это обидно показалось. Ну, вот он и препоручил Сергею.

Если завтра то же сделает, так Сергей, уходя, двери-то не запрет... Я ему уже говорила об этом.

– А Сергей не выдаст? – спросила княжна.

– Сергей-то?.. Да не жить ему после этого на свете, если он такое сделает! – воскликнула она, и яркий румянец покрыл ее щеки.

Дуняша уверенно, самодовольно усмехнулась, опустив глаза.

Ольга вспомнила, что ей давно было известно, что молодой буфетчик Сергей заглядывается на ее Дуняшу. И невольно пришла ей в голову параллель между собою и этой преданной ей девушкой, счастливой еще теперь так же, как была счастлива сама она так недавно, и она тяжело и глубоко вздохнула.

– Полноте, барышня! – проговорила Дуняша, как бы поняв вздох княжны и извиняясь за свое ненарушенное счастье. – Полноте!.. Все, Бог даст, к лучшему устроится, все хорошо будет...

– Нет, Дуняша, нет! – быстро перебила Ольга. – И не говори!.. Это только хуже... Чему ж тут устроиться?

Но Дуняша продолжала говорить:

– Нет, барышня! С чего же быть не по-нашему? За что на вашу долю напасти пойдут?.. Слава богу, вы никого не обидели. За что же Господь вас обижать станет? И, посмотрите, пройдет время – и как еще заживете-то.

Несмотря на то, что слова Дуняши были самыми обык-

новенными, избитыми словами утешения и Ольга не хотела слушать их, они все-таки доставили ей хоть минутную долю спокойствия; хоть на минуту она забыла о гневном отце, но это была именно только минута.

«Не бывать тебе за найденышем, не бывать этому сраму, ты осрамила род князей Проскуровых!» – снова зазвучали в ушах Ольги гневные речи князя, которыми напугал он ее третьего дня, и она вздрогнула всем телом, после чего спросила:

– А что батюшка?

– Сегодня вышли в первый раз из кабинета. В саду гуляли... заходили во флигель, а потом приказали итальянцу велеть лошадей к завтраму приготовить: барон петербургский уезжают.

Ольга не выказала к этому известию никакой радости. Теперь для нее было совершенно безразлично, останется Карл здесь или уедет.

– Теперь у нас новости, – начала опять Дуняша, – доктор иностранный явился; наверное, вас лечить будет, – и она стала рассказывать княжне про доктора.

XVIII. Болезнь Ольги

На другой день рано утром Карлу, уже предупрежденному итальянцем о необходимости его отъезда, подали лошадей, и он, не откланявшись князю, уехал. Андрей Николаевич извинился пред ним возобновившимся якобы нездоровьем и приказал Торичиоли передать барону, что весьма сожалеет, что не может видеть его.

Пред отъездом Карл попытался выведать у итальянца причину, почему он так испугался этого доктора, которого уже сам он, Карл, ненавидел всей душой, и узнать все-таки кто он, – Солтыков или другой кто-нибудь; но Торичиоли упорно настаивал, что в первую минуту ошибся, обманулся сходством, и тщательно избегал разговора об их условии относительно капель, как будто этого условия и не бывало между ними. Карл, в свою очередь, скрыл от него свою неосторожность с запиской, которую, по всем вероятностям, прочитал странный доктор.

Они расстались довольно холодно, но, распрощавшись с итальянцем, Карл почувствовал некоторое облегчение, заключавшееся в сознании, что он вовремя был удержан обстоятельствами от поступка, способного лечь упреком на его совесть.

Проходя из флигеля в большой дом, чтобы выйти на крыльцо к экипажу, он взглянул на окна комнаты Ольги. Они

были завешаны шторами.

Между тем незадолго до этого князь Андрей Николаевич задал камердинеру – впервые в последние три дня – вопрос об Ольге и, услышав от того ответ, что княжна нездорова, переспросил:

– Больна?

Однако сейчас же ему пришло в голову: «Штуки... штуки!...»

– А петербургский уехал? – спросил он опять отрывисто.

– Уезжают, – доложил камердинер, уже изучивший лаконический разговор барина и понявший, что его спрашивают о бароне.

Проскуров кивнул головой в знак того, что все идет, как нужно. Но известие о болезни Ольги все-таки обеспокоило его. Ему было как будто немножко стыдно за то, что он не догадался осведомиться о ней раньше – Ольга могла, пожалуй, действительно захворать. Но так как в случае действительности ее болезни стыд был бы вполне справедлив, то князь сейчас же постарался себя уверить, что его дочь притворяется.

Он поднял голову и, глянув на лакея, снова проговорил:

– Доктор что?

– Давно уже встали и гулять ушли.

– Вернется – ко мне позвать!

Доктор Шенинг понравился вчера князю, причем главным образом тем, что не шарлатанил вчера, не стал лечить

здорового Карла тем, чтобы потом похвалиться своим искусством, а как увидел, что человек здоров, так и сказал. Такого доктора князь еще не видывал.

«Молодец! – подумал он. – Во всяком случае, если она притворяется, то он узнает. Это – все, что нужно...»

И в ожидании доктора он сел писать в Петербург, для того чтобы ускорить отправку Артемия в солдаты.

К нему пришли спросить, может ли княжна, которой хочется воздуха, выйти на террасу? Андрей Николаевич поднял голову и пожал плечами:

– Конечно, может! Ведь я не запираю ее.

Лично он не шел к дочери, опасаясь себя самого и новой вспышки гнева.

Доктор Шенинг, который, видимо, имел обыкновение вставать очень рано, вышел, как доложил лакей князю, гулять, но не в сад, а направился по дороге, ведущей к большому Петербургско-московскому тракту, находившемуся верстах в пяти от усадьбы князя Проскурова. При соединении дороги с трактом стояла проскуровская деревня.

Эйзенбах, выехавший из Проскурова, видел через окно своей кареты, как шел этот человек легкою, привычною к ходьбе походкою, опираясь на свою высокую палку. Он узнал доктора Шенинга, от всей души пожелал ему провалиться сквозь землю и, поровнявшись с доктором, даже нарочно откинулся в глубину кареты и закрыл глаза.

Но Шенинг не обратил никакого внимания на обгоняв-

шую его карету, продолжая идти вперед.

Прогулка его было довольно продолжительной. Часа через три только вернулся он в Проскурово, так что этого времени было ему достаточно, чтобы дойти до деревни и вернуться назад.

Однако, несмотря на довольно значительное расстояние, которое ему пришлось сделать, утомления не было заметно, и он бодро и мерно, не замедляя шага, вернулся в усадьбу через сад.

Миновав цветник, Шенинг приблизился к ступеням террасы, на которой, пользуясь благоприятным, теплым днем, сидела уже Ольга, в кресле, окруженная подушками. Матовая бледность ее милого, девственно прекрасного лица почти не отделялась от белизны, полотна подушки. Голова, закинутая назад, не шевелилась, рот полуоткрылся, руки бессильно и безжизненно опустились. Она сидела с открытыми глазами, но, казалось, пред ними для нее было совсем другое – не терраса, не сад, а образы беспокойной, мучившей ее грезы.

– Бедное дитя! – вырвалось у Шенинга при виде Ольги. – Бедное... Неужели и у нее есть уже свое горе?

Он сразу своим опытным глазом увидел, что пред ним одна из тех нервных, на редкость впечатлительных натур, всякое ощущение которых как бы удваивается живущим в их душе огнем, и если это ощущение сильно, внезапно, то вспышка этого внутреннего огня может быть смертоносной.

Ольга страдала – это было ясно без слов. Шенинг понял, что пред ним княжна, дочь князя Проскурова.

При шуме его шагов Ольга подняла голову и, увидев пред собою чужого, незнакомого человека, сделала невольное движение к своим распущенным волосам, чтобы закрыть их руками.

– Не бойтесь меня, не бойтесь! – внушительно, тихо, но поспешно проговорил Шенинг. – Звание доктора позволяет мне видеть вас так, как вы есть... Я не сделаю вам зла.

И он протянул к девушке руку.

Спокойный вид Шенинга, улыбка, с которой он смотрел на нее, вызывали в Ольге невольное доверие к этому доктору, о котором она уже слышала от Дуняши.

– Так это вы – приезжий доктор? – спросила она.

Шенинг поднялся по ступенькам террасы и спросил в свою очередь:

– А вы княжна?

Ольга улыбнулась ему в ответ.

Ей казалось, что ее горе так велико, так всеобъемлюще, что все и всех наполняет собою и что всякий человек, с которым ей приходится говорить, должен непременно знать обо всем или по крайней мере при одном взгляде на нее догадаться, что происходит в ее измученной тоскою душе. А доктор смотрел на нее кротко, с ласкою, с участием, словно преданный друг, способный не только сказать ей слова облегчения, но и облегчить ее тоску. И потому-то она улыбнулась

ему доверчиво и почти радостно. Отец, самый близкий для нее по крови человек, никогда так не смотрел на нее.

– Вы нездоровы, вы больны? – спросил опять Шенинг. – Скажите мне!.. Может быть, я помогу.

Ольга слабо покачала головой.

– Нет, вам не помочь мне, будь вы самый искусный доктор... Так я, кажется, здорова, но боль моя здесь, глубоко-глубоко, – и она крепко прижала свою маленькую руку к груди.

– Все наши физические боли или большинство из их имеют причиной нравственное страдание, – ответил Шенинг. – У вас было какое-нибудь горе?

Ольга молчала.

Доктор внимательно следил за нею. Вдруг он сделал шаг вперед и поднял правую руку. Ольга испуганно обернулась к нему, не поняв его внезапного и немножко резкого движения.

«Боже, он что-то хочет сделать со мною!» – тревожно мелькнуло у нее в голове, и ей вдруг стало страшно быть наедине с этим совсем чужим человеком, потерявшим уже свою первоначальную ласковость и ставшим строгим, непреклонным, подчиняющим себе ее волю.

В особенности глаза его казались страшными и строгими.

Он зачем-то медленно проводил рукою – все ближе и ближе к ней, сверху вниз. Дуняша пошла обедать – не вернется. Ольга одна. Позвать, крикнуть!.. Но она не может ни по-

звать, ни крикнуть – язык ее немеет. А доктор что-то делает над нею, и она не может противостоять ему.

– Не бойтесь! – слышит она успокоительный шепот. – Верьте, не боритесь со мною, слушайте меня!

И он настойчиво, неотступно делает свои странные движения рукою.

Но он, во всяком случае, не злой, он – добрый, да.

Теперь она была в полной власти Шенинга, в полном его подчинении. Он оглянулся вокруг. Они были одни.

Ольге становится хорошо. Теплота разливается по ее телу, веки сами собою закрываются. И вдруг, словно она в воду канула, ее охватил тихий, нежный сон. Шенинг сделал над нею еще несколько пассивов, потом наклонился. Ольга спала.

Лицо Ольги, за минуту пред тем измученное тоскою и тревогой, казалось спокойным, тихим. Она недвижно лежала, закинув голову на подушку, словно наслаждаясь охватившим ее земное, телесное существо покоем. Шенинг снова нагнулся к ней.

– Вы слышите меня? – спросил он.

Он знал, что девушка должна услышать его, но ему нужно было, чтобы она ответила. И она ответила: – Да!

– Верите ли вы мне, что я не хочу вам зла, что для вашего блага и только для него я сделал то, что сделал?

Улыбка явилась на губах Ольги.

– Да, да! – ответила она.

– Ну, теперь отвечайте! Можете вы видеть свою болезнь,

причину ее?

– Я знаю ее... я знаю... я и наяву знаю ее.

– Может быть, вам в питье дали какие-нибудь капли? Припомните.

Молодая девушка слегка качнула головой.

– Нет, мне ничего не давали.

– Тем лучше! Значит, причина другая. Какая ж она?

– Я люблю, – сказала Ольга.

– Дальше?

– Я вижу отца. Какой он строгий! Он – бедный: он не знает, что, запрещая мне счастье, губит меня. Но он не изменит своей воли... Ах!.. Что я вижу!.. Мне жаль себя!.. Я вижу гроб, белый, глазетовый, и я лежу в нем... Цветы... все плачут... И отец плачет. А сделать уже ничего нельзя... ничего. Нет, я хочу жить... За что?.. Разве жизнь нехороша?.. Я люблю жизнь. Не надо этого гроба!

На бесстрастном лице Шенинга промелькнула тень сострадания.

– Так ищите средства! – сказал он.

– Его нет. Если не дадут мне счастья... только оно одно спасет меня.

– Ищите! Постарайтесь найти!

– Нет.

Шенинг опустил голову. Ему жаль было молодости и красоты Ольги, ее первой девственной любви, свидетельство силы которой он только что видел, и он захотел помочь по мере

своих сил этой девушке, душевную драму которой случайно узнал он, попавший в дом ее отца вовсе не для того, чтобы входить в тесную жизнь этого совсем стороннего для него дома.

– Вы хотите спросить меня еще что-то? – проговорила Ольга.

Шенинг, глянув ей в лицо, задал вопрос:

– Вы, значит, можете следить за моею мыслью?

– Конечно! – ответила Ольга с новой улыбкой, как будто ее спрашивали о вещах, о которых совсем не следовало спрашивать.

– Хорошо. Тогда говорите, что вы видите?

– Я вижу дорогу... поля по сторонам... Пойдите, я знаю эту дорогу – она наша. Она ведет в проскуровскую деревню на тракт... Вот деревня... Тракт... Я вижу много народа... Что это?.. Солдаты верхом... Офицеры... Кареты... Одна, другая, третья... Как они красивы!.. Какие дамы сидят в них... Как скоро едут они... Сколько золота блестит на солнце... Вскачь, вскачь все... Но вот первая карета останавливается...

Однако доктор не дал договорить ей. Терять время ему было некогда.

Через несколько минут Ольга проснулась на террасе одна. Она помнила, что познакомилась с доктором, что он произвел на нее отличное впечатление, но, как она заснула и что видела во сне, она не знала.

XIX. Правда доктора

Шенинг прошел от Ольги прямо к князю. Тот встретил его очень любезно, усадил против себя И протянул ему табакерку. Но доктор отказался от табака.

– Я просил вас прийти, имея в виду просьбу к вам, – сказал князь. – У меня дочь больна.

– Да, я знаю, – ответил Шенинг. – Я только что видел княжну на террасе и осмотрел ее... Она нехороша...

«Ой, врёт!» – подумал князь и спросил:

– То есть чем же нехороша, государь мой?

– Ее болезнь может перейти в сухотку. Я не имею права скрывать это пред вами.

Князь беспокойно задвигался на месте.

– В сухотку, вы говорите, в сухотку?... Так ведь это... может чем же кончиться, это, значит, серьезно?

– Да, это серьезно! – подтвердил доктор.

– Что же нужно делать? В Москву, в чужие края везти ее... лечить?..

– Нужно уничтожить причину, корень ее болезни. У нее было какое-нибудь нравственное потрясение?

Князь резко двинул плечом и забарабанил пальцами по ручке кресла. Шенинг ждал ответа.

– А что мне докажет, государь мой, что ваши слова справедливы и что это верно? – вдруг оборачиваясь, резко спро-

сил князь, глянув в упор на доктора.

– То есть что верно? – переспросил тот.

– А то, что болезнь княжны, моей дочери, так опасна?

Шенинг поднялся со своего места и, отчеканивая каждое слово, произнес:

– Княжна не вынесет своей болезни, если не уничтожить той нравственной причины, от которой происходит ее недуг. И это так же верно, как то, что через полчаса к вам придет известие о том, что сегодня сюда, в этот дом, будут великая княгиня с великим князем.

Андрей Николаевич, как был, так и привскочил со своего места. Он еще не мог разобрать, не насмешка ли это над ним.

Но Шенинг был серьезнее обыкновенного.

– Та-ак-с! – протянул старый князь. – Ну, на этой штуке меня не поймаете-с... не таковский; рассчитали, государь мой, но плохо... плохо рассчитали, говорю я вам! – И Андрей Николаевич, пригибаясь вперед, отчеканил, роняя слово за словом: – Нам, помещикам, известно, что великий князь с супругою изволят проследовать сегодня по тракту в Москву, но нигде они останавливаться, кроме путевых дворцов государыни императрицы, не будут в дороге, и никаких встреч делать не дозволено. А посему они сегодня проедут мимо. Да и никогда у частных персон высокие особы не останавливаются. Все-с это предусмотрено, и существуют особые дворцы. Вот и все-с... Извините, что потревожил вас... простите – тут вот дела у меня, – и князь поклонившись опу-

стился в кресло и взялся за бумаги в знак того, что считает разговор оконченным и продолжать его не намерен.

Доктор все с тем же свойственным ему невозмутимым спокойствием тихо повернулся и вышел.

Судя по словам, которыми князь заключил свой разговор с Шенингом, не было сомнения, что этому доктору немедленно подадут лошадей для выезда из Проскурова. И действительно, Андрей Николаевич, окончив свои занятия в кабинете, готов был призвать дворецкого, чтобы приказать ему заложить лошадей для Шенинга. Но каково же было удивление князя, когда взволнованный дворецкий почти бегом влетел к нему и, торопясь и глотая слова, стал докладывать, что верхом приехал с тракта офицер, для того чтобы предупредить князя Проскурова, что к нему придут сейчас великий князь, княгиня и свита. С колеса у кареты великой княгини соскочила шина, и потому время, которое необходимо, чтобы поправить ее, высокие гости проведут в усадьбе князя, находящейся, по счастливой случайности, вблизи места происшествия.

Это известие так поразило само по себе Андрея Николаевича, что он не имел даже времени удивиться еще более поразительному предупреждению доктора Шенинга, только что полученному им.

Богатый дом Проскурова, с целым рядом всегда готовых комнат для гостей, с кладовыми, полными всяких запасов, с оранжереями заморских плодов, набитый многочисленною

прислугою, был одним из тех барских русских домов, в которых не приходилось в случае нужды вино курить и пиво варить – всего было вдоволь. И, словно по волшебству, вытянулся в большом зале длинный стол, покрытый голландскою скатертью и уставленный винами в серебряных жбанах и вазами с фруктами.

Забегали разодетые в яркие кафтаны лакеи, на кухнях застучали ножи.

Все поспело вовремя, и князь Андрей Николаевич в шитом золотом кафтане встречал с непокрытой головою своих гостей на крыльце. Он чувствовал себя, точно во сне. Его тихая до сих пор усадьба вдруг наполнилась блестящею толпою, способною ослепить и привычного к ней человека своими камнями, шелком, перьями, кружевами.

Все было весело, смеялось, шутило, было полно радости. Только великая княгиня Екатерина Алексеевна казалась грустною, и благодаря ли этой своей грусти или иному чему, но резко выделялась из всей этой блестящей толпы. На ней было платье менее роскошное, чем у остальных, но никто ловчее ее не носил своего платья. Она была невысока ростом, но все остальные как-то уничтожались пред нею, казались ниже ее. Ее красивое лицо привлекало к себе не только красотою, но на нем лежала печать несомненного ума и энергии – качеств, которых не было заметно в маловыразительном, суживающемся к подбородку, лице ее мужа. Его выдавшиися вперед, словно он испугался когда-то и застыл в этом

выражении, глаза, черные, большие, казались безжизненными и не притягивали к себе. Взгляд великой княгини, напротив, проникал в самую душу, а чуть заметная складка между бровями служила признаком развития мысли и ранних дум.

Когда сели завтракать, сразу можно было увидеть, что в великокняжеской семье существуют два совершенно противоположных лагеря. Это было ясно и по разговору, и по привычкам.

Молодая Екатерина Алексеевна, прежде чем сесть за стол, обратилась в передний угол и набожно сделала крестное знамение; великий князь, хохоча и шутя, подскочил к своему стулу и, как-то сбоку перешагнув через него, сел и тотчас же принялся есть и пить, наливая себе вина полные стаканы.

Князь Проскуров не садился за стол и в качестве хозяина переходил, наблюдая за угощением.

Завтрак у князя Проскурова был хорош, вина вкусны, общество многочисленно, и разговор завязался поэтому интересный.

– Нет, что касается меня, – сказал Петр Федорович, – то, конечно, я не верю, но много есть на свете странного... Я вот сам скажу про себя, со мною была история...

И он начал рассказывать историю, которую обыкновенно повторял после выпитого вина; это была история о том, как он, будучи восьмилетним мальчиком, был послан отцом, герцогом Голштинским, против банды цыган и как победил их чудесным образом.

На всех лицах играла скрытая улыбка в продолжение этого невероятного рассказа, слышанного большинством присутствующих уже много-много раз.

Екатерина низко опустила голову и потупилась. Краска несколько раз ярким румянцем заливала ее щеки. Как ни старалась она скрыть это, но заметно было, что ей и больно, и обидно за мужа.

Но Петр Федорович, красный от выпитого вина, блестя влажными глазами, продолжал свой рассказ, не обращая внимания ни на общую неловкость присутствующих, ни на сконфуженный вид супруги. Только когда он закончил и водворилось неприятное молчание, он как будто понял, что что-то не совсем ладно, и обратился к хозяину дома как к человеку новому и не слыхавшему еще никогда истории о цыганах:

– Князь, а князь... как вас зовут там?

– Проскуров, – подсказал Андрей Николаевич.

– А! Ну, все равно! Что вы скажете о моем рассказе?

Князь развел руками.

– Удивительно, ваше высочество, но сегодня мне трудно удивляться чему-нибудь после того, что случилось со мною.

Все обернулись в его сторону. Великая княгиня подняла на него взор.

– Это интересно, – сказал кто-то.

– Что же с вами случилось? – спросил великий князь, довольный тем, что в пику жене, которая, по его мнению, все-

гда вела себя так, чтобы поставить его в неловкое положение, он вовсе не конфузится и держит себя молодцом.

– Счастье высокого посещения, которым я удостоен сегодня благодаря случаю, – ответил Проскуров, – было предсказано мне утром.

– Что ж, это – добрый пророк, – подхватил великий князь. – Я желал бы, чтобы у нас почаще ломались шины, чтобы иметь такой прием, завтрак, а главное, вино... У вас славное вино, князь, – заключил Петр Федорович и налил себе еще полный стакан шипучего.

– Вы слишком милостивы ко мне, ваше высочество, – поклонился князь низким, ниже поясного, поклоном.

– Кто же этот пророк? – спросил, сдвигая брови, Чоглоков, жена которого была приставлена к великой княгине императрицею и который тоже наблюдал и сам за «малым двором».

– Доктор, – поспешил ответить князь, – его фамилия Шеннинг.

– Славная фамилия! – заметил великий князь. – А где ж он!

Князь старался предупреждать желания своего высокого гостя.

– Прикажете позвать его, ваше высочество? – живо спросил он.

– Ах, да, прикажите! – сказала одна из фрейлин. – Это, вероятно, очень интересно. Говорят, в Германии есть тайные

союзы, и я убеждена, что он – член такого союза, а я никогда не видела их...

Андрей Николаевич кивнул дворецкому, тот, поняв с полуслова, побежал за доктором.

Дверь раскрылась и на пороге появился доктор Шенинг.

На нем были тот же, что и вчера, коричневый кафтан, та же простая обувь, и так же, как вчера и, очевидно, как всегда, был спокоен его вид. Казалось, под этим простым и скромным одеянием являлся не бедный доктор пред лицо владетельных особ, а один из сильных мира сего входил в общество, знакомое ему и привычное. В нем не было заметно и тени волнения, охватившего всех в Проскурове, не исключая и старого князя, с минуты приезда гостей. Доктор приближался, не ускоряя шага, и, подойдя к столу, сделал почтительный поклон, полный достоинства.

Но только великая княгиня улыбкой и наклоением головы ответила на этот поклон. Остальные, и в особенности великий князь, смотрели на вошедшего, как на предмет любопытства, словно он был не человек, а вещь из кунсткамеры. Петр Федорович перегнулся, закинув руку за спинку стула и, полураскрыв рот, точно очень удивился, что доктор – такой же, как и все остальные люди.

– А что же, он ничего, – вслух проговорил он, не стесняясь.

Великая княгиня закусала губы. С ее прирожденным тактом распознавания людей она сразу увидела в докторе до-

стойного человека. А ее муж уже оскорбил этого человека ни за что ни про что своим обращением.

– Вы, говорят, – предсказатель, маг, волшебник? – продолжал Петр Федорович, обращаясь к доктору.

Старый князь смотрел в это время на Шенинга, сверкая глазами, будто всем существом своим хотел сказать ему: «Посмей у меня только быть непочтительным! Так я тебя в щепки изломаю».

Но доктор, не теряя своего хладнокровия, тихо ответил:

– Я ни то, ни другое, ни третье, ваше высочество!

– Ну, а все-таки наш приезд, случай с нами предсказали?

– Да.

– Каким же образом?

– Вам угодно испытать?

Петр Федорович расхохотался.

– Я – не столько глупая голова, чтобы верить вашим дурацким бредням.

– Но все-таки это интересно, – сказала Екатерина, чтобы смягчить последние слова великого князя.

– Да вот, – подхватил опять тот, – это совсем по женской части... Нам, мужчинам, разумеется, интереснее выпить стакан доброго вина... ну, а им заниматься гаданьем. Вы можете поворожить моей жене?

Шенинг взглянул на Екатерину. Вся эта сцена, видимо, была неприятна ей.

– Да, пожалуйста, – проговорила она.

– Если ее высочеству угодно будет, – ответил доктор, – в таком случае я попрошу ее высочество пройти со мною в соседнюю гостиную. Я могу исполнить ее волю только без посторонних свидетелей.

Екатерина поднялась со своего места.

– Я готова, – сказала она и добавила, обращаясь к Чоглокову вполголоса по-французски: – Я думаю, вы не будете ничего иметь против, если я избавлю этого человека от любезностей великого князя, а нас всех – от неприятной сцены.

Чоглоков поклонился в знак согласия.

– Только я попрошу ваше высочество оставаться недолго, – проговорил он.

Екатерина сделала знак Шенингу следовать за ней.

Остальные, когда встала великая княгиня, тоже поднялись из-за стола и перешли на террасу, где уже были приготовлены сласти и наливки, и Петр Федорович, несмотря на присутствие дам, потребовал себе трубку и закурил свой кнастер.

Войдя в гостиную, Екатерина быстро обернулась к Шенингу и, смягчая свои слова ласковой улыбкой, сказала ему:

– Надеюсь, вы удовольствуетесь тем, что я увела вас, чтобы избавить от неприятного разговора, и не станете в самом деле играть предо мной комедию с какими-нибудь предсказаниями?

– Если я решился беспокоить ваше высочество, – ответил доктор, извиняющимся тоном, что перебил речь великой

княгини, – то, поверьте, имел к тому более серьезные причины.

Говоря это, он достал из грудного кармана своего камзола сложенное и запечатанное письмо и подал его Екатерине.

Несмотря на то, что они были совсем одни, она невольно оглянулась по сторонам, несмело протянула руку к письму и недоверчиво осмотрела его. На печати она узнала герб принцессы Ангальт-Цербстской, а в почерке адреса – руку своей матери.

Не сомневаясь более, она быстро распечатала и начала читать.

«Граф Симон де Сен-Жермен, – написала ей мать по-французски, – передаст тебе это письмо и расскажет как обо мне, так и обо всем, что не успею я досказать тебе в этом письме. Доверься ему! Он – не только преданный друг мне, но и тебе может быть верным и добрым помощником».

Екатерина, пораженная неожиданностью, взглянула на стоявшего пред ней человека, молва о котором из Парижа глухо дошла до Петербурга и о котором ей приходилось уже слышать дивные вещи.

– Так вы, – сказала она, – граф...

– Симон де Сен-Жермен, – снова поклонился он.

– И вы для меня приехали из Парижа?

– Исключительно для вас, ваше высочество. Принцесса, ваша матушка, говорила мне о тех затруднениях, которым подвергается ваша переписка с нею, о том надзоре, под ко-

торым держат здесь ваше высочество, как в замке...

– Хуже замка. Я окружена соглядатаями, за каждым движением моим следят. Я не могу сделать буквально ни шага... Императрицы не видно месяцами... И достаточно, чтобы в ком-нибудь заметили преданность ко мне, дружбу, даже в слугах, – сейчас их удаляют от меня... Вблизи меня нет друзей...

– Но это не значит, чтобы их не было вовсе, – сказал граф, подчеркивая свои слова.

– Я это вижу, – улынулась Екатерина, – и, кажется, узнала одного из них сегодня.

Она протянула ему руку, которую граф поднес к своим губам, говоря:

– И в которого вы можете верить, ваше высочество.

– Благодарю вас, я верю. Представьте себе, мне даже не позволяют переписываться с матушкой. Письма к ней составляются в иностранной коллегии, и я могу лишь ставить на них свою подпись; мне запрещено делать какую-нибудь приписку... Мне сказано, что канцлер Бестужев лучше знает, о чем и как должна писать великая княгиня. Но они забывают, что этот их канцлер не может знать, как хотела бы писать дочь к матери.

Имя Бестужева было произнесено так, что граф спросил:

– А ваше высочество считаете канцлера своим врагом?

– И одним из самых непреклонных.

– Не отдавайтесь этому чувству вражды. Оно ошибочно.

Брови Екатерины сдвинулись.

– Как? Вы хотите, чтобы я не имела ничего против Бес-тужева, от которого я терплю, может быть, больше, чем от других?.. Вы этого не знаете, а я тут это чувствую.

– Верьте, ваше высочество, что в Париже хорошо осведомлены обо всем, что касается вашего положения здесь. Канцлер временно делает вам притеснения, чтобы показать свою силу и выгоду союза с ним. Но он слишком умен и дальновиден, чтобы не стать на вашу сторону, если вам угодно будет выказать к тому желание.

Екатерина задумалась. Ей было весело и приятно сознавать, что она, за минуту еще пред тем чувствовавшая там, за столом, себя совершенно покинутой, среди людей, с которыми ничего не имеет общего, – вдруг видит, что где-то далеко, в Париже, заботятся о ней, знают мельчайшие подробности отношений к ней окружающих и думают за нее.

– Да, – сказала она, – мне это не приходило в голову. Попробую. Может быть! А то бывают минуты, что теперешняя жизнь просто не вмоготу делается.

– Если будет очень тяжело, – продолжал Сен-Жермен, – обратитесь к императрице и попросите ее отпустить вас домой. Она этого не сделает, но к вам станет относиться ласковее. Впрочем, обо всем этом вам принцесса пишет в письме; постарайтесь только, чтобы его не увидели у вас.

– О, будьте покойны! – уверенно произнесла Екатерина. – Но как же вы пробрались сюда? Почему вы знали, что мы

будем здесь?.. Или это – одна из тайн графа Сен-Жермена?

Он весело улыбнулся.

– Поверьте, ваше высочество, все, что я делаю, очень просто и главное – естественно. Оно не похоже только на то, к чему привыкла толпа. И она удивляется тому, чего не знает. Вот и все. Я должен был переменить имя, чтобы явиться в Россию. Я ехал в Петербург, но на дороге узнал, что вы отправляетесь в Москву, и свернул по проселкам наперерез вам. Я рассчитал, что мы должны съехаться в имении здешнего князя. Ваш кучер был заранее подкуплен для того, чтобы сказать в условленном месте, что лопнула шина, и дальше ехать нельзя. Сегодня утром я был в деревне и распорядился относительно условленного знака. Не было сомнения, что вы остановитесь в усадьбе...

– И увижу вас, чтобы высказать вам свою благодарность, – добавила Екатерина. – Но я боюсь, что наше «гаданье» покажется там, – великая княгиня кивнула на террасу, – слишком продолжительным. Увижу ли я вас еще?

– Я должен ехать завтра утром назад.

– В таком случае все-таки до свидания.

Граф ответил ей новым поклоном. Екатерина направилась к двери.

– Граф! – вдруг остановилась она, и легкая краска смущения зарумянила ее щеки. – Простите мне один вопрос: вам дорого стоило подкупить кучера?

– Ваше высочество, зачем вам знать это?

– Чтобы вернуть вам расходы.

Новая улыбка явилась на лице графа. Он опустил руку в карман своего бедного коричневого камзола и достал оттуда целую горсть бриллиантов.

– Вы видите, у меня еще хватит на подкуп не одного только кучера. Желаю вам счастья, ваше высочество!

Про графа Сен-Жермена говорили, что он обладает тайной искусственно воспроизводить бриллианты чистой воды. Екатерина вспомнила это и, не сказав больше ни слова, но еще раз кивнув, с особенною, только ей свойственной улыбкой, своему новому другу, вышла из комнаты.

XX. Последнее слово князя

Неожиданный прием, оказанный Проскуровым великому князю и свите, вышел столь блестящим, что Андрею Николаевичу оставалось только самому удивиться, как это все было хорошо. Самый придирчивый человек не мог бы сделать никакого замечания. Гости были очень довольны приемом.

Великий князь и великая княгиня благодарили хозяина. Но все-таки Андрей Николаевич мог свободно вздохнуть лишь тогда, когда вся эта блестящая толпа села в экипажи и лошади тронулись. До самого конца нельзя было ручаться, что непривычная ко двору прислуга Проскурова не сделает какой-нибудь неловкости, или мало ли что может произойти.

Но зато, когда все кончилось, вздох довольства и радости вырвался из груди старого князя, долго стоявшего на крыльце и не спускавшего взора с удаляющегося поезда.

Кузов последней кареты исчез из вида, и князь повернулся, чтобы идти в дом.

Часы, которые он пережил, были так хороши, так льстили его болезненному самолюбию, что он, нарочно подымаясь тихими шагами по лестнице к себе наверх, медлил, чтобы продолжить удовольствие вынесенных впечатлений и не сейчас окунуться снова в ту разладицу, которая явилась теперь в его доме и должна будет охватить его, едва лишь войдет он в кабинет. Там он снова из чарующего мира блеска и двора

очутится в мире неприятностей, где этот неблагодарный Артемий, больная дочь и неудавшееся сватовство ее с сыном старинного приятеля.

Но не успел он дойти до кабинета, как уже должен был сводить свои счета с этим миром. В приемной его ждал тот, кого он знал под именем доктора Шенинга.

– Верите ли вы теперь моим словам? – встретил он князя вопросом.

Проскуров провел рукою по лбу.

– Ну, да, государь мой! Что же вы хотите?

– Я говорю о вашей дочери.

– Да, да... Все это очень удивительно! – заговорил Андрей Николаевич с расстановкой. – Да... И великая княгиня назвала вас удивительным человеком... Да... Вы говорили, что болезнь Ольги серьезна?..

– Очень серьезная, князь.

Андрей Николаевич хмурился с каждым словом.

– Но она все-таки молода, ее натура может выдержать... я надеюсь, – проговорил он.

– Ее натура слишком впечатлительна, и в этом все несчастье, причина ее болезни нравственная. Она любит. Только свадьба с любимым человеком может спасти ее... Я это повторяю вам как отцу, который, вероятно, не захочет смерти единственной своей дочери.

Руки князя помимо его воли начали конвульсивно сжиматься.

– Да знаете ли вы, что вы говорите? – вдруг подступил он. – Знаете ли вы, что она выдумала?.. Она, дочь князя Андрея Николаевича Проскурова, выдумала заразиться амурным сумасшествием к найденышу, к человеку без рода, без племени, за которого нельзя отдать ее.

Доктор пожал плечами и спокойно возразил:

– В таком случае вам приходится выбирать между самолюбием и жалостью к дочери, жизнь которой в ваших руках.

Князь чувствовал, что это спокойствие, с которым говорили с ним, действует на него внушительно.

Неужели в самом деле ему приходилось выбирать между жизнью и смертью дочери?

И вдруг ему ясно, отчетливо-правдиво вспомнились последние минуты жены, как она, бледная, лежала неподвижно на кровати и как он следил за чуть заметным колебанием ее гофрированной сорочки, боясь не увидеть его. И Оля, его дочь Оля, так же угаснет на его глазах?.. И начнутся те страшные муки отчаяния и горя, которые он пережил уже однажды.

И старый князь, тяжело дыша, бессильно опустился на один из стульев, вытянутых в струнку по стене приемной.

– Да разве другого исхода быть не может? – почти с мольбою в голосе спросил он.

Доктор, внимательно следивший за внутренней борьбою князя, ответил, сжав брови:

– Ни в каком случае не может!

Андрей Николаевич закрыл лицо руками, а затем вдруг, вставая, проговорил, как человек, твердо решившийся:

– Хорошо! Если ей суждено умереть – пусть, но имени своего она не опозорит... Не один князь Проскуров умирал за честь этого имени и встречал, не дрогнув, свою смерть. Если ей суждено – пусть... До сих пор наше княжеское имя носилось с достоинством, для которого жертвовали жизнью наши предки... Пусть и она пожертвует! Значит, такова судьба...

Голос Проскурова был слаб, руки его дрожали и челюсть ходила из стороны в сторону.

– И это ваше последнее слово, князь? – спросил доктор.

– Да, последнее. Оставьте меня!

– Но вы позволите еще раз мне пройти в комнату больной?

– Ах, идите, куда хотите, хоть к... – и, не договорив, князь взялся за голову и, бросившись в кабинет, с силой хлопнул за собою дверью.

Весь этот день, за исключением времени, проведенного на террасе, Ольга просидела в своей комнате, куда изредка доносился отдаленный гул великокняжеского приема. Дуняша, в отчаянной борьбе между собственным любопытством и преданностью своей барышне, то бегала вниз посмотреть на небывалых гостей, то являлась к Ольге с рассказами. Княжне временами казалось, что где-то, когда-то, она как будто видела эти кареты и все то, о чем передавала ей Дуняша; но где, как и когда – она не могла себе дать решительно ника-

кого отчета, хотя все-таки ей чудилось, что это было уже когда-то.

Однако среди своих рассказов Дуняша не забывала о самой Ольге. Она сообразила, что поднывающаяся в доме суматоха более чем удобна для свидания Артемия с княжной, и старалась добыть заветный ключ, под которым сидел молодой человек.

Но все слуги, и дворецкий, и буфетчик Сергей сбились с ног и забыли об Артемии. Только когда гости уехали, вспомнили, что с утра никто не был у заключенного, хотя Дуняша и напоминала о нем, но ее не слушали.

Наконец она, пугнув буфетчика Сергея вечною своею немилостью, добилась того, что он спросил ключ у дворецкого и понес Артемию обед.

Дуняша прибежала сказать Ольге, что теперь, когда старый князь заперся в кабинете, а дворецкому, итальянцу и остальным старшим в доме придется, по всей вероятности, возиться с прислугой, чтобы она окончательно не перепилась остатками вина от завтрака, есть возможность выпустить Артемия и повидаться с ним.

– Но как же?.. Он тогда войдет сюда, ко мне? – спросила Ольга.

В этот момент раздался стук в дверь. Ольга вопросительно посмотрела на Дуняшу. Та поджала губы и на цыпочках, хотя этого вовсе и не требовалось, подошла к двери, растворила ее и отскочила в сторону.

«Об этом-то я и позабыла совсем!» – чуть не вслух проговорила она.

В дверях Ольга увидела доктора, с которым познакомилась сегодня утром на террасе.

– Я, с дозволения вашего батюшки, – начал он, входя, – пришел навестить вас в последний раз, потому что сегодня же должен ехать дальше.

Ольга улыбнулась ему, уже как знакомому.

– Благодарю вас, но я так слаба, что мне трудно говорить долго.

Она боялась, что ее задержат и она упустит удобное время.

Дуняша скользнула из комнаты.

Ольга думала, что доктор или не слышал ее слов, или не обратил на них внимания, потому что он, спросив позволения сесть, преспокойно завел с нею разговор о том, выезжала ли она из деревни когда-нибудь или нет, и каково ей живется здесь. Она отвечала ему. Потом мысли ее начали путаться, потом веки закрылись сами собою... потом... она уже опять не помнила, что было потом.

XXI. Граф

Цель, для которой явился в Проскурово под именем доктора Шенинга приехавший из Парижа граф Сен-Жермен, была вполне им достигнута. Он виделся с дочерью принцессы Ангальт-Цербстской – великою княгиней, передал ей письмо от матери, говорил с нею. Это было все, что ему нужно.

Но, попав в усадьбу князя Андрея Николаевича, он наткнулся здесь на совершенно постороннюю ему драму любви молодой княжны, которая не могла не вызвать в нем чувство живейшего сострадания. И он сделал все, что мог, для этой девушки.

Зная по опыту, что такие исключительные натуры, как княжна, приведенные в состояние искусственного сомнамбулизма, никогда не ошибаются относительно своей болезни и средств, которые могут излечить их, – он не мог сомневаться, что княжна действительно не переживет насилия над своим чувством. Он говорил с ее отцом, предупреждал его, но встретил в старом князе или разительный пример болезненного самолюбия, или же, несмотря ни на что, недоверие к своим словам. Однако нельзя было оставлять несчастную девушку беспомощною. Но что же оставалось делать?

Граф явился к ней в комнату и, оставшись с нею наедине, возобновил утренний сеанс, так легко давшийся ему. На

этот раз Ольга впала в забытие еще скорее, чем утром. Когда он заставил ее говорить, она уже предчувствовала его намерение.

– Нет, нет, – слабо проговорила она, – не надо этого...

Граф был серьезен и сосредоточен – ответственность которую он брал на себя в эту минуту, была громадна.

– Когда вы будете разбужены, – проговорил он своим особенным, внятным и раздельным голосом, – вы должны забыть свое чувство.

Ольга тяжело вздохнула.

– Слышите ли?

Казалось, вся сила его воли была в этом «слышите ли».

Тут звучали и приказание, и просьба, и повеление.

В лице княжны ясно отражалась происходившая в ней борьба.

– Это – единственный выход, – продолжал Сен-Жермен. –

Ведь вы знаете, это – единственный выход.

Губы Ольги задвигались и задрожали.

– Лучше... лучше... – прошептала она.

Граф понял, что она хотела сказать «лучше смерть».

Дальше продолжать ее мучения, казалось, жестоко. Сен-Жермен нагнулся над девушкой и дунул ей в лицо. Теперь она была вне опасности: она не любила, не смела любить больше. Другого исхода, кроме этого, нельзя было найти.

Из комнаты Ольги граф прошел прямо к себе, долго не мог дозваться дворецкого и, когда тот наконец пришел к

нему, попросил передать князю свою благодарность за гостеприимство, щедро наградил слуг, а затем, взяв свою трость и шляпу, направился через сад, как пришел.

За садом, через небольшое поле, начинался лесок, на противоположной опушке которого должна была ждать графа его карета. Сен-Жермен прошел сад, пересек поле и вышел в лесок, прохладный от вечерней свежести, спускавшейся уже на землю. Он оглянулся, чтобы последний раз посмотреть, на красивую усадьбу князя Проскурова, и вдруг остановился: внутренний голос словно шепнул ему, что он не исполнил всего до конца в Проскурове, что ему оставалось еще что-то.

Прямо на него не то бежал, не то шел молодой человек, без шапки, без трости; вид его был растерян и шаги не тверды, но нервно быстры. Он словно или догонял кого-то, или сам хотел уйти от погони.

Сначала Сен-Жермен думал, что это – посланный за ним почему-нибудь, но сейчас же увидел свою ошибку. Молодой человек быстро приближался к нему; его лицо было искажено внутренним страданием, глаза, широко открытые, как будто не видали того, что было пред ними. По платью и, главное, по манерам он не был похож на простолюдина, но среди господ граф тоже не видел его у князя.

Однако он слышал о «найденныше», о том, кого любила Ольга, и догадался, кто этот молодой человек.

Артемий действительно шел прямо на него и почти столкнулся с ним. Граф схватил его за руку. Артемий вздрогнул и,

увидев пред собой чужого, незнакомого человека, взглянул на него, будто спрашивая, враг он ему или друг. Он готов был обрадоваться, если встретился с врагом.

– Что с вами? – спросил Сен-Жермен, и в голосе его прозвучало участие.

Артемий понял, что ему не хотят зла, и дернул руку.

– Пустите меня... пустите... что вам за дело?

– Что с вами, что вы делаете? – переспросил граф.

Артемий стиснул зубы и, напрасно стараясь освободиться от крепких тисков, в которых была его рука, сам не зная того, что говорит, ответил:

– Гуляю.

– Так не гуляют, – сказал граф, улыбнувшись. – Посмотрите, на что вы похожи. Зачем этот ножик у вас в руке?..

Артемий как бы удивленно поглядел на свою руку, судорожно сжимавшую небольшой складной ножик.

– Что вы затеяли? – продолжал граф. – Вы сумасшедший: ведь не попадись я вам на дороге, вы готовы были покончить с собою.

Артемий злобно дернулся.

– Ну, и пусть! Вам-то какое дело? Ведь себя, не вас.

– Если бы вы знали то, что вы говорите! – возразил Сен-Жермен, покачав головою. – Милый мой, самоубийство – все не то великое таинство, которое мы называем смертью. Знаете ли вы, что человек, насильно превративший свое тело в труп, не кончит с земною жизнью. Смерть нельзя заставить

прийти по собственному желанию. Большого я не могу вам сказать, но верьте мне, верьте!..

Не столько эти слова, странные по своему таинственному смыслу, но убеждение, с которым они были сказаны, подействовали на Артемия. Он не то, что опомнился, нет, скорее был ошеломлен еще более, но его растерянные мысли направились в другую сторону, и он оказался застигнутым врасплох. На его бледном лбе выступили крупные капли пота, в глазах потемнело, и ножик выпал из рук.

– Смерть, – продолжал между тем Сен-Жермен, – есть освобождение, которого мудрый, конечно, желает скорее для своего духа. Но нужно заслужить это освобождение, нужно перенести назначенное испытание земное – тогда она придет вовремя, лучезарная и светлая, и не испугает своим ужасом.

Отчетливо, ясно, слово за словом, Артемий не понимал того, что говорили ему, но общее впечатление этой звучащей сознанием правды речи невольно оставалось в нем. На мгновение он как бы одумался и удивленно глянул в лицо графу, прямо в упор, но потом рванулся опять и еще с большей силой крикнул:

– Да пустите меня! Что вам от меня нужно, кто вам дал право, кто вы? Почему вы знаете, что будет со мною? А если и будет что-нибудь, то, как бы оно страшно ни было, все-таки лучше, чем здесь...

Между ними завязалась борьба, в продолжение которой Артемий, со стиснутыми зубами, с налившимися кровью

глазами и красным от вздутых жил лицом, напрасно силился освободить свои руки. Граф успел взять его и за другую руку. Артемию казалось, что этот человек обладает сверхъестественною, железною силой. Он надрывался из последнего, он бился, как только мог, но его держали, словно шутя, без малейшего напряжения, и несмотря на это не было возможности ему вырваться.

Граф твердо и неумолимо держал его, не поддаваясь, зная, что физическое утомление служит самым лучшим средством для того, чтобы утихло нравственное страдание, и ждал, пока бившийся в его руках Артемий выбьется из сил.

– Пустите! – снова заговорил Артемий, чувствуя, что ослабевает, и в голосе его вместо угрозы зазвучала просьба, – пустите, ради бога! Если вы когда-нибудь любили, если вы чувствовали хоть раз в жизни сострадание, пустите меня! Я никому не хочу зла... пустите!

Он едва уже мог двигаться – эта неравная борьба отняла у него последние силы.

– Я пущу вас, если вы терпеливо захотите выслушать меня, – услышал он в ответ. – Потом... потом вы будете свободны делать, что вам угодно.

Ноги Артемия уже подкашивались, благодаря усталости и пренесенному им душевному потрясению. Он тяжело дышал и вдруг, подчиняясь, как послушный ребенок, позволил провести себя несколько шагов и усадить на попавшийся большой камень, обросший мохом.

Граф сел рядом с ним.

– Дух возмущения, – начал он, – дух злобы и беспорядка силен. Но на то человеку и дана воля, чтобы он мог руководить собою. Жизнь не может состоять из одного лишь приятного хотя бы уже потому, что, не будь ничего ему противоположного, нельзя бы было различить и эту приятность. Уничтожьте долины – и не будет гор. И до тех пор свет будет способен производить впечатление на глаз, пока будет существовать соответствующая ему тень. У вас есть горе – победите его, но не будьте настолько малодушны, чтобы дать ему победить себя. Человеку, собственно, все дано для счастья, но он должен заслужить его, должен завоевать. Мы несчастны тогда лишь, когда сами создаем себе наше несчастье. Всякое же горе, незаслуженное, как испытание, поразившее нас, это – кредит судьбы, в силу которого она щедро заплатит впоследствии счастьем. Но нужно заслужить его. Мы ничего не получим, если не сделаем к тому усилия. Испытание – вот великое слово жизни! Жизнь – это змея, вечно чреватая и вечно сама себя пожирающая...

Артемий слушал, опустив голову, крепко сжав усталые руки между колен и, почти не моргая, уставившись вниз.

– Да, – проговорил он, – но когда все против вас, когда все противодействует вам...

Тихая улыбка промелькнула на губах графа.

– Только и можно, – ответил он, – опереться тогда, когда вы встречаете противодействие, и, чем оно сильнее, тем

тверже должны вы стать.

Артемий вдруг поднял голову и не только с удивлением, но и с чувством, близко подходящим к восхищению, посмотрел на этого человека, с которым так же трудно было бороться на словах, как победить его в борьбе физической.

– Послушайте! – заговорил он. – Я не знаю, кто вы и откуда, но, может быть, потому, что я не знал вас до сих пор и, вероятно, никогда не увижу, мне и легче сказать вам все. Послушайте: я любил девушку... в ней для меня была вся жизнь, все счастье... Я с детства не имел существа, мне близкого. У каждого человека есть отец, мать, родные, – у меня не было никого; тот, кто якобы заменял мне отца, на самом деле занимался мной, как игрушкой; его отношения ко мне были прихотью, да, только прихотью. Я рано понял это. Я рано понял, что у меня нет самого необходимого для ребенка – любви ко мне. И вот после долгих лет одиночества я ощутил наконец свет и теплоту этого незнакомого мне чувства. До тех пор меня некому было и мне было некого – любить... И этот свет дала мне моя жизнь, моя радость, та, о которой я не смел думать. Ей стало жаль меня...

Артемий говорил, сам не зная, откуда у него берутся слова. И ему было легко, и ему хотелось теперь говорить.

Он подробно рассказал всю историю своей любви к Ольге, их случайные, потом условленные встречи, их объяснение, счастье, планы и мечты, и потом как эти планы рушились, как ему жестко и сурово напомнили, что он – ничто, оскор-

били, заперли, и как наконец сегодня он вырвался из своей тюрьмы, чтобы увидиться с княжною.

– Когда я сидел взаперти, – продолжал Артемий, – мне несколько раз приходило в голову кончить все, кончить с собою. Но я отгонял эту мысль. Я вспоминал про Ольгу, и ее чувство удерживало меня. Я был любим и любил ее, и надежда не оставляла меня... Я должен был жить для нее. Сегодня мы увиделись в первый раз после разразившейся над нами грозы. И сегодня я уже не нашел в ней и тени прежнего ее чувства. Что произошло, что с нею сделали – не знаю, но только прежнего для нее не существует теперь, она делает вид, что не помнит ничего, как будто я был для нее всегда чужим человеком.

– А-а! – произнес Сен-Жермен. – Вы недавно, вы сейчас только что виделись с нею?

– Да, и думал, что, выбежав от нее, я уйду от жизни, в которой мне ничего больше не остается. Но вы меня удержали... – Артемий схватился за голову. Опять в нем поднялось, закипело, разрослось и охватило его всего с новым, неожиданным приливом отчаяния, когда он, рассказывая, вспомнил то, что только что происходило в комнате Ольги. – Зачем вы удержали меня? – вскочив, почти крикнул он. – Зачем? Все равно мне не жить, я не могу жить теперь...

Граф знал, что косвенной, невольной, именно роковой причиной отчаяния этого человека был он сам, но он не мог иначе поступить с Ольгой и вместе с тем не должен был оста-

вить погибнуть того, любить которого он запретил ей.

– Нет, вы будете жить! – сказал он Артемию и снова насильно посадил его рядом с собою.

XXII. История графа

Если больному человеку рассказать о том, как испытывали такую же, как у него, боль другие люди, то ему, по свойственной нашей природе слабости, не то что станет легче, но во всяком случае, эта боль покажется ему менее острою.

Граф Сен-Жермен, обладавший, кажется, ключом не только всех слабостей, но и силы человеческой, знал, каким образом следует говорить с людьми, находящимися в положении, подобном положению Артемия.

– Вы думаете, – обратился он к нему, – что ваше горе таково, что и нет ему равного и что нет ему другого исхода, кроме того, что вы придумали в своем сумасшествии... Да, в сумасшествии, потому что вы опьянены теперь страстью и, может быть, погибли бы, не случись того препятствия, которое вы считаете для себя безысходным горем. Вот что было со мною: я тоже сумасствовал или почти сумасствовал и был, может быть, накануне гибели... И я любил так же, как вы...

Артемий успел немного приглядеться к своему собеседнику, который уже казался ему выходящим из ряда обыкновенных людей. Это был человек, точно лишенный страстей, лишенный житейских желаний, человек, в устах которого признание в испытанной им когда-то любви было тем более странно, что оно совершенно не подходило к нему.

«Да, я должен сделать это признание, – подумал Сен-Жермен, – я все-таки – должник теперь этого человека».

– Я думаю, моя любовь, вернее, то, что мы называем этим именем, – продолжал он, – была не менее сильна, чем ваша, и свидания, и улыбки казались не менее прекрасны... Я пользовался полной взаимностью... Она была вдова, следовательно, совершенно свободна. Казалось, не было никакого препятствия, ему неоткуда было явиться. В один вечер все изменилось. Обманом ее опоили, и человек, опоивший ее, опозорил. Между нами лег ее позор, наше чувство было осквернено. Любимая мною женщина не могла относиться ко мне по-прежнему, и в отчаянии хотела наложить на себя руки. Мне удалось спасти ее, но любовь нашу нельзя было очистить: это она не могла простить себе и, несмотря ни на что, уехала на свою далекую родину.

– Но вы могли найти все-таки своего оскорбителя, – сказал Артемий.

– Я и нашел его, я знал его. Это был несчастный молодой человек, сын богатых, но разорившихся родителей, молодой человек, стоявший на дороге к гибели.

– Вы могли отомстить, значит!

Граф опустил голову и задумался.

– Мечь, мечь! – проговорил он наконец после долгого молчания. – Мечь есть удовольствие, которое мы доставляем себе, сделав зло человеку, причинившему нам злое. Но есть удовольствие большее: направить на добро злого и по-

терянного человека.

Уже не удивление, но какой-то страх охватил Артемия.

– Неужели вы могли простить, неужели вы, имея возможность отомстить, простили?

– Я не простил, – спокойно ответил граф, – но предпочел большее удовольствие меньшему. Отомстить я имел возможность, может быть, более и сильнее, чем кто-нибудь, но я был в силах заставить злого человека вернуться на путь истинный и постарался сделать это.

– И что же, вернулся он, стал лучше?

– Я думаю, что да. Впрочем, вы об этом можете знать лучше меня.

Артемий раскрыл большие глаза.

– Мне? – переспросил он.

– Да, вы знаете этого человека, он вам известен. Это – Джузеппе Торичиоли.

– Торичиоли? Этот скромный и тихий итальянец, наш итальянец, который живет теперь у князя?

– Да, ваш итальянец, который живет теперь у князя.

– Но разве он был способен на такой поступок?

– Как видите, был способен. Впрочем, тогда, в Генуе, он был на девятнадцать лет моложе и чувствовал себя совсем иначе. Тогда он жил, не трудясь, проживая последние крохи своего наследства.

– Торичиоли, Торичиоли! – качая головой, проговорил Артемий. – Кто бы мог ожидать этого! Сколько лет я знаю

его: и могу вас уверить, что ничего не замечал за ним дурного.

– Ну, вот видите, значит, я был прав. Он мог начать новую жизнь, выйдя из той обстановки, в которой оказался. Я поставил ему условием удаление из Италии.

– Да, да, он стал другим человеком, – подтвердил Артемий.

– Может быть, не совсем еще, – улыбнулся граф, – но теперь, наверное, уже станет.

– Да, да, – растерянно повторил Артемий: мысли его окончательно путались и с поразительной быстротой менялись одна за другою.

Граф, встав со своего места, произнес:

– То, что я вам сказал, не должно быть известно никому. Когда почувствуете особенно сильный прилив своего горя, вспомните о моем рассказе. Ваше несчастье еще очень поправимо. Она жива, она не принадлежит никому и может снова полюбить вас. Терпите – будущее вознаградит вас.

И он простился с Артемием, который, пораженный, продолжал сидеть неподвижно на своем камне.

Часть вторая

I. Семилетняя война

Зиму 1758 года прусский король провел в новых напряженных и деятельных приготовлениях к продолжению войны, которая для него была почти вопросом жизни или смерти.

Правда, его главнейший враг – Австрия – был уже истощен неудачами прежних двух лет, и императрица Мария – Терезия тайно желала мира. Но Франция, боясь остаться один на один против Англии и Пруссии, снова разожгла самолюбие честолюбивой монархии.

В России господствовали два противоположных течения: наследник престола явно выказывал свои симпатии к Фридриху II, императрица же Елизавета Петровна питала к последнему неизмеримую ненависть.

Ухудшившееся одно время здоровье государыни поправилось, и военные действия России были возобновлены.

Таким образом, к весне 1758 года против Фридриха готовы были двинуться с трех разных сторон три союзные армии, своею численностью далеко превышавшие его собственную. Но несмотря на это все-таки на стороне прусского короля было много преимуществ: австрийские корпуса, набранные

из молодых солдат различных национальностей, не имели единства в своих нижних чинах, что же касается высших, то там этого единства было еще меньше, благодаря вечным интригам отдельных начальников и военного совета. Разладица была полная.

О французской армии граф Клермон, назначенный ее главнокомандующим, явившись на место своего назначения, писал Людовику XV:

«Я нашел войска Вашего Величества разделенными на три весьма различные части: первая находится на земле и состоит из воров и разбойников, покрытых рубищем, вторая – зарыта в землю и, наконец, третья – лежит в госпиталях. Ожидаю повеления, не отвести ли мне первую часть за Рейн, прежде нежели она присоединится к двум последним частям?»»

Русская армия, страдавшая от отсутствия провианта, одежды и обуви, была вверена начальству генерала Фермора, полководца неталантливого и не очень осмотрительно-го. Самый же существенный недостаток у нас ощущался в офицерах, о присылке которых в действующую армию то и дело просили главнокомандующие. Однако, несмотря на лишения и трудности, облегчить которые генерал Фермор оказался не в силах, наша армия пошла снова занимать Восточную Пруссию, чтобы обратить ее, согласно данному ей предписанию, в русскую провинцию. Генерал Фермор еще в январе 1758 года вступил в Кенигсберг, и прусские правитель-

ственные места этого города присягнули на верноподданство России. Кампания началась, и русские со свойственными им терпением, настойчивостью и твердостью шли вперед. Пруссия осталась за нами. Граф Дона был оттеснен за Одер. В августе сам Фридрих двинул свои полки против русских, оказавшихся противниками, более серьезными, чем он предполагал.

* * *

Говорят, что человек, решившийся однажды на самоубийство, в случае неудачи никогда к нему не возвращается. Исключения, разумеется, бывают, но на этот раз Артемий не составил такого исключения.

Загадочные слова незнакомого человека, попавшегося ему на дороге, когда он хотел сделать свой последний шаг в жизни, заставили его задуматься. Кроме того, его посылали на войну, почти на верную смерть, и оставалось только идти ей навстречу. Артемий пошел. Пред отъездом своим он не пытался более увидеться с Ольгой.

Старому князю нетрудно было устроить записку в полк бывшего своего воспитанника, и Артемий, под фамилией Проскуровского, был записан в армейский Тарасовский пехотный полк.

Сам Андрей Николаевич отправлял его и, призвав к себе на прощанье, постарался казаться ласковым.

– Вот, на, возьми, бог с тобой, – сказал он Артемию, сунув ему в руку набитый кошелек, – пригодится.

В кошельке оказалось двести рублей.

Но все это – прощание с князем, его кошелек, отъезд из Проскурова – прошло для Артемия, как в тумане, как во сне. Очнулся он лишь, когда очутился в совершенно новой, непривычной ему обстановке военной жизни.

Он сразу попал в самую кипень походной, тревожной деятельности, и эта деятельность волей-неволей всецело поглотила его.

Роту вел капрал, старый человек, обстрелянный и опытный, выдавший еще при Ставучанах турецкие пули. Офицер, ротный командир, в начале кампании получил повышение, и заменить его, кроме капрала, было некому.

С появлением в роте Артемий сразу был замечен.

Образованный, смелый, исполнительный, он, разумеется, выделился среди остальных солдат очень скоро. Сначала он был тих и молчалив, не сходиллся ни с кем, но потом мало-помалу втянулся в походную жизнь и по-походному, в буквальном смысле слова, получил повышение. На одном из переходов сержант их роты заболел и слег. Артемий стал на его место. Сержант не возвратился, и должность осталась за Артемием.

Никто в роте не знал его прошлого, никому он не рассказывал своих горестей, но все видели, что их молодой товарищ перенес в жизни многое и что, как ни скрывает он это-

го, – трудно ему тянуть солдатскую лямку и не к такой обстановке привык он.

И солдаты, и капрал жалели его и любили. Часто у Артемия навертывались слезы от их простой и чисто сердечной, заботливой ласки. Но чем ласковее обходились с ним, тем строже относился он к себе и к своим обязанностям.

Под Кюстрином Тарасовский полк стоял в задней линии, далеко от города. Русские на пути к Берлину обложили Кюстрин и вели его осаду беспощадным бомбардированием. Осажденные вылазок почти не делали, и на передней позиции у нас были расположены только войска, необходимые для прикрытия артиллерии. Тарасовцы не попали в прикрытие.

Была середина августа, начиналась осень, и дожди выпадали чаще. Палатка, в которой жил Артемий, то и дело промокала насквозь, но он не обращал на это внимания. Сколько раз капрал советовал ему приказать солдатам устроить себе землянку (сам капрал жил в землянке), но Артемий отвечал, что ему ничего не нужно.

На седьмой день сидения у Кюстрина Артемий лежал на своей сколоченной из двух досок койке в палатке, полотно которой промокло до того, что нельзя было притронуться к нему. Артемий по опыту знал, что если задеть его, то так и польется в том месте, где задел, целая струя воды, а потому лежал, стараясь не ворочаться и не двигаться. Целую неделю они ничего не делали, только жили в мокрых палатках. Для

солдат эта неделя была отдыхом, но для Артемия она казалась гораздо тяжелее похода.

Внутренность палатки мало-помалу темнела. Спускался вечер. Дождь перестал капать. С правой стороны палатки слышались знакомые голоса солдат, соседей Артемия. Он давно изучил их. Один бравый, молодой, краснолицый солдат Федор, никогда и нигде не унывавший, предлагал разложить костер. Остальные не соглашались. Так было каждый вечер. Собственно, никто не хотел идти за хворостом, хотя Федор и не просил никого этого делать, но протестующие против костра все-таки боялись, что он может попросить идти. Дело кончалось обыкновенно тем, что Федор шел сам за хворостом и костер все-таки зажигали. Так случилось и на этот раз... Федор уходил, потом вернулся, потом слышалась под его шутки возня солдат над сваленным хворостом; высекали огонь, и пламя затрещало, осветив одну сторону палатки сначала колеблющимся, неуверенным, но быстро покрасневшим, как зарево пожара, светом.

– Вот важно! – слышался веселый голос Федора, как будто все его счастье зависело от того, что загорится костер или нет, и он был теперь вполне счастлив, потому что костер загорелся.

Артемий грустно улыбнулся. Чего бы он ни дал теперь, чтобы быть таким же вот, как Федор, и радоваться вместе с ним!

За что, в самом деле, из него сделали с детства полубари-

на, развили, научили понимать и чувствовать? Для чего? Для того, чтобы он мог больше ощутить страдание своего горя и тех лишений, которые приходилось переносить ему?

Один... он был один на свете, то есть снова один, и это казалось еще ужаснее, потому что судьба, как назло, чтобы дразнить его, дала отвесть ему счастья, с тем чтобы потом резко и грубо отнять даже всякую надежду на это счастье.

Сколько раз в перестрелках с неприятелем Артемий ждал и искал, чтобы одна из жужжавших вокруг него пуль задела его и покончила с ним; но ему даже и тут не везло. Бывало, он нарочно высовывался, нарочно лез вперед, в самую горячую схватку, но ни разу неприятельский штык не тронул его, ни одна пуля не задела.

Солдаты считали это отчаяние храбростью, и ему было стыдно, когда он видел на их лицах граничащее с восхищением одобрение к нему. Если бы они знали, что он чувствовал тогда! Если бы кто-нибудь мог знать, что он чувствовал теперь, лежа в своей палатке и почти бессмысленно следя за мерцанием красного пламени костра!

– Ну, сударик, а я к тебе с новостью! – слышался голос капрала, который, наклоняясь, входил в палатку.

С этим ласкательным прозвищем «сударик», произносимым с оттенком какой-то жалостливой нежности, все в роте обращались к Артемию.

Капрал вошел, и сейчас же случилось то, чего боялся Артемий: капрал задел голову за полотно и оно протекло.

– Эк! Ведь говорил я тебе, пусть ребята землянку выкопают, так нет же.

Это опять случилось каждый вечер. Капрал входил, задевал полотно и начинал говорить про землянку. Но сегодня новость, с которой он пришел, видимо, была действительно новостью важною, потому что он, не договорив, присел к Артемию и начал медленно набивать свою трубку.

– Что? Или отступаем? – спросил Артемий.

– Это новость старая: отступить мы должны, потому что король Фридрих на нас двинулся, – ответил старик с такою важностью, словно не генерал Фермор, а он сам командовал русскими войсками.

– Ну, так что ж еще?

– А то, что поздравляю вас, сударик, с новым ротным командиром... вот что! – и капрал, раскурив трубку, зажал ее зубами и отвернулся.

Артемий приподнялся со своего места.

– Как же это так, как ротный командир?

Откуда? Он до того уже успел сжиться с маленьким миром своей роты, такою, какою она была, со старым капралом, которого все, как его «судариком», звали «дядей», до того этот мир стал для него своим, близким, нераздельным, что всякое новшество казалось невозможным в нем. И первое чувство, охватившее Артемию при известии, сообщенном ему, было чувство горькой обиды за себя и за всю роту. То же самое, видимо, чувствовал и капрал, то же почувствуют завтра и

солдаты, когда узнают, что у них теперь новый, помимо «дя-ди», начальник.

– С чего же это назначили вдруг? – снова спросил Артемий и хотел добавить: «Разве вы недовольны ротой?» – но не добавил.

– Приехал из Петербурга, из гвардии молодчик, – проговорил капрал, – нужно же куда-нибудь, ну, вот и назначили. Только не долговечен он. Я так думаю, что до первого настоящего дела...

– Отчего же так?

– Да уж по всем приметам: штука парадная, нашей жизни не выдержит. А может, и уходится, – заключил капрал, махнул рукою и замолчал.

– Вы как же его узнали? Видели, что ли?

– Писарь прибежал, сказывал давеча, что офицер к нам объявился новый, а потом самого меня на ферму позвали.

В каменном доме брошенной немцами – хозяевами фермы и ее службах помещался полковой командир с офицерами.

– Что же, говорили с ним? – спросил Артемий.

– Говорил. Велел завтра чем свет на ученье роту собрать... маршировать, должно, учить будет... Прошел бы с наше – тогда бы и учил... Шутка сказать, ученье!

– А как зовут его?

– Кого, офицера-то? Фамилия немецкая... в прошлом вот году пруссак победу одержал...

– При Лейтене, – стал вспоминать Артемий. – Росбах...

– Росбах, не Росбах, а как-то похоже...

– Уж не Эйзенбах ли? – переспросил Артемий.

– Эйзенбах и есть... Он самый... А ты что же, сударик, знаешь его, что ли, что так удивился?

Артемий долго оставался, молча и неподвижно опершись на руку, в неловкой и случайной позе, как привстал. Известие оказывалось еще более странным и неожиданным.

– Одного Эйзенбаха я знаю, – проговорил он наконец. – Черный он, глаза черные!

– Черные... верно, он и есть... Ну, дела! Что ж твой-то, которого ты знаешь, хорош он?

Артемий не ответил. Он не слышал вопроса.

Еще когда только капрал сказал, что к ним назначен новый ротный командир, ему словно что-то кольнуло в сердце и где-то глубоко мелькнуло предчувствие, не Карл ли это.

Теперь Артемий не сомневался.

– Ну, дела! – повторил капрал, видя, что странное происходит с его «судариком». – Что же, али у вас раньше с ним какие неприятности были?

Но Артемий вдруг приподнялся и быстро заговорил:

– Вот что, дядя: нужно людям сказать, что завтра смотр, нужно, чтобы приготовились... вы бы распоряжения сделали.

Старик понял, что лучше оставить Артемия одного.

– Да чего смотреть-то? Смотреть ведь нечего. Близок свет

исходили, а тут, на вот, на парад выходили. Курам на смех! – сказал он, поднимаясь. – Ну, до свиданья, сударик! – и он не торопясь вышел из палатки.

Артемий тихо опустился на свое сырое и жесткое изголовье. Костер пылал по-прежнему, и красный свет его с пробежавшими тенями дыма дрожал на просвечивающем полотне. Солдаты, слышавшие, должно быть, разговор в палатке начальства, притихли и шептались. Мало-помалу шепот их стал затихать – они улеглись.

Вероятно, долго лежал так Артемий, но сознание времени исчезло для него, потому что он думал все об одном и том же, и все та же мысль возвращалась к нему: Эйзенбах, тот самый? Карл Эйзенбах, который приехал, перевернул и нарушил тихое счастье Артемия, снова должен был столкнуться с ним и стать теперь его начальником! Что он был врагом Артемия, это казалось несомненно. И Артемию вспомнились слова, сказанные в лесу в тот день, когда он чуть не кончил с собою: «Мсть есть удовольствие; но существует другое, высшее удовольствие – постараться сделать из злого человека доброго». И вспомнился ему ясно, во всех мельчайших подробностях, этот день, жаркий, летний, и трава, на которую уронил он свой ножик, и камень, на котором они сидели. И так это было далеко-далеко... и как теперь все другое... и сырость кругом, и мокреть...

– Федор, а Федор! – послышался за палаткой голос одного из замолкших солдат.

Федор зашевелился.

– А? – спросил он сонным голосом.

– А ведь Фридрих-то по-русски Федор будет, сказывали, и выходит, братец, что, как настоящего в полон заберем, так тебе первое место... потому ты – тоже Фридрих.

Федор обиделся.

– Толкуй тоже! Мало ли, что говорят... – и, громко зевнув, он задвигался и снова затих.

«Да, – думал Артемий, – из злого сделать доброго... Но ведь он – только враг мне, и неизвестно еще, злой ли он человек... Что ж, он полюбил ее, – а ее нельзя не полюбить, – вот и все... это так понятно... И как это странно: где любовь, там и злоба... Как это все вместе идет... сплетается...»

И ему хотелось, чтобы Карл непременно оказался злым по отношению к нему, чтобы он, Артемий, мог постараться сделать из него доброго человека. И тут же он внутренне смеялся над собою, сознавая себя ничтожным подчиненным, лишенным всякой возможности сделать что-нибудь человеку, в руках которого он всецело находился.

Но молодое воображение Артемия все-таки играло, и он, волнуясь, долго не мог заснуть, ожидая завтрашнего утра, когда произойдет его встреча с Карлом.

II. Ротный командир

Пусть всякий заметит и проследит на себе, как судьба сталкивает обыкновенно человека, при самых различных обстоятельствах жизни, все с теми же самыми людьми, словно ему заранее отмежеван известный круг общества, в котором он должен вращаться. И в этих встречах нет ничего странного: напротив, они неизбежны.

Так должно быть со всеми, так было с Артемием и с Карлом.

Карл фон Эйзенбах, вернувшись из Проскурова с полной неудачей в вопросе сватовства, поразил своим неожиданным приездом отца, совсем уже готового лично отправиться в путь, в имение князя. Старик Эйзенбах был так удивлен, вдруг увидев сына, что в первую минуту не поверил своим глазам. Когда же он узнал причину возвращения Карла, узнал, что на его свадьбу с княжной надеяться нечего, он пришел в отчаяние настолько, насколько может, однако, прийти в отчаяние столь солидный человек, каким был старый барон фон Эйзенбах.

– Ты знаешь, милый Карл, – сказал он наконец сыну после долгого обсуждения, – нет такого случая, из которого нельзя было бы выйти. И я нашел выход.

Карл всегда верил мудрости отца и потому сейчас же выказал полную готовность повиноваться.

Старый барон объяснил свой план, который заключался в том, что Карл должен ехать в действующую армию, где можно, казалось, легко выделиться, потому что офицеров было мало. К тому же Карл из гвардии сразу мог быть назначен ротным командиром.

Раз решение было принято, приведение его в исполнение не откладывалось. Барон принялся хлопотать. Хлопоты оказались нетрудными. Однако Карл не особенно торопился ехать. Положение молодого, цветущего и видного (Карл стал снова в глазах окружающих молодым, цветущим и видным) офицера, отправляющегося на войну, нравилось ему. Постигшая его неудача сразу же забылась, когда стало известно, что он едет в действующую армию. Наконец он уехал.

Только под Кюстрином нагнал он русскую армию. Его назначили в Тарасовский полк. И вот, явившись на место новой своей деятельности, он намеревался ретиво приняться за нее. Он уже заранее обещал себе, что там покажет им, как это все нужно сделать.

Его интересовала рота, и он приказал капралу на другой день собрать роту, чтобы посмотреть ее и познакомиться с нею.

Приказание было исполнено. Люди надели мундиры, вычистили амуницию и в то время, когда остальные роты собирались к котлам, откуда уже несли пар разваренной каши, выстроились в ряды, в ожидании нового ротного командира.

Ровно в назначенный час появился Карл фон Эйзенбах,

блестя своею новою, почти с иголки, формою, эполетами и ботфортами. Он сразу хотел завести строжайшую дисциплину и потому нарочно назначил такой час для смотра, в который солдаты обыкновенно ели.

«Дядя» скомандовал «смирно». Карл подошел к фронту, поздоровался и оглядел людей. Разумеется, они все стояли совершенно не так, как следует: ни стойки, ни даже порядочного равнения.

«Этот старый капрал распустил роту – сержант ничего не делает!» – решил Карл и взглянул на сержанта.

Артемий стоял, вытянувшись и прямо глядя пред собою. Он узнал Карла еще издали, видел, как тот обвел их всех взглядом, как взглянул на него, и видел тот миг, когда Карл узнал его.

Карл действительно сейчас же узнал Артемия, лицо которого врезалось в его памяти. Как ни поразительна, как ни неожиданна была эта встреча, но чувство весьма понятного удивления в Карле быстро уступило место другому, и это другое чувство было не совсем, но почти радостью или, вернее, каким-то радостным удовлетворением. Из-за этой одной минуты их неожиданной встречи стоило приехать в действующую армию.

Еще вчера, когда Карл узнал, что сержанта его роты зовут по фамилии Проскуровский, его поразило это, но он подумал, что тут простое совпадение. Но теперь он видел пред собою живого Артемия – таким, каков тот был и каким он

видел его тогда, в саду, среди благоухающих роз, счастливо-го свиданием с Ольгой, когда эти же розы беспощадно кололи своими острыми шипами судорожно сжимавшие их руки его, Карла, когда соловей пел и дразнил его, и разрывал ему сердце на части. И это воспоминание со всею болью еще живого оскорбления охватило Эйзенбаха, и вся злоба поднялась в нем.

Глаза обоих недавних соперников встретились, и словно искра пробежала между ними.

Карл сделал большой шаг вперед, прямо на Артемия.

– Как стоишь? – крикнул он, подступая. – Голову... Плечи... Рано в сержанты попал... Молод еще, так я тебя выучу...

Говоря это, Карл чувствовал, что его так и подмывало говорить дальше.

Артемий стоял, не шелохнувшись. Поэтому, как бы для того, чтобы показать, что он знает сам, что спрашивает, потому знает службу, Эйзенбах продолжал:

– Устав известен тебе, а?.. Помнишь, что в нем про сержанта сказано?.. – и, забрав глубоко грудью воздух, он отчеканил, словно по-писаному: – «На нем лежит зело многое дело в роте; того ради нужно, чтоб он дослужен был от нижнего чина, дабы знати мог все свои надлежащие поступки».

«А сам-то ты дослужен?» – подумал Артемий.

И вдруг ему стало неудержимо смешно, потому что он подумал о том, как сегодня вечером солдат Федор, которого

«обижали» Фридрихом, будет представлять эту сцену и вертеть талией так же вот, как и барон, и говорить грубо, но похоже, подражая его голосу.

Эйзенбах видел в лице Артемия насмешку, и, чувствуя угрюмо устремленный на себя взгляд остальных людей, тупо смотревших на него, как на человека, который хочет учить их чему-то, когда они знают уже самое главное в жизни, то есть как люди умирают, он как будто понял, что его щеголеватый мундир, а главное – не менее мундира щеголеватая горячность, не совсем-то уместны здесь. Но это было лишь минутное просветление, которое Карл счел за слабость и поспешил заглушить в себе.

Он глянул опять на Артемия, в глазах того так и светилась улыбка.

Отступившая было злоба Карла снова нахлынула, и с большею еще силою, потому что был перерыв. Сердце забилося у него, дыхание сперло, в глазах потемнело.

– Ты... – задыхаясь, сквозь зубы, проговорил он, – ты смеяться надо мной?.. – и рука его со сжатым кулаком поднялась наотмашь.

Щеки Артемия вдруг стали совсем белыми-белыми, как мел.

Рука Карла опустилась. Он опомнился, злобный порыв прошел.

Но не прошла ревность Карла к службе. Он заставил солдат маршировать и нашел, к своему ужасу, что они совсем

не умеют делать этого, а просто идут в ногу, путем опыта выработав положение для тела, самое удобное на ходу и совершенно не такое, какое требовалось при маршировке с поднятием в три приема ноги на гвардейских парадах. Тогда Эйзенбах стал учить, как следует делать маршировку в три приема.

Остальные роты пообедали, убрали уже котлы, а седьмая, которую командовал Карл, все еще ходила по счету, подымая как можно выше ногу. Люди повиновались, но их озлобленные, голодные лица со зло поджатыми губами не предвещали ничего доброго для своего начальника.

Звук ли барабана, от которого Карл успел отвыкнуть во время дороги, или доносившийся грохот ядер бомбардировки Кюстрина, или желание заглушить свою злобу, или все это вместе возбуждали Карла к усиленной деятельности, и он из кожи лез, обучая голодных солдат и воображая, что этим сразу забирает роту в руки, потому что показывает, какой он есть на самом деле строгий начальник.

Выстрелы со стороны Кюстрина становились все чаще и чаще; наши, принявшись за дело, не уставали, и эти гулкие, доносившиеся издали, выстрелы, к которым уже привыкло ухо солдат, как мельник к стуку жернова, были для Карла первыми, слышанными им, настоящими выстрелами, то есть такими, которые посылались не для того, чтобы разрушить искусственную цель, а для того, чтобы бить как можно больше людей. Но Карл не видал этих убитых людей, и потому

отдаленный грохот ядер, бой барабана и бряцание оружия солдат были для него полными поэзии звуками войны и действовали возбуждающе.

Он командовал, горячился, показывал и забыл уже о времени.

По его расчету еще много надо было «поработать» над ротой, чтобы привести ее в более или менее приличный вид, как вдруг ему пришлось скорее, чем он думал, убедиться, чем была на самом деле его рота.

С фермы прискакал адъютант с приказанием немедленно сниматься и идти. Он казался сильно взволнован, и на лице его была уже заметна та тень внушительной серьезности, которая является у военных пред началом настоящего дела. И эта серьезность сейчас же передалась окружающим.

«А? что? сражение? мы идем в сражение?» – блестя глазами и, как новичок, радуясь, думал Карл и, вероятно, спросил об этом у адъютанта, потому что тот ответил ему:

– Нет, пока еще не идем, а отступаем.

– Да, отступаем, – согласился Карл и оглянулся на капрала. – Я думаю, люди успеют пообедать еще? – несколько сконфуженно спросил он.

Капрал махнул рукою и ответил только: «Эх, ваше высокоблагородие!», – но в этом ответе было сказано многое. «Мы вас потешили, – говорил этот ответ, – голодные промалялись, все сделали по-вашему, не мешайте теперь и нам».

И, словно получив от ротного командира приказание, ка-

прал стал делать распоряжения.

В постоянной борьбе походной жизни у этих людей выработались совсем иные приемы команды, более простые и ясные, чем это требовалось уставом.

Карл, всегда гордившийся своим званием устава, которое обыкновенно ставилось в пример другим, увидел теперь вдруг пред своими глазами такое, что он никак бы не мог предполагать; солдаты его роты вдруг разбежались с криком и шумом, произошла какая-то сумятица, кажущаяся беспорядком, хотя старый капрал все время распоряжался и, должно быть, все понимал. И вдруг, как бы по-волшебству, все палатки исчезли, куда-то спрятались, и люди снова выровнялись в ряды. Со всех сторон кругом шли и двигались солдаты, и не успел Карл опомниться, как место, занятое только что лагерем, опустело, и сам он, Карл, со своей ротой шел уже в рядах выбравшегося на дорогу полка.

«Однако они ведь не ели», – подумал он снова и, поглядев на солдат, удивился их бодрому и выносливо-покойному виду, с которым они шли, забыв, разумеется, наставления размеренного, считанного шага.

III. Первое дело

Выступление застало Карла врасплох, и после первого же перехода он не мог уже разобрать, куда девались его вещи. Его денщик куда-то исчез. Карлу сказали, что он, вероятно, в обозе. Эйзенбах решил потерпеть до завтра, но на другой день их опять повели, они шли лесом, перебрались через овраги и наконец остановились. Карл узнал, что они располагаются на позиции, что король Фридрих соединился с графом Дона против них, что пруссаки, вероятно, будут атаковать и что его вещи находятся в обозе, отправленном к Клейн-Камину и расположенном там вагенбургом.

Название «Клейн-Камина» знали, но, где именно был он, указывали различно.

Карл «пока» решил обойтись как-нибудь без вещей, потому что не хотел оставлять роту без себя. Состояние этого «пока» было истинным выражением его теперешнего положения. Так же решил он не вносить пока ясность в свои отношения к Артемию, своему подчиненному.

Эйзенбах в первый раз еще чувствовал себя «накануне сражения» и не понимал, что все, кто окружал его, чувствовали себя так не только сегодня, но давно уже привыкли к этому, потому что в продолжение похода всегда находились накануне дела.

Двадцать четвертого августа нового стиля, с девяти часов

утра, послышались первые выстрелы с неприятельской стороны.

Седьмая рота Тарасовского полка, которую командовал Карл, пришла на место ночью и, когда рассвело, очутилась на небольшом возвышении. Местность вокруг была болотистой, сзади виднелся большой лес, впереди было селение, занятое неприятелем.

Карл, уверявший, что любит все делать обстоятельно, постарался узнать у адъютантов и прочих офицеров нашу позицию. Оказалось, что мы ночью переменили фронт, что наши войска расположены продолговатым четырехугольником и что такая позиция выработана практикой наших войн с Турцией. Одни говорили, что все это очень хорошо, другие, напротив, упрекали Фермора в том, что он не помешал обходному движению прусского короля, вследствие чего нам пришлось спешно менять фронт и наша позиция оказалась разрезанною двумя оврагами. Карл узнал также, что Тарасовский полк находится на правом крыле. Все это ему казалось очень важным, и он, со своей стороны, высказал адъютанту соображения относительно позиции. Он думал также, что ему придется воодушевлять или поддерживать дух своей роты, но сейчас же почувствовал, что тут и без него все пойдет ладно. Он почувствовал это, однако не желал показать и в душе удивлялся, как спокойно, с задумчивыми, серьезными и решительными лицами солдаты и их старый капрал устраивались, не заботясь об остальном, на том месте, кото-

рое было отведено им, может быть, для того, чтобы найти тут смерть.

С Артемием он не сказал ни слова, но все время, куда бы ни смотрел, видел его и следил за собою, стараясь показать, что сам он не трусит, что он так же храбр, как этот счастливый соперник его, с которым «потом» у него еще будет время свести с ним счеты. Карл сердился на себя за свою выходку и горячность под Кюстрином. Он понимал, что произвел дурное впечатление на роту. Но, если бы он знал, что они так скоро двинутся, разве поступил бы так? И он был уверен, что сегодня на деле докажет противное, доказав солдатам свою храбрость.

На линии неприятельских огней чаще и чаще вспыхивали клубы серого дыма и со странным, совсем другим, чем на ученьях и экзерцициях, гулом подымались к облакам; там вдруг высоко виднелся, точно повешенный на мгновение в небо, черный диск ядра, и потом все исчезало, и снова с раскатом, как из огромной трубки, вылетали серо-молочные клубы. Наши отвечали откуда-то с боков и снизу.

Карл, волнуясь, нетерпеливо ходил, чувствуя, что началось, и ожидая, когда же очередь дойдет до них, до него, потому что значение этих гулких дымных ударов ему не было еще совсем ясно. Там, под Кюстрином, они были совершенно понятны: мы бомбардировали город; но ведь тут города нет, тут сражение; где же враг, где неприятель, с которым ему нужно будет «схватиться»?

«Верно, еще рано», – успокаивал себя Карл, поглядывая, с каким равнодушием курил свою коротенькую трубочку капрал, присевший на попавшийся ему камень.

Немолчный грохот наших и неприятельских орудий не только продолжался, но и усиливался все более и более; уже добрых полчаса, не уставая, стоял этот гул. Волнение Карла росло. Он раз двадцать обошел расположение своей роты и, казалось, уже вполне изучил и твердо запомнил все подробности этого места, и камень, где сидел капрал, и помятый куст, который сначала ему не нравился, потом понравился и опять успел уже надоесть. Карлу надоело ждать.

«Да что же это долго так будет?» – нетерпеливо спрашивал он себя.

Ни адъютанты, ни начальство, сначала изредка показывавшиеся, не приезжали больше. Казалось, седьмую роту забыли тут, на холмике.

Эйзенбах готов был идти на врага, жертвовать жизнью; отчего ж его никто не посылал вперед, отчего же никто не идет на него? Так глупо стоять и не знать, что делать! И хуже всего было то, что Карл чувствовал, что капрал и Артемий, и даже солдаты отменно знали, что им делать. Это-то и было обидно. Но Эйзенбах скорее дал бы разрубить себя на части, чем спросить у капрала: «Что же это?» И он продолжал ходить, с сознанием полного своего достоинства, гордо закинув голову, как бы говоря: «Погодите!.. Дойдет дело до настоящего, увидим, – он или я». Под этим «он», конечно, подразуме-

мевался. Артемий.

«Он или я... он или я», – мысленно повторял Карл, когда вдруг совершенно неожиданный для него и новый звук где-то близко-близко потряс воздух, что-то шлепнуло тяжело, словно ухнуло, и запах пережженной селитры, смешанный с испарением нагретого металла, сделался ощутительней.

– Нацелил! – сказал чей-то голос, и в этот момент к Карлу подошел капрал.

– Ваше высокоблагородие, нужно людям приказать лечь, – на нас навели, – проговорил он.

– Да, да, нужно лечь, – согласился Карл, не сознавая хорошенько всего ужаса спокойных слов капрала «на нас навели».

Солдаты легли, но Карл, молодежато оправляя шарф и мундир, ходил между ними, словно не желая понимать то, о чем говорили ядра, шлепнувшиеся два раза очень уж близко от его роты.

– Ваше высокоблагородие, – сказал ему капрал, – вам бы тоже прилечь.

Карл нетерпеливо дернул полу мундира.

– Молчать, не разговаривать! – вдруг совершенно неожиданно для себя выкрикнул он, но тут же подумал: «Глупо, очень глупо сердиться». Однако он все же сердился и, главным образом, на себя за то, что все еще никак не мог наладить свои отношения к роте.

В это время откуда-то справа к зычному гулу, утомившему уже с утра ухо, присоединилась вдруг мелкая перекатная трескотня, точно гряду мелких досок свалили в яму.

«Что это?» – опять удивился Карл, не узнавая ружейного огня.

В воздухе протяжно, жалобно и весело жажжжали быстрые, словно пчелы, беспокойные пули.

«Только не кланяться, только не кланяться! – повторял себе Карл, делая усилие подавить всякое поползновение нагнуться. – Пора и нам начинать», – решил он наконец и подал команду.

Он весь был в волнении. Солдаты, напротив, делали свое дело с каким-то непонятным спокойным трудолюбием, с тем самым выражением, с которым мужик наваливается на соху и ворочает ее всем своим существом.

Утро разгоралось, но было еще в самом начале. Враг, очевидно, подходил, но из-за застилавшего теперь все кругом дыма никого и ничего не было видно.

«Ну, поскорей бы уж, поскорей!» – повторял себе Карл, сознавая свое бездействие и будучи готов умереть от нетерпения.

С непривычки, от запаха порохового дыма, от бессонной ночи, от треска и грохота жаркого дела, от радости так быстро и неожиданно попасть в сражение и, главное, оттого, что он с утра ничего не ел и не пил. Карл мало-помалу пришел в состояние, близкое к опьянению, когда голова начинает кру-

житься и мысли путаются, и всякое движение захватывает дух. Он уже совершенно бессмысленно твердил теперь свое: «Поскорей бы уж!..» – ходил, кричал, поднимая руки, воображая, что ободряет солдат, и не замечал, что старик-капрал стал уже относиться к нему опять с тем же деловитым презрением, с которым сказал ему пред самым выступлением: «Эх, ваше высокоблагородие!»

– Эй, сударик, что у вас спят там! – покрикивал капрал.

Какой-то голос отвечал ему, но Карл не узнавал уже, что это был голос главного его врага – Артемия. Он перестал следить за ним и за собою. Он все еще думал, что все происходящее вокруг него – не сражение, а так, начало, прелюдия, и ждал, когда же будет настоящее, ждал каждую минуту и каждую минуту обманывался. Но пьяный восторг его не становился от этого меньше.

Ружейные залпы трещали, гул стоял в воздухе от пушечных выстрелов, солнце поднялось высоко, и осеннее сырое утро сменилось жарким, почти летним днем. Карл уже привык к свисту и жужжанию пуль и не думал о том, чтобы «не нагибаться». Его волнение усилилось настолько, что он не замечал этого свиста и не увидел, как один из солдатиков, будто по своей надобности, отделился от строя и убежал, сильно махая рукою. Это был раненый.

Сам Карл тоже взмахнул рукою, как это часто уже делал сегодня, и вдруг почувствовал, что на этот раз ему машется особенно благоприятно. Рука у него, словно сама собою,

так легко заходила вверх и вниз и потом из стороны в сторону, что он невольно придерживал ее другою, левою рукою, и пальцы этой левой руки попали во что-то мокрое, склизкое и теплое. Карл оглядел пальцы; они были в крови.

«Где ж я мог выпачкаться?» – мелькнуло у него в голове – и сейчас же прошло, потому что он понял, что ранен, и как только он понял это, страшная боль защемила ему руку.

Он почувствовал, что потерял много крови, что она отличается от его вдруг похолодевших щек и от сердца; последнее словно захлопнулось, ноги подкосились, и Эйзенбах, бледный, упал на согнутые колена.

Когда он открыл опять глаза, то же горячее солнце светило сквозь облако серого вонючего порохового дыма, и тот же треск и гул, которые были и прежде, стояли кругом.

Карл не только узнал этот треск и гул, но ему казалось теперь, что с самого рожденья, с детства, всю жизнь вокруг него немолчно так гудело и трещало. Кто-то наклонился над ним.

«Я умираю», – решил Карл и хотел сказать об этом тому, кто наклонился над ним, но узнал Артемия, который хлопотал возле него, сделал ему перевязку и привел в чувство.

Тяжелее этой встречи для Карла трудно было придумать, найти что-нибудь. Заботливость Артемия не тронула его. Напротив, новый прилив бешенства охватил его, и, стиснув зубы, он силился сказать:

– Пошел, пошел!

Артемий делал вид, что не слышит, а может быть, и на самом деле не слышал, что ему говорили, потому что, склонившись на одном колене над Карлом, все время следил за тем, что происходит в рядах его роты, распознавая ход дела своим привычным уже к перестрелке ухом и чутко следя по этому, насколько было необходимо его присутствие среди солдат.

В тот самый миг, когда Карл открыл глаза, Артемий почувствовал, что теперь он в своей роте нужен более, чем здесь, возле Карла, и быстро поднялся. Солдаты уже вскочили на ноги и скрылись в дыму, бросившись вниз с возвышения на показавшегося, очевидно, неприятеля. Артемий кинулся к ним. Эйзенбах видел, как он вдруг оставил его, и, с трудом поднявшись, опираясь на здоровую руку, постарался глянуть ему вслед. Но, когда он поднялся, на месте, где лежали солдаты, никого уже не было – дым... дым, кругом везде был дым, застилавший все – и небо, и землю, и самое жизнь.

– Und dann Punktum!² – вспомнил почему-то Карл слова, которыми обыкновенно завершал ему диктовку учитель в детстве, и снова, обессиленный, упал на землю.

² И затем точка! (нем.).

IV. Полковое знамя

Фридрих II, лично предводительствовавший своими войсками, успел произвести подробную рекогносцировку и решил атаковать наше правое крыло своими главными силами. Он выдвинул вперед свои батареи, и они открыли огонь, чтобы подготовить атаку.

В полдень прусский авангард под начальством Мантейфеля двинулся на русских. Это движение сначала было успешным; но по мере наступления авангард слишком отделился от остальной массы батальонов, а русские, ударив на Мантейфеля с фронта и фланга, заставили его отступить с большими потерями. Однако в это время кавалерия пруссаков зашла в тыл русским и, в свою очередь, нанесла им значительный вред. Наша пехота была окружена со всех сторон. Фермор был увлечен отступлением кавалерии и только вечером примкнул снова к армии, которая оставалась таким образом без настоящего главнокомандующего.

Но и в прусских рядах происходило немалое расстройство. Несколько раз сам король не без труда собирал вернувшиеся линии огня беспорядочные толпы своих солдат и, восстановив порядок, снова вводил их в дело.

В середине дня на правом нашем крыле сами пошли в атаку. Пруссаки, не дождавшись удара, побежали. Сражение опять казалось проигранным для Фридриха, но снова спас-

ла его кавалерия. Ею командовал Зейдлиц. Говорят, он сам понесся вдоль фронта, когда в начале своего движения его конные полки засуетились было, встреченные русскою картечью. Их уставшие лошади едва могли идти галопом. Но отвага генерала так подняла дух солдат, что они несмотря ни на что врезались в ряды русской пехоты. Тут произошла одна из тех рукопашных свалок, которая еще раз доказала, что русских можно истребить, но победить нельзя. В отвратительной позиции или, вернее, без всякой позиции, окруженные неприятелем, не на своей, а на чужой земле, из-за которой приходилось им драться, лишенные главного начальника, русские дрались до смерти, до последней капли крови. Только наступившая вечерняя мгла прекратила кровопролитие.

Все эти движения, атаки и отступления были, разумеется, восстановлены впоследствии, когда по отдельным рассказам, более или менее правдоподобным, составили, как обыкновенно составляются такие описания, – приблизительный контур битвы, расцветив его, может быть, и произвольными красками. Для самих участников все дело представлялось совершенно иначе. Для них не могло быть последовательности и порядка там, где главным основанием, самую сутью являлось наиболее беспорядочное, идущее вразрез со всякою законною последовательностью жизни, дело – убийство себе равного.

Этот период губительства, разрушения, убийства и смер-

ти начался для седьмой роты тарасовцев главным образом с того момента, когда они, увидев пред собою, сквозь потянувшийся по ветру пороховой дым, синие прусские мундиры, побежали на них, а Артемий, оставив раненого Карла, кинулся за ними.

Это была первая атака авангарда Мантейфеля, отбитая русскими. Тарасовцы показали себя.

Но не успели они оправиться, не успели оглядеться и увидеть, что они сделали сами и что сделали с ними, как на них откуда-то сзади налетела неприятельская конница, и они стали отбиваться от конницы.

В эту минуту для Артемия, у которого давно пересохло во рту и который от усталости уже не чувствовал ног и рук, не существовало ни войны, ни сражения, ни общих движений. Для него все сосредоточилось в наскочившем на него кирасирском офицере, который хотел растоптать его лошадью или убить палашом. Но он, Артемий, будучи уверен, что пошел искать для себя смерти, все-таки не позволил сделать это и, ворочая ружьем, уложил и кирасира, и его лошадь.

– Молодца, сударик! – услышал он ободряющий голос дяди-капрала, и этот голос снова опьянил его, и он снова кинулся вперед очертя голову.

Пригорок, на котором с утра была расположена рота и где остался раненым молодой офицерик-командир, был давно потерян. Весь вид местности изменился от разбросанного по ней оружия, валявшихся зарядных ящичков, колес и главное –

неподвижно, в различных и самых невозможных позах лежащих людей, искаженных и изуродованных.

Артемий помнил, что ему вдруг пришло на мысль, зачем это они лежат так? Но он, не отвечая, сейчас же постарался прогнать этот вопрос от себя.

Потом его чрезвычайно поразил солдат Федор, которого в роте дразнили «Фридрихом». Этот Федор, раненый в голову, вернулся с перевязкой, снова в ряды и очень весело объяснил, что «не вытерпел», душа его не стерпела.

– Пруссаки нынче очень обозлились, много народа попортит, – говорили солдаты и, несмотря на то что они сами и были тем народом, которого должен был «попортить» пруссаки, все-таки не унывали, сбивались в кучу на зов сигнала и отбивались от неприятеля.

Это было совсем уже к вечеру. Остатки Тарасовского полка, сильно пострадавшего в течение дня, держались вместе. Напряжение боя стало ослабевать, канонада артиллерии звучала ленивее. Почти на каждом шагу нога скользила, попадая в грязь, замесившуюся человеческою кровью, к ободряющим дерзким звукам выстрелов присоединились стоны раненых.

По этой изменившейся, ужасной в своем своеобразии музыке сражения опытное ухо старых служак уже чувствовало, что в людях начинает наступать отрезвление, и дело близится к концу.

И тут только почти у каждого из оставшихся в живых за-

шевелился вопрос: «Кто вышел победителем?» Несмотря на то, что тарасовцев осталась десятая часть, они твердо были уверены, что если победа не на их стороне, то, во всяком случае, она и не на стороне врага.

Дело шло к концу, но еще не закончилось, и все зависело от последнего натиска, последнего решающего удара. И начальствующие, и солдаты, и старый капрал, и Артемий понимали это.

И вот снова показались пред ними синие мундиры прусской пехоты. Раздалась команда. Все, как один, почувствовали, что нельзя подпустить к себе пруссаков, ждать их, а самим идти навстречу и натиском ответить на их натиск. Но потому ли, что команда раздалась неуверенно (офицеры боялись, послушают ли ее солдаты), или усталость превозмогла сознание необходимости двинуться вперед, но в первую минуту в рядах произошло что-то похожее на замешательство. Однако это была именно только одна минута. Известный всему полку Василий Карпов, тот самый Василий Карпов, который на походе, когда солдаты, изнемогая, взяли по колено в грязи, выскакивал вперед, надев на себя два ранца, один – на грудь, другой – на спину, и с этою двойною тяжестью начинал впереди песенников, прищелкивая, выбивать присядку, так что остальные наперерыв начинали лезть вперед, чтобы посмотреть на него, – этот Василий Карпов выскочил теперь первым туда, к синим мундирам, и за ним бросились тарасовцы, энергия и сила которых притупилась

было, как притупилось их оружие. Никогда еще не выпадало на их долю столько рукопашных свалок, как сегодня.

Артемий ничего уже не помнил и, потеряв всякое сознание, отмахивался и дрался, как будто отмахивался и дрался вовсе не он, а совсем другой человек, а сам он был где-то далеко-далеко. Опять кровь, снова крики, опять кирасир, как утром, который хочет растоптать его. И вдруг Артемий опомнился, словно никак не мог сообразить, откуда перед ним взялся опять кирасир, когда они бросились за Василием Карповым на пехоту и когда он утром убил уже кирасира.

Но кругом, со всех сторон, торчали лошадиные морды и блестели латы немецких всадников, пробравшихся сквозь интервалы своей пехоты.

Артемию среди свалки ясно представилось дорогое, честное знамя его полка, высоко поднятое там, где дрались ожесточеннее всего. Верх знамени покачнулся, как макушка срубленного дерева, и оно рухнуло, быстро склонившись.

«Вот оно! – мелькнула мысль. – Все пропало... все!...»

И то, что во весь день ему не приходило в голову, то есть что он до сих пор только чудом остается в живых, теперь схватило его за сердце, и он перестал сомневаться, что давно желанный конец близок, что все кончено. Но как только он решил это – страшный, беспощадный удар в голову сшиб его с ног и в глазах потемнело.

Тарасовцы могли выдержать последний приступ вражеской пехоты, но, когда ее сменила кавалерийская атака, им

осталось только умереть возле своего знамени. Противиться долее было сверх человеческих сил.

Небольшое селение Цорндорф, расположенное к северо-востоку от Кюстрина, по дороге в Сольдин и решительно ничем не замечательное до 25 августа 1758 года, мирно и честно ведшее торговлю с окрестными городами и местечками, вдруг получило после этой даты историческую известность. Вокруг него полегло около пятнадцати тысяч русских и немцев.

Этот упорнейший бой при Цорндорфе не принес победы ни той, ни другой сторонам. Ночью на 27 августа Фермор обошел левый фланг пруссаков и соединился со своим обозом у Клейн-Камина. Фридрих расположился у Тамсея. В этом расположении обе армии оставались до 31 августа. Затем Фермор отступил к Ландсбергу, а Фридрих возвратился в Саксонию.

V. Вдали от военных стонов

Принцесса Иоганна Елизавета Ангальт-Цербстская, выдав свою дочь за наследника русского престола, думала сначала, что будет играть роль при дворе императрицы Елизаветы, но ее ожидания не оправдались. Государыня вскоре была восстановлена против нее, и в этом были виноваты отчасти придворные интриги, а отчасти и сама принцесса. Как бы то ни было, но она должна была покинуть Россию. Положение ее дочери тоже с каждым днем становилось все тяжелее. Она и ее мать могли сноситься друг с другом только при помощи окольных, иногда очень рискованных, путей.

В последнее время великая княжна примирилась с канцлером Бестужевым, прежним своим врагом, и он, как предупреждал ее при их странном свидании граф Сен-Жермен, действительно оказался преданным ей другом.

Принцесса Елизавета, думая, что это она устроила брак своей дочери, во что бы то ни стало хотела и дальше играть политическую роль. Маленький Цербст казался слишком тесен для этого. В Петербурге ей не повезло, и она поселилась в Париже под тем предлогом, что должна была бежать из охваченной губительной войною Германии.

Несмотря на то, что в этой войне гибла французская армия, а государственная казна Франции едва выдерживала су-

масшешдые расходы короля, этот король, «le bien aimé»³, как его называли, Людовик XV, окруженный блестящим двором и еще более блестящими женщинами, проводил дни в свое удовольствие.

Сезон 1758 года начинался в Париже так же весело, как и в предыдущие годы.

В старинном зале, построенном ровно семьдесят лет тому назад известным Обрэ, начались представления французской комедии.

Все было изяшно и дышало уважаемой стариной в этом зале, где ложи передавались по наследству, как родовая собственность. И актеры, которые играли там, были уважаемые, солидные актеры, и пьесы ставились солидные, принадлежащие перу авторов с громким именем.

У принцессы Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской, разумеется, была своя ложа в театре. Она вела широкую, барскую жизнь в Париже, хотя ее средства были далеко невелики, но они покрывались кредитом, которым пользовалась принцесса как мать русской великой княжны.

На первом представлении давали «Цинну», трагедию Корнеля. Весь Париж съехался сюда не столько ради интереса к самой пьесе, восхищаться которою было уже принято, сколько ради того, что ехали в театр все, чтобы показать себя и доказать свой вкус и понимание литературных произведений.

³ «Возлюбленный» (фр.).

Принцесса Цербстская сидела в своей сделанной наподобие маленькой гостиной ложе и гордо оглядывала из ее амбразуры полный блестящею толпою зал. Мужчины в шитых золотых кафтанах, блестя бриллиантами, в числе прочих искали взглядом и ее ложу, чтобы издали приветствовать поклоном принцессу. Она отвечала медленным наклоением головы и снова застывала в красивой, изученной пред зеркалом позе.

Принцесса принадлежала к числу тех женщин, на которых годы не имеют влияния и которые, кажется, никогда не могут состариться. Она умела одеться, и главное – с искусством, достойным большого художника, пользоваться модою употребления белил и румян. И до сих пор напудренные маркизы двора Людовика XV встречали с удовольствием ее выразительные, искусно подведенные, глаза, но на всех их эти глаза смотрели одинаково строго и холодно.

Вдруг равнодушное выражение принцессы слегка изменилось: к своему удивлению, она увидела в зале редко показывавшегося в театре графа Сен-Жермена.

Его нельзя было не заметить даже среди блестящей толпы, окружавшей его. Его спокойная, невысокая, но сильная и мужественная фигура резко выделялась. Как ни выглядели богато наряды остальных, но ни у кого не был кафтан расшит богаче, ни у кого не блестели так бриллианты, как у него, и никто не держал себя с большим достоинством, чем этот известный и вместе с тем неизвестный «всему» Парижу таин-

ственный человек.

И он, подобно другим, стал оглядывать ложи одна за другою и почти ни одной не пропустил без поклона.

Принцесса ждала, когда он обернется в ее сторону, и, когда граф поклонился ей, быстро несколько раз махнула к себе раскрытым веером. На условленном языке того времени это значило, что она приглашает графа к себе в ложу. Он почтительно опустил ниже голову в знак покорности.

– Чем мы обязаны видеть в театре сегодня такого редкого гостя, как вы? – встретила принцесса входящего в ее ложу Сен-Жермена. – Надеюсь, вы останетесь у меня в ложе весь вечер?

– Я на это рассчитывал, принцесса, – улыбнулся граф, опускаясь на бархатную табуретку с видом человека, который находится в дружеском, приятном ему обществе.

Они говорили по-французски.

Во французском произношении графа, владевшего в совершенстве почти всеми европейскими языками, чуть заметно слышался пьемонтский акцент, вследствие чего думали, что он – тамошний уроженец, и даже называли его отцом некоего Ротондо, сборщика податей в Сан-Джермано, в Савойе. Другие принимали графа Сен-Жермена и за португальского маркиза Бетмара, и за испанского иезуита Аймара, и за эльзасского еврея Симона Вольфа, и даже, наконец, за побочного сына вдовы испанского короля Карла II. Но в самом деле никто никогда не мог узнать ни происхождения, ни на-

стоящих лет таинственного графа. Сам он никогда не говорил ни о своем рождении, ни об условиях, в которых воспитывался.

Однако несмотря на неизвестность и таинственность, которыми окружал себя Сен-Жермен, а может быть, именно вследствие этой неизвестности, совершенно непроницаемой, он не только был принят в лучшем обществе Парижа, но и при дворе, был лично известен королю Людовику XV, и не одному ему – сам Фридрих II относился к нему, как к человеку необыкновенному. В гостиной принцессы Цербстской граф был принят, как свой, как лицо, оказавшее ей не одну дружескую услугу.

В Париже он жил, не стесняясь в средствах, и обладал таким множеством драгоценных камней, как будто владел секретом произвольного их воспроизведения. Но зачем он жил тут, иногда вдруг исчезая на некоторое время и появляясь потом вновь, что делал, какие его были цели, – оставалось такою же тайною, каков был каждый его шаг и каково было между прочим появление его в театре, удивившее принцессу.

Она несколько раз взглядывала на графа в продолжение действия, желая узнать, как относится он к пьесе, но, как всегда, ничего не могла прочесть на его неподвижном, словно каменном, лице.

– Вам не нравится Корнель? – спросила она в антракте.

– Нет, напротив, отчего же? Очень забавно! – ответил

граф, не улыбаясь.

– Забавно? – протянула принцесса, – вам забавен Корнель?

– Ну, разумеется! Прежде всего эти костюмы очень смешны: римляне, настоящие римляне сидят у себя дома, запросто, в торжественных позах; добро бы еще у них было что-нибудь особенное, ну, я не знаю – полный атриум гостей, что ли... а то так, запросто, за портиком. Право, пройдет лет сто, и нас на сцене будут изображать за утренним завтраком, сидящими вот в таких кафтанах, с орденами, звездами и драгоценными камнями, как рисуют нас на портретах.

Принцесса рассмеялась.

– В самом деле, – сказала она, – это, должно быть, будет забавно.

– И потом, – продолжал граф, морщась, как будто неприятное воспоминание коснулось его. – Цинна был одним из самых антипатичных людей.

Принцесса взглянула на него. Про графа Сен-Жермена рассказывали, будто он живет уже несколько веков и был свидетелем событий, происходивших задолго до Рождества Христова, что вызывало во многих суеверный страх к нему.

– Вы говорите, граф, иногда о людях, живших очень давно, словно были знакомы с ними, – сказала принцесса, – мне всегда жутко это слышать.

Граф пожал плечами и серьезно ответил:

– Я никогда не утверждал, принцесса, что видел Цинну

или что-нибудь подобное.

– Да, но вы все-таки говорите так, что становится жутко. Будемте лучше говорить о другом, – и, как бы для того, чтобы переменить разговор, принцесса облокотилась на барьер ложи, оглядела зал и проговорила, качнув голову: – Какая толпа!

Однако по тому, как она произнесла эти слова, видно было, что ей доставляло удовольствие смотреть на эту толпу и чувствовать, что на нее самое тоже смотрят.

– Вам нравится? – спросил граф.

– То есть что нравится? Это общество, театр?

– Да, – вдруг заговорил он, – это общество, театр... А между тем подумайте, в то время как мы сидим с вами здесь, сколько народа испытывает самую вопиющую нужду! Ведь целая Германия объята войной, там люди гибнут.

– О-о! – перебила принцесса. – Вы начинаете говорить банальные вещи, дорогой граф.

– Банальные – пусть, но, согласитесь, они справедливы.

– Может быть. Однако против вашей философии существует другая – философия маркизы, – принцесса понизила голос, как все понижали его, когда говорили о маркизе Помпадур, фаворитке Людовика XV. – «После нас – хоть потоп!» – пояснила она.

– Да, и будет потоп, помяните мое слово, – и потоп ужасный, кровавый!

– Кстати о войне, – сказала принцесса. – Откуда получены

очень радостные вести: дела фельдмаршала Дауна идут отлично. Французская армия, после того как Клермон сдал начальство Контаду, оказывает чудеса, и русские, если не разбили, то почти разбили самого короля при Цорндорфе или что-то в этом роде.

– Радостные вести! – повторил Сен-Жермен. – Как будто с войны могут приходить радостные вести! Там, где есть победитель, есть и побежденный, и у обоих их несколько тысяч убитых!

Эти возражения графа, поставленные довольно резко, начинали немного сердить принцессу, и она, с чисто женской способностью сводить разговор на личности, поспешила заметить ему:

– Однако, граф, несмотря на свою проповедь вы же сами явились сегодня в театр.

Сен-Жермен скосил слегка губы в сторону, как будто ждал этого замечания и был доволен теперь, что не ошибся, что оно будет сделано.

– Ах, принцесса, сегодня я в театре, завтра – на войне, смотря где мое присутствие необходимо! – ответил он.

– А, значит, вы даже в театр являетесь по делу?

– Не я один, принцесса.

– Ну, и это дело, для которого вы явились сегодня сюда?

– Вам хочется узнать?

– Да, я хочу знать, зачем, несмотря на то, что люди, может быть, гибнут теперь и вся Германия объята войной, граф

Сен-Жермен все-таки явился в театр, – проговорила с легкой насмешкой принцесса.

– А хотя бы для того, чтобы показать ее светлости принцессе Иоганне, – ответил граф, не замечая подчеркнутых слов, – вот того старика, который пробирается между кресел.

– Вы не шутите, граф? – уже серьезно переспросила принцесса, вглядываясь в того, на кого ей указывали.

Это был совсем расслабленный, едва двигавшийся, старик, судя по одеянию, более чем богатый, а по манерам – принадлежавший, видимо, к обществу, которое принцесса Иоганна знала наперечет в Париже; тем более была она удивлена, что до сих пор не встречалась с этим стариком.

– Вы его знаете? – обернулась она к Сен-Жермену. – Верно, он недавно здесь? Должно быть, это иностранец?

– Да, он иностранец, итальянский маркиз и принадлежит к известной в Италии фамилии Каулучи. Его судьба довольно странна. В молодости он имел огромное состояние, но очень скоро прожил его, потом бедствовал большую половину жизни и наконец под старость пережил более молодых своих родственников и снова соединил в своих руках значительное богатство.

Граф, оставив прежний полушутливый тон, говорил теперь совершенно серьезно, и принцесса внимательно слушала его.

– Он женат? – спросила она.

– Вдовец и теперь совсем одинок.

– Куда же он девает свои деньги? Он скуп и копит их или его обворовывают?

– Ни то, ни другое. Он хочет еще жить и пользоваться удовольствиями жизни.

– И он явился в Париж, чтобы здесь прожить остаток дней так, как умеют это делать только в Париже? – улыбнулась принцесса.

– Он явился сюда, – ответил, тоже улыбаясь, Сен-Жермен, – чтобы увидеть меня и купить секрет восстановления молодости и долгой жизни. Ему сказали, что я владею этим секретом.

В это время занавес поднялся и началось следующее действие. Но разговор слишком интересовал принцессу Иоганну, чтобы прекратить его ради пьесы.

– Знаете, граф, – сказала она, отходя в глубину ложи, – я тоже слышала много раз, что вы обладаете этим секретом, но никогда не решалась спросить вас, неужели это правда?

Граф пожал плечами.

– До некоторой степени, принцесса. Если я не вполне могу восстановить молодость человека, то во всяком случае, пожалуй, в состоянии удвоить годы его жизни.

Глаза принцессы Иоганны-Елизаветы блеснули.

– Неужели? Так это правда? – поспешно повторила она, не замечая, что от волнения бесцеремонно берет графа за локоть. – Какой же секрет, какая цена ему?

– Цена тех усилий, которые сам человек будет делать для

достижения цели. Если меня спросят: «Как удвоить годы жизни?» – я отвечу: «Бросьте город и его соблазны, ешьте, только чтобы утолить голод, и пейте, только чтобы утолить жажду; ступайте в поле, работайте мускулами, вставайте рано поутру, умывайтесь каждый день ключевой водой, содержите в самой строгой опрятности себя, свое платье и свое жилище и имейте настолько силы воли, чтобы стать выше мелких житейских неприятностей и не волноваться ими. Не делайте зла!»

– И только? – спросила принцесса.

– О, это очень много! – ответил граф.

Иоганна-Елизавета отвернулась и замолчала. Она сама знала все, что говорил Сен-Жермен, и все это было не то, чего она хотела. Она и теперь не верила, что он говорит искренне. Она была убеждена, что у графа есть рецепт эликсира или состава, способного сразу, через несколько приемов, вернуть человеку молодость, но только он не желает сообщить ей об этом.

– Да, – наконец протянула она, качая головою, – но это слишком просто, слишком просто.

– Это просто и вместе с тем верно, – перебил граф, – в мире нет ничего необыкновенного. И зачем искать другого, если не хочется испытать это простое средство?

– И что же, вы и этому старому маркизу Каулучи пропишете то же средство, граф?

– Я ему, вероятно, ничего не пропишу, потому что едва

ли мне придется увидеться с ним.

– Вы уезжаете?

– Сегодня в ночь.

– Значит, вы пришли проститься со мною?

– Да, принцесса, и еще для того, повторяю, чтобы показать вам здесь старого маркиза.

– Что же, этот маркиз, может быть, нужен зачем-нибудь мне или Лотти? – доверчиво спросила она, уже окончательно примирившись с мыслью, что граф не хочет сообщить ей своего секрета.

Лотти – это имя, которым она привыкла звать дочь, ставшую уже теперь великою княжною Екатериною Алексеевной, но для нее, матери, оставшуюся все-таки прежнею Лотти.

– Нет, – возразил граф, – теперь это услуга или помощь, которую я жду от вас, принцесса. Мне необходимо уехать сегодня. А между тем очевидно, дни этого старика сочтены. Желая продолжить их, он, несомненно, попадет в руки шарлатанов и они ускорят его смерть. Он едва ли будет жив, когда мне можно будет вернуться в Париж.

– При чем же тут я и что могу сделать? – ничего еще не понимая, но, видимо, будучи заранее готова исполнить просьбу графа, ответила Иоганна-Елизавета.

Она знала, что этот человек не может попросить о чем-нибудь дурном.

Сен-Жермен вынул из бокового кармана своего кафтана

сложенную вчетверо бумагу и произнес:

– Больше ничего, принцесса, как только взять эту бумагу и хранить ее пока у себя. Можете прочесть ее, если хотите.

– А потом? – спросила она.

– А потом ждать случая, когда старик Каулучи подпишет ее. Он должен это сделать.

– Ну, а если такого случая не представится?

– Тогда в том не будет вашей вины, принцесса. Но будьте уверены, что такой случай произойдет, – и граф, встав со своего места, низко и почтительно поклонился принцессе, прощаясь с нею.

Она взяла его бумагу, а затем спросила:

– Куда же вы едете теперь, граф? Или это тоже тайна?

– Туда, где люди гибнут, – ответил он, в свою очередь, подчеркивая теперь это слово, и, поклонившись еще раз, вышел из ложи принцессы.

VI. В Кенигсберге

Наступление русских войск на Берлин было остановлено сражением при Цорндорфе, и Фермор отступил к Кольбергу, под которым, осаждая его, провел около месяца, но безуспешно. Затем приближение графа Доны заставило русских вернуться в Пруссию и Польшу, где ввиду близких уже холодов они расположились на зимние квартиры.

Сосредоточием нашей армии стал, как и в прошлом году, богатый, старинный Кенигсберг, превратившийся в русский военный город. Здесь распоряжались русские генералы, русские часовые несли службу в замке и у городских ворот: на готических домах постройки гайзенских времен появились русские надписи там, где были наши полковые дворы.

В числе их находился один и Тарасовского полка. Но сам полк после Цорндорфа существовал только по инерции: убитых и раненых было гораздо больше, чем оставшихся в живых. Многих – и храбрых, и честных – товарищей потеряли тарасовцы, но (и это было самым главным) они потеряли также свое полковое знамя. И остались после отчаянно-го цорндорфского боя полковой командир, несколько офицеров, не более полусотни солдат, и это был уже не полк, а остатки бывшего Тарасовского полка, потерявшего свое знамя и с честью легшего костями возле него. Те, кто остались случайно, и никто не сомневался, что и они готовы были бы

лучше умереть, чем пережить своих товарищей и стать случайными людьми, которых, по всем вероятностям, расформируют по другим полкам.

Ходили слухи, что нового знамени прислано не будет, что на место тарасовцев из России придет другой полк, а их комплектовать больше не станут. Но пока ничего еще не было известно определенного.

Полковой писарь приладил две комнаты под канцелярию, вывесил надпись, что здесь, мол, полковой тарасовский двор, и готовая уже прекратиться жизнь полка еще здесь билась ослабевающим с каждым днем пульсом. Полковой командир продолжал, правда, писать рапорты начальству и получать на них ответы, но все чувствовали, что это продолжится недолго и что тарасовцев оставляют пока в покое потому, что есть дела более неотложные – по устройству и размещению войск в городе на зиму.

Наконец, когда войска были расквартированы и устроена походная церковь, в первое же воскресенье было приказано явиться туда всем начальствующим и офицерам.

Пятое сентября, день именин государыни, войска провели в походе и потому должны были теперь служить царский молебен. Полковые писари знали уже, что из Петербурга накануне были получены предписания с курьером и что, вероятно, после обедни станут известны интересные новости. Большинство, кроме тарасовцев, ждало наград, отличий и повышений.

Старый «дядя», капрал седьмой роты, не пошел в церковь.

– Не могу идти на люди, душа болит, – объяснил он Федору, занявшему после Артемия место сержанта.

– Эка, «дядя», в церковь-то!.. Нешто это «на люди»? – ответил тот.

– А то как же? Все там будут. Лучше один дома помолюсь, – и недовольный упреком Федора «дядя» покачал головою. – Всем ты хорош, Федор, а все-таки далеко тебе до сударика. Жаль беднягу! Вот будь он, он бы понял, почему даже в церковь тяжело идти нашему брату, а ты сомневаешься.

Федор взглянул на капрала исподлобья и, чтобы доказать, что он тоже понимает, ответил:

– Да что ж, я ведь чувствую... и Артемия Андреевича тоже жалею.

– Ты не его, а себя и нас жалей. Ему, может, лучше, чем нам с тобою теперь! Так-то! – и капрал, крепко закусив на сторону свою коротенькую трубочку, отвернулся с таким видом, что – с Федором и говорить-то не стоит.

В церковь он не пошел, но в воскресенье утром, до конца обедни, явился на полковой двор, предчувствуя, что сегодня должна решиться судьба полка.

Тарасовцы занимали дом разоренного войною немецкого купца. В самом доме были отведены квартиры для полкового командира, адъютанта, старшего офицера и канцелярии, а для солдат устроили казарму в бывшем при доме товарном

складе.

На дворе, у крыльца командира, стоял денежный ящик и возле него мерно прохаживался часовой. Двор был вычищен и усыпан песком. Дежурный вестовой вертелся возле дверей канцелярии; у импровизированных казарм устроили скамеечки; словом, двор имел вполне военный вид, но только на нем не производили учений, и по вечерам у казарм не слышно было песен.

«Дядя» – капрал, выйдя на двор, присел на скамеечку, беспокойно поглядывая на ворота, откуда должно было прийти из церкви начальство. Октябрьский день не казался холоден, несмотря на то что по ночам бывали уж заморозки, но к полудню не потерявшее еще своей силы солнце нагревало воздух настолько, что можно было надевать верхнюю одежду нараспашку.

Первыми пришли адъютант и два молодых офицера, при взгляде на которых у капрала невольно мелькнуло воспоминание о ротном командире, приехавшем под Кюстрином из Петербурга и так скоро окончившем свое боевое поприще. Карла Эйзенбаха так же, как Артемия, считали в числе убитых.

Офицеры остановились посреди двора, громко разговаривая. Они были сильно взволнованы.

– Неизвестность хуже всего, – сказал один, сильно размахивая руками. – Я понимаю, уж если думают раскассировать, так пусть и раскассируют.

Видно, ему это слово нравилось, и он повторял его.

– Я положительно теряюсь, – возразил адъютант, – неужели из Петербурга так-таки и нет ничего относительно нас?

– Может быть, генерал не хотел сразу после наград сообщать неприятные вещи? – заметил другой офицер.

– А ты заметил полкового командира? На нем лица не было все время. В какой-то момент мне показалось, что он свалится.

– Да, он нехорош, и изменился как!

– Но все-таки генерал был с ним любезен.

– Эх!.. Да эта любезность хуже сердца! Словно милостыню подает Христа ради.

К этим первым трем стали подходить остальные возвращавшиеся из церкви и тоже высказывали свои впечатления.

Дело было в том, что генерал после молебна поздравлял с монаршею милостью счастливых, получивших награды, относительно же тарасовцев не обмолвился ни словом, как будто их и не было вовсе. Правда, офицеры видели, как он поздоровался с их полковым командиром, но скорее всего и ему не сказал он ничего, так как командир не дал им приказа собираться. Собрались же они на полковой двор сами собою, потому что каждому из них идти одному к себе домой не хотелось. В минуты, переживаемые ими теперь, необходимо было быть вместе, в своей, еще не распавшейся, но готовой уже распасться полковой семье. И они пришли к себе на двор и, так как идти дальше было некуда, остановились

здесь в ожидании полкового командира.

Мало-помалу вокруг этих офицеров образовалась толпа старых солдат, не раз бывавших с ними в неприятельском огне и потому чувствовавших ту общую близость, которая устанавливается между людьми, делившими вместе опасность. Эта близость позволяла им теперь, не нарушая дисциплины, подойти и слушать. Подошел тоже и «дядя» – капрал.

Ждали полкового командира.

– Идет! Идет! – послышалось наконец в толпе.

Действительно, в воротах показался видный полковник с седеющими большими усами. Знакомая тарасовцам, обыкновенно прямая, видная фигура его с гордо и смело закинутою головою казалась теперь сгорбленной; и взгляд недавно еще быстрых и оживленных глаз совсем потух. Полковник шел тихими, короткими шагами. Он был еще бледнее, чем все последние дни.

Увидев собравшихся на середине двора полковых, видимо, ожидавших его прихода, он сморщился, как от новой физической боли, и направился к ним, словно нехотя, подчиняясь необходимости сделать это.

«Ну, что ж, и эту тяжесть вынесу еще, – говорил он и всем своим существом, и видом, и взглядом, – все равно рано или поздно мне необходимо сказать вам».

И по одному этому его виду всем стало ясно то, что он должен сказать им.

– Все кончено, – упавшим голосом проговорил полковой

командир, подходя, – генерал получил предписание. После обедни он призвал меня к себе, чтобы сказать, что нового знамени не будет нам прислано. В Петербурге и самим генералом недовольны, и награды были даны так уж.

Полковой командир замолчал, молчали и все остальные, потому что сказать было нечего.

Участь Тарасовского полка решилась.

Наступила та тяжелая, давящая тишина, которая вдруг охватывает людей в первую минуту известия о кончине любимого и близкого человека. Все опустили голову, притаив дыхание, и только теперь, когда уже нельзя было сомневаться в том, что случилось всеми как будто ожидаемое, почувствовали, что до этой минуты они все-таки надеялись на что-то, все-таки их не покидала мысль о возможности иного исхода.

– Эх, не то больно, что придется расстаться нам друг с другом и искать, как бездомным, пристанища по другим полкам, – заговорил вдруг снова полковой командир, и голос его снова дрогнул, – не то больно, что это – беспримерный случай, – но такова воля государыни, – а то больно, что наше знамя, святыня наша попала в чужие руки, вражеские руки. Кончится война, пленных вернут, а не вернут нашего знамени. Повесят его куда-нибудь напоказ, на позор нам, и хранить будут, и десятки лет пройдут – внукам и правнукам нашим показывать будут: нате, вот, смотрите, у нас, в немецкой земле, есть русское знамя. А чье оно, кто не уберег его?

Тарасовцы... Вот что больно!

Полковник не мог договорить, губы его дрожали, и он закрыл рукою глаза.

В задних рядах толпы в это время произошло какое-то странное движение и послышался говор, резко нарушивший тишину.

Полковник поднял голову.

Ряды военных расступились перед ним и прямо к нему выходил из-за них кто-то в совершенно непонятном немецком мундире, почти в лохмотьях. Бледный, худой, дрожащий от холода, он трясущимися руками разбирал свои лохмотья на груди и доставал что-то, а затем, достав, подал полковнику.

Бред это был или действительность, но то, что подали полковнику, было оторванное от древка полковое знамя. Он, не веря своим глазам, не понимая, не ожидая этой радости, больше, чем радости, больше всякого счастья, – взял его в руки. Да, это было полковое знамя тарасовцев.

– Вот оно, вот оно! – повторял бледный человек в лохмотьях, не бесплотный, благодетельный дух или гений, но совсем живой, хотя, правда, едва державшийся на ногах от усталости и болезни человек.

– Кто ты, откуда? – выговорил наконец полковник.

– Артемий Проскуровский, сержант седьмой роты, – ответил тот.

Многие свои узнали его раньше, несмотря на страшную перемену, происшедшую в нем, но в первый миг смотрели

не на него, а на то, что он спас и принес каким-то чудом.

И все, от полковника до последнего солдата, чувствовали, как вдруг забилося их сердце новой, неожиданной жизнью, словно воскрес в нем мертвец, которого они готовы были уже похоронить. И чем сильнее было их горе пред тем, тем сильнее казалась их радость.

– Что ж ты раньше, раньше? – спросил полковник, но, сейчас же поняв по виду Артемия, что тот, очевидно, лишь теперь добрался до Кенигсберга и прямо явился на полковой двор, почувствовал, что его невольный упрек неуместен, и без дальних слов обнял, а затем поцеловал Артемия. Но едва он разжал свои руки, как шею Артемия охватили другие крепкие старческие объятия.

– Голубчик, сударик, родной мой! – силился выговорить сквозь слезы старый капрал, обнимая своего сержанта. – А мы думали, что тебя и в живых нет, голубчик!

Капрал, как только появился Артемий, протискался к нему и ждал этой минуты, когда он обнимет своего «сударика».

И от одного к другому стал переходить счастливый ласкою стольких людей Артемий, и все находили ему новое ласковое слово, и каждый по-своему выражал свою радость.

«Что они, с ума сошли?» – невольно подумал, приостановившись, вошедший случайно на тарасовский двор молодой артиллерийский офицер, не понимая, что случилось, но, когда и ему, постороннему, рассказали в чем дело, он подошел

к Артемию и крепко пожал ему руку.

VII. Старый знакомый

На другой день всеобщую новостью дня было спасение знамени тарасовского полка сержантом седьмой роты. Весь Кенигсберг только и говорил об этом, рассказывая целые истории, как все это случилось: будто бы во время битвы Артемий, раненный в голову, прикрыл знамя своим телом и тут же потерял сознание, потом, придя в себя, снял знамя с древка и дополз с ним до стога сена, в котором спрятался и провел около двух дней без пищи, боясь выйти, чтобы не встретить неприятельский разъезд. Потом он, сняв с убитого немецкого солдата мундир, переодетый, явился в Цорндорф, что удалось ему благодаря знанию немецкого языка. Здесь он сменил мундир на лохмотья и под видом нищего, разоренного войной крестьянина стал пробираться к Кенигсбергу, заболел по дороге, слег, но, едва только был в силах идти дальше, пошел полубольной и явился в свой полк как раз в ту минуту, когда полковой командир объявлял своим подчиненным полученное из Петербурга известие о раскассировании полка. Он спас не только знамя, но и весь полк.

Главное основание, канва этих слухов, было, разумеется, справедливо, но подробности передавались по-разному, и благодаря этим прибавкам и дополнениям подвиг Артемия рос в устах щедрой на преувеличение как в хорошую, так и в дурную сторону молвы. В данном случае нельзя ничего бы-

ло найти дурного, и имя Артемия окружили ореолом славы героя. Наиболее близкие к нему люди, товарищи по полку, не знали, чем отблагодарить его, и старались всеми силами своею заботливостью показать ему, как они ценят то, что он сделал для них, для себя, для всего полка. Решили, что в казарме больному Артемию будет неудобно, а в госпитале – еще хуже, выхлопотали ему разрешение поместиться на частной квартире, приискали комнату у благородной немецкой вдовы Зонненширм и устроили там Артемия. Все расходы на его содержание офицеры приняли на свой счет. Сам генерал прислал ему доктора. Кроме того, стали было собирать по подписке деньги в пользу Артемия, но он от этого отказался наотрез. В полковом денежном ящике хранились его сто восемьдесят три рубля, сданные им при прибытии в полк из двухсот, полученных от князя при отъезде из Проскурова; он просил только выдать ему, на всякий случай, половину этих денег.

Как только Артемий очутился в жарко натопленной комнате Зонненширм, лег на чистое белье широкой, мягкой и удобной кровати, получил возможность есть каждый день, не стесняясь, обед и завтрак, приготовленный искусными руками доброй немки, – словом, вошел более или менее в те обычные для него когда-то условия, в которых жил с детства и которых был лишен столько времени, – перенесенные им лишения сейчас же дали себя знать и его болезнь перешла в форму кризиса. Он слег и находился несколько дней в бес-

памятстве, в бреду. Но молодость, крепкая натура и старательный уход взяли свое, и Артемий начал поправляться.

Старый капрал был при нем неотлучной сиделкой. Однако выздоровление шло довольно медленно. Заботы и ласки, которыми теперь окружали Артемия, радовали его, потому что он видел теперь, что все-таки не весь свет чужой ему и есть люди, есть даже целая семья, полковая семья, которой он близок. Но могло ли это вознаградить его за понесенную им потерю Ольги? Она, она одна нужна была ему, он все еще любил, мало того – он любил больше прежнего, и с каждым днем его тоска росла. Артемий проводил бессонные ночи, ворочаясь с боку на бок на своей постели и поворачивая на разные лады свою жаркую подушку, и в продолжение этих ночей все думал и думал об Ольге, об одной лишь ней. Иногда ему становилось так тяжело, положение казалось таким безвыходным, что он хотел искусственно обратить свое выздоровление на ухудшение, сделав что-нибудь против предписаний доктора: не принимал лекарств, не ел, что чрезвычайно огорчало Зонненширм, воображавшую, что это она не умеет угодить своему постояльцу.

Как-то раз, когда ему особенно было не по себе, душевно не по себе, Артемий решил открыть окно, чтобы его охватило свежим, холодным воздухом, так как доктор предписывал ему именно не простудиться. Но только-только он хотел исполнить свое намерение, как в дверь его комнаты постучали.

– Войдите! – ответил Артемий, быстро отскакивая от ок-

на, будучи уверенным, что это или «дядя» – капрал или кто-нибудь из полковых пришел навестить его.

Но дверь отворилась, и на ее пороге вместо капрала появилась тоже знакомая Артемию, хотя и сильно изменившаяся фигура Торичиоли.

– Вы узнаете меня? – проговорил он.

Артемий сейчас узнал итальянца, хотя тот сильно опустился, похудел; а главное – теперь его глаза беспрестанно перебегали с одного предмета на другой, как бы боясь встретиться взгляд человека, с которым он говорил.

Артемий много-много раз в мечтах перебирал случаи, при которых он имел бы возможность получить хоть какое-нибудь сведение об Ольге, и мечты эти были иногда очень сложны и фантастичны, но никогда ему не приходило в голову, что он может встретиться с Торичиоли. Он как-то в этих мечтах совершенно забыл об итальянце.

Но теперь, когда тот стоял пред ним, сумасшедшие надежды зашевелились в душе Артемия. Ему, испытавшему так недавно удачу, увенчанную блестящим образом, уже казалось, что чудеса счастья непрерывно посыплются на его долю (так всегда бывает) и что ничего немислимого нет: Ольга вспомнила о нем, упростила отца, князь простил их, согласен на их брак и послал Торичиоли разыскивать его.

– Вы... ко мне... сюда? – задыхаясь от волнения, заговорил Артемий, протягивая обе руки навстречу гостю.

Торичиоли, видимо, будучи тронут его радостью и при-

нимая ее на свой личный счет, с грустной улыбкой покачал головой.

– Ну, идите же сюда, садитесь! – продолжал Артемий, все еще радуясь и блестя глазами.

Торичиоли вошел неуверенно, как человек, привыкший к отказу, к недружелюбию, будто не веря, что его посещение может быть кому-нибудь приятно.

Артемий удивленно посмотрел на него, тут только замечая, до чего изменился старый его знакомый.

– Что с вами?.. Вы больны были?.. Вы теперь больны? – спросил он.

– Ах, что со мною, и не спрашивайте! – ответил Торичиоли.

«И голос изменился как!» – с новым удивлением подумал Артемий.

– Да и вы сильно изменились, – сказал итальянец.

– Да... я болен... но это ничего... Вы из Проскурова, вы от князя... вы давно уехали, долго искали меня?..

Торичиоли вздохнул.

– Я уехал из Проскурова почти вскоре после вашего отъезда, а потом ни разу не возвращался туда. Я был далеко.

Артемий неожиданно точно упал на землю с неба, куда, было, занесли его вдруг возникшие надежды.

– Значит, вы... ничего... не можете сообщить мне?.. Что княжна... что там все?.. – упавшим голосом произнес он, не сознавая хорошенько того, что говорит.

Торичиоли опустил на стул и ответил:

– Я ничего решительно не знаю о них; когда я уезжал, княжна была еще больна. Я думал, напротив, что вы имеете какие-нибудь сведения, и зашел к вам узнать.

Но по той неестественности, с которою итальянец сказал это, видно было, что пришел он вовсе не для того, чтобы узнать о Проскурове, о котором, видимо, и думать забыл во-все. Он сам заметил это и замолчал.

Артемию стало и обидно, и стыдно самому пред собою, зачем он вдруг так обрадовался сначала, чтобы еще более внезапно быть разочарованному.

«И с чего это я взял, с чего взял?» – мысленно повторял он себе, глядя уже на итальянца, как на совсем чужого человека.

– Ах, если бы вы знали, как вы сейчас чуть не сделали меня абсолютно счастливым! – начал тот, и в голосе его слышалась уже искренность. – Я думал, что это вы мне обрадовались так. Послушайте: я вчера случайно заговорил с одним из русских солдат, спросил его – не знает ли он что-нибудь о вас. Это оказался солдат вашего полка, и он показал мне, где вы живете. Я сегодня шел к вам; я думал, ждал, что авось хоть вы, по старому знакомству, здесь, на чужой стороне, примете меня с радостью, и в первую минуту я думал, что не ошибся; но теперь вижу, что вы думали: не привез ли я вам каких-нибудь известий, и готовы были обрадоваться им, а не мне.

Краска покрыла щеки Артемия. Он вовсе не хотел оби-

деть итальянца, а между тем его разочарование было слишком сильно, чтобы он мог скрыть его, и ему стало жаль Торичиоли.

– Нет, что же... – замялся он, не зная, что ответить. – А вы, видно, после Проскурова много потерпели... испытали тяжелого...

Торичиоли быстро поднял голову и произнес:

– Неужели вы не знаете, как тяжело быть одному?

До этой минуты Артемий все еще смотрел на Торичиоли так, как привыкают люди смотреть на кого-нибудь с самого детства. Артемий почти с тех пор, как начинал себя помнить, помнил «ученого» итальянца, именно как ученого, имевшего свои определенные занятия в доме князя, чистого, довольно аккуратного и всегда одинакового. И вдруг теперь, словно новость, открылась ему, что ведь и Торичиоли – не машина, а человек, способный чувствовать совершенно так же, как сам он, Артемий, и еще более несчастный, чем он, потому что впереди у него не было ничего – ни надежды, ни желаний. И уже совершенно другим голосом, голосом, в котором звучало участие, Артемий спросил:

– А вы давно в Кенигсберге? Как же вы попали сюда?..

– О, как я попал сюда – это еще ничего, но я не знаю, как я выберусь отсюда! Однако я, кажется, помешал вам обедать? – добавил вдруг Торичиоли, кивнув на поставленные на стол суп и жареную говядину, к которым Артемий не при­трагивался.

– Нет, мне не хочется, – ответил Проскуровский. – А может быть, я могу предложить вам?

Торичиоли согласился так быстро, как это может сделать только человек очень голодный. Он придвинул к себе тарелку, налил суп и начал есть не только с удовольствием, но почти с жадностью.

– Ну, как я рад все-таки, – заговорил он, вдруг повеселев и чуть ли не одновременно поднося ко рту одною рукою ложку с супом, а другою – хлеб, – как я рад, что нашел вас! А то никого, ни души... Вы говорите, что нездоровы, но это пройдет, о, это пройдет!

– Но как же вы попали в Кенигсберг? – опять переспросил Артемий.

Тарелка с супом быстро опустела.

– Как я попал сюда?

– Разве у вас вышли неприятности с князем? Как же он отпустил вас после стольких лет службы?..

– Да, и неприятности были... Вообще у меня пошло все вверх дном после того, как... Как явился в Проскурово этот доктор... Да... Это до вашего еще отъезда было... Впрочем, вы, вероятно, не видели его.

Торичиоли замялся, не зная, как сказать о том, что Артемий был под замком в то время.

Но тот сразу понял все. Он узнал уже, что итальянец называет «доктором» того самого человека, имя которого было неизвестно Артемию, но тайную, повесть любви которого и

участие в ней Торичиоли он знал.

– Ну? – сказал Артемий с нескрываемым интересом.

– Говорить все? – вдруг спросил Торичиоли, положив ложку.

Артемий смотрел на него добрым, соболезнующим взглядом.

«Неужели долгие годы вполне безупречной жизни не могут изгладить сделанный когда-то промах? – думал он, глядя на Торичиоли. И странно: чем дольше он глядел на этого человека, тем жалче казался ему тот, и помимо всего он чувствовал, что испытывает теперь к итальянцу какую-то особенную жалость, – Ничего нет мудреного – я знаю его с детства», – заключил Артемий.

Торичиоли решительно качнул головой.

– Да, я расскажу вам все... Слушайте! Вы думаете, я даром жил у князя Проскурова, в его имении, именно у этого князя, а не у другого?... Нет, тут длинная, запутанная история... Но я вам расскажу ее... Вам расскажу, потому что молчать больше не в силах...

«Я знаю ее!» – чуть не сорвалось у Артемия.

Торичиоли приостановился, как бы ожидая, что юноша хочет сказать ему что-то, но тот продолжал хранить молчание.

– Вот, видите ли, я должен вам сказать, что в Генуе, в Италии, я любил одну русскую... Нет, это слишком тяжело, – перебил сам себя Торичиоли. – Довольно вам знать, что и

она, и я должны были расстаться... Она не любила меня... Мы разъехались. Но я узнал, что у нее родился ребенок, мой ребенок... мальчик или девочка, – я не знал и до сих пор не знаю... Но, странное дело, я люблю этого ребенка, люблю больше всего на свете... Да это немудрено: кроме него, у меня никого нет; родители мои отказались от меня, о них я не мог иметь никаких сведений. По всем вероятностям, они умерли. Родственников я никогда не знал. Женщина, которую я любил, не любила меня...

«Да, а меня когда-то любили», – с болью в сердце мелькнуло у Артемия в голове.

– Но я, – продолжал Торичиоли, – поехал отыскивать ее для того, чтобы увидеть, узнать своего ребенка... Когда я явился в Россию, то после долгих хлопот нашел мать моего ребенка оставившею свет: она постриглась в монастыре. И знаете, каков этот монастырь был? – Торичиоли нагнулся почти к самому уху Артемия, боясь, что стены услышат его слова. – Этот монастырь был тот самый, в который ездила молодая княжна Ольга так часто, тот самый, который расположен недалеко от Проскурова. Вот почему я нанялся к князю в библиотекари и вот почему я жил столько лет в Проскурове. – Торичиоли перевел дух, однако сейчас же, как бы боясь остановиться, продолжал: – Но, несмотря на то, что я был так близко от нее в течение всех этих лет, несмотря на все мои просьбы, мольбы, заклинания, письма и подсылы, она никогда не соглашалась не только сообщить мне, где находился

мой, то есть наш ребенок, но даже видеть меня не хотела, ни говорить со мною. Я видел ее раз в монастырской церкви; она прошла мимо в своем черном одеянии. После этого она прислала сказать мне, что, если я еще раз осмелюсь явиться в церковь или вообще сделаю хотя какой-нибудь ложный шаг, она обратится к императрице и меня вышлют из России. Я знал, что она была в силах добиться этого, и должен был повиноваться. Однако я надеялся, что она сжалится надо мною; но эта надежда оказалась вполне напрасною. Приходилось искать самому. Я давно сделал бы это, но для этого требовались большие деньги, а их у меня вовсе не было. Я копил свое жалованье, но это казалось каплею в море... И вдруг там, в Проскурове, явилось одно обстоятельство...

Торичиоли снова приостановился. В продолжение всего рассказа он ни разу не взглянул в лицо Артемию. Теперь он совсем опустил глаза.

Наступило молчание.

– Артемий Андреевич! – сказал вдруг Торичиоли, впервые в жизни называя так юношу. – Я, может быть, виноват пред вами, или, вернее, мог быть виноват... Тогда мне вдруг предложили сумму, при помощи которой я мог начать свои самостоятельные поиски, я чуть было не решился... Но как раз в то время приехал в Проскурово тот странный человек, во власти которого я всецело нахожусь. Я чувствую, что он может сделать все, что захочет. Он явился под другим именем, чем я знал его, и встретился со мною, как с незнако-

мым; казалось, он ничего не сделал против меня, но после его появления моя жизнь резко изменилась. С князем пошли неприятности одна за другою, я должен был оставить его дом. Но я оставил дом князя, правда, с некоторою надеждою – в день отъезда мне прислали из монастыря записку. Вот она. Я знал, что и этого было много, что большего, как бы я ни добивался, мне не сообщат.

И он достал сложенную записку и подал ее Артемию. Твердую рукою на ней было написано:

«Тот, кого Вы ищете, находится в Германии. Если захотите, то нападете на его следы».

– И вы нашли его? – спросил Артемий. Торичиоли опять отрицательно покачал головою.

– Я добрался сюда, мог существовать, пока у меня оставались еще сбережения от жалованья, потом попал в Кенигсберг, и теперь сижу здесь без ничего... Продал все, что возможно...

– Но во все те годы, что вы провели у князя, – невольно возразил Артемий, – у вас должна была образоваться порядочная сумма... Может быть, она ушла на поиски?

– Да, на поиски, – вздохнув как-то загадочно, ответил Торичиоли. – И если бы вы сегодня не накормили меня, то я был бы вторые сутки не евши.

– Неужели? – удивился Артемий. – Что же вы прямо мне не сказали? Если вам так нужны деньги, то я могу вам ссудить немного.

Вся история бедного итальянца и в особенности его признание в своем голоде, – не само признание, но вид искренности, с которою Торичиоли сделал его, сильно подействовали на Артемия, и он теперь от души желал помочь ему, чем мог. Он встал со своего места, подошел к кровати, вынул из-под подушки кису с деньгами и, раздвинув кольца, высыпал в горсть золотые монеты.

– У вас есть деньги! – заговорил Торичиоли с каким-то особенным оживлением. – У вас есть столько денег! О, дайте их мне, дайте их мне все, я вам через неделю верну в десять раз больше!

Артемию более чем удивленно взглянул на него, как бы недоумевая, шутит над ним Торичиоли, за минуту пред тем говоривший, что ему есть нечего, или просто рехнулся.

– Вы смотрите на меня и, может быть, думаете, что я с ума сошел? – заговорил тот опять. – Нет, то, что я говорю вам, верно. Вот, видите ли, мне для моего дела нужны деньги; вы понимаете, что мне нужно много денег, и достать их мне необходимо... и я ищу... Вам я скажу, если вы дадите мне теперь свое золото... при его помощи я dokonчу опыты, которые, несомненно, уже удадутся на этот раз, и тайна философского камня будет в наших руках... Понимаете?

Теперь Артемию стало ясно, на какие изыскания и поиски ушли сбережения Торичиоли.

VIII. Камень философов

«Бедный, бедный человек!» – думал Артемий, глядя на итальянца, который так и уставился жадными, разгоревшимися глазами на его золото.

– Не только думаю, но и уверен в этом, – ответил Торичиоли, улыбаясь в свою очередь, как человек, удивляющийся слепоте и неразумию другого.

Артемий снова сел к столу и положил деньги пред собою. Ему хотелось и помочь, и образумить бедного итальянца.

– Вспомните, Иосиф Александрович, сколько людей сошли на этом с ума, сколько жизней было загублено даром и потрачено труда! – начал он. – Это слишком старая штука, чтобы в наше время пойматься на нее.

У Торичиоли было готово уже возражение.

– «Слишком старая штука?» «Много потрачено труда!» Вы думаете, я не знаю этого, я ничего не читал, не изучал ничего? Нет, именно потому-то, что я знаю предыдущие ошибки, и я не могу впасть в них вновь. Я нашел истинный путь и – понимаете мое положение? – теперь еще один только опыт, еще одно усилие, и завтра я – богатейший человек в мире. Завтра мне все доступно. У меня все готово, все предвидено, лишь достать денег на этот последний опыт, который, клянусь вам, должен удался. Он не может не удался!

Артемий пристально смотрел на итальянца, невольно

удивляясь непоколебимому убеждению, с которым тот говорил.

– Вот видите ли, – продолжал Торичиоли, придвигаясь к столу и кладя на него обе руки, – прежние алхимики настоящее и истинное превращение металлов искали в разных вещах, противных самой природе металлов. Разумеется, это было сумасшествие. Одни думали найти его в человеческой крови, в птичьих яйцах, перьях; другие брали для этого ядовитых животных, третьи хотели добыть философский камень из растений и из вина при помощи его дигерировки. Все это – вздор. Действительное превращение заключается в двух веществах: и в сере (сульфуре), и в ртути. Они, соединенные вместе, составляют основное существо всех металлов, и из них, если совершить последовательно и аккуратно шесть степеней работы, выйдет чистое золото.

– Меркурий – это ртуть? – спросил Артемий, который вследствие ли своей болезненной слабости и впечатлительности или целого ряда волнений, испытанных сегодня и до, и после прихода Торичиоли, чувствовал, что не может относиться к его словам с тем хладнокровным равнодушием, как вначале.

– Да, – подхватил итальянец, – Меркурий есть дух и тело. Никакой металл нельзя привести в солнце, – так мы называем золото, – без помощи Меркурия, но сам Меркурий можно привести и в золото, и в серебро без помощи других металлов; однако все дело зависит от чистоты работы... и чтобы в

ней не было ошибки...

– И вы думаете, что ваша работа безошибочна?

– Я довел ее до шестой, последней, ступени. Я говорю вам: в том-то и дело, что нужно еще одно усилие – понимаете? – последнее. Если вы придете ко мне, я покажу вам все и объясню подробности. Дайте только мне возможность закончить, и тогда вы тоже будете обладать великою тайной.

Артемий молчал.

– Артемий Андреевич! – в голосе Торичиоли послышались мольба и упрек, и настойчивое требование. – Артемий Андреевич! Подумайте только! Чего вам недостает до полного счастья в жизни? Вы любите девушку. Я знаю это и жалею вас. Таким, как вы теперь, можете ли вы рассчитывать на то, чтобы сбылись ваши та иные надежды и желания? Нет, и тысячу раз нет, потому что за вас не отдадут княжну. Ну, а представьте себе, если вы будете обладать несметными сокровищами, если золото – сыпьте его горстями – никогда не будет переводиться у вас. Тогда вам все станет доступно. Вы можете по болезни, – с деньгами все возможно, – освободиться от военной службы, уехать в Италию; там у нас можно купить хоть графский титул, и вы явитесь в Россию блестящим эчеленца – человеком, равноправным князю Проскурову.

Артемий глубоко вздохнул. Перспектива, которую рисовал Торичиоли, была слишком заманчива. Она могла поколебать кого угодно.

«А что если и впрямь попробовать? – подумал он. – Что ж, куда мне эти деньги?.. А вдруг и в самом деле!»

– Вы подумайте! – подхватил Торичиоли, заметив колебание Артемия. – Подумайте только, я хочу вас сделать счастливым человеком в мире, а вы сомневаетесь. Я помимо вас, может быть, найду возможность кончить свои опыты, и тогда... Что вы будете чувствовать тогда? Пожалев эти несчастные деньги теперь, вы теряете в будущем свое счастье.

– Я денег не жалею. Что ж деньги... – проговорил Артемий.

– Ну, так тогда дайте мне их! Я вам говорю, что ваше счастье зависит теперь от вас самих, и если вы упустите случай...

Артемий встал со своего места и заходил по комнате. Мысли его беспорядочно бежали в голове одна за другою.

«Неужели действительно было возможно то, что сулил Торичиоли? Ведь это – сумасшествие. Но вместе с тем разве даром столько людей, и в числе их были люди умные, ученые, занимались этим открытием? И вдруг в самом деле секрет в руках итальянца?»

– Да, возьмите! – решил вслух Артемий. – Возьмите эти деньги, мне не жаль их!

Торичиоли затрясся от радости.

– О! – воскликнул он. – Я не благодарю вас, потому что завтра, самое большое – послезавтра вам придется благодарить меня, вы это увидите, вы это увидите...

И, говоря это, итальянец поспешно, словно боясь, что Артемий раздумает и изменит свое решение, забрал деньги, схватил шляпу и выбежал из комнаты.

После его ухода молодой человек долго стоял неподвижно, напрасно силясь привести в порядок свои спутанные мысли. Прежде всего его поражала одна странность: во второй раз в жизни, в самый тот момент, когда он решался на отчаянный шаг – как тогда в лесу и как теперь, когда он подошел к окну, чтобы открыть его и высунуться на холодный воздух, – пред ним явилась неожиданная помеха, и эта помеха была связана с историею Торичиоли. Это было странно. Впрочем, он не останавливался долго на этой странности. Артемий не мог понять, что ни у кого не работает воображение так, как у влюбленных. А сам он был влюблен и, только что натолкнувшись на новый путь мечтаний, неудержимо понесся своим воображением, которому, чтобы разыгаться, нужно было лишь прицепиться к чему-нибудь. А тут было на чем фантазировать. А вдруг, и правда, он будет обладать такими сокровищами, что целый мир можно купить на них? Ведь это – могущество, огромное могущество... да, тогда все возможно... И как этот итальянец вдруг так хорошо придумал купить графский титул, явиться в Россию!.. Нет, быть этого не может... А отчего не может быть... Ведь спас же он знамя... И все его полюбили и все любят его. И Артемий любил себя в эту минуту и свою Ольгу, и в его мечтах она любила его, и они были счастливы.

Навестивший вслед за тем Артемия доктор нашел, что его здоровье значительно улучшилось, и велел ему принять еще последнего лекарства, которому он, разумеется, приписал перемену здоровья своего пациента, не подозревая, что больному стало лучше от того, что изменилось его нравственное состояние. Артемий действительно повеселел потому, что ему была дана теперь надежда, хотя, правда, безумная, почти сумасшедшая, но все-таки надежда.

На другой день он ждал Торичиоли с нетерпением. Но тот не явился. Прошел еще день, а итальянец не приходил. Артемий начал беспокоиться. Он поздно вспомнил о том, что не спросил у Торичиоли, где того можно найти. Теперь приходилось ждать – и только. Это ожидание становилось несносным. Наконец на третий день, утром, принесли записку, в которой итальянец сообщал свой адрес и говорил, что все идет превосходно и чтобы Артемий не беспокоился.

Молодой человек упросил доктора выпустить его и в первый же свой выход, обманув «дядю» – капрала, который хотел прийти, чтобы проводить его на прогулке, отправился один к Торичиоли.

Когда он попал к итальянцу, когда тот показал свою комнату, превращенную в лабораторию, показал ему результаты первых опытов, развернул книги и, все время рассказывая, читал из них выдержки, когда наконец пред глазами Артемия воочию затеплился огонек под ретортой, в которой должно было совершиться таинственное превращение, мыс-

ли его при виде всего этого окончательно спутались, и он оказался побежденным, совсем перешедшим на сторону алхимии.

С этих пор, сжигаемый лихорадкой нетерпения, Артемий каждый день спешил в лабораторию, помогал, чем мог, Торичиоли, толлок, растирал и слушал уже слова итальянца, как словно оракула.

Удивительно, откуда брались у него силы, но он чувствовал себя уже бодрым и почти здоровым.

Особенное действие произвели на него книги. Там казалось все так правдоподобно, ясно изложено, хотя и очень туманным языком, но все-таки ясно, если только найти ключ к пониманию. Артемий с нескольких слов Торичиоли уже считал себя обладателем этого понимания.

Первых денег, данных им для опытов, разумеется, не хватило. Шестая степень работы оказалась самою сложною. Для нее понадобился особенный сосуд и еще, и еще расходы. Артемий (не прошло и десяти дней занятий его алхимией) снова обратился с просьбою о выдаче ему из его денег пятидесяти рублей. Но теперь это уже не смущало его. Торичиоли поддерживал в нем, как огонь под своей ретортой, уверенность и надежду на золотые горы в будущем.

Наступил конец октября. Снег еще не выпадал, но становилось уже холодно. Артемий шел вечером домой от Торичиоли, кутаясь в свой теплый плащ и будучи тревожим тем же чувством ожидания, которое жило в нем все послед-

нее время, ожиданием, что, может быть, завтра появится в реторте обещанный книгами синий дымок, так нетерпеливо ожидаемый и долженствующий служить признаком окончания работы.

Артемий сам не заметил, как быстро заразился своим увлечением и какие глубокие корни оно пускало в нем с каждым днем, с каждым часом.

Вернувшись домой, он застал Зонненширм, против обыкновения, не спящую. В ее комнате горел огонь. Она, очевидно, слышала, как он пришел, и сейчас же постучала к нему в дверь.

– Я вас ждала, – ответила она на вопрос Артемия, отчего она не легла и здорова ли она. – О, да, я совсем здорова, я вас только ждала!

– Что же, есть какие-нибудь новости?

– О, нет! Господин капрал заходили и очень жалели, что вас опять дома нет... Но главное: вам письмо принесли.

– Какое письмо? Кто принес? Господин капрал принес?

– О, нет господин капрал были раньше, а письмо принес совсем другой человек! Он был совсем закрыт своим плащом, и лица его я не видела.

– Где же это письмо?

Вот оно, вот оно, – и Зонненширм достала из кармана передника сложенную в письмо бумагу.

Артемий прочел адрес, написанный совершенно незнакомой рукою. Тем не менее это был его адрес, и полное его имя

и даже воинское звание были обозначены совершенно ясно на немецком языке. Письмо было запечатано странною печатью, на которой виднелось кольцо, образованное из змеи, кусающей свой хвост, а в середине кольца была пентаграмма с обращенною кверху вершиной.

Зонненширм, отдав письмо, заявила, что пойдет теперь спать, потому что ей это очень хочется, и ушла.

«От кого бы это могло быть!» – подумал Артемий, распечатывая письмо.

Оно заключало в себе всего несколько строк на немецком языке.

«Если хотите увидеться с человеком, с которым Вы беседовали некоторое время тому назад в Проскуровском лесу, то будьте 3 (14) будущего ноября, к восьми часам вечера, по следующему адресу».

Вместо адреса на письме был изображен план улицы, где жил Артемий, и от его дома стрелкою показан путь, куда ему следовало идти.

Вместо подписи стояли три латинские буквы: «С. S.-G.».

IX. Третьего ноября

«Если хотите видеть человека, с которым Вы беседовали...» – повторял себе Артемий, не сомневаясь в том, что он, безусловно, непременно хочет увидеть этого человека, и радуясь, что может увидеть его.

Помимо того, что это свидание само по себе было заманчивым, но была еще возможность узнать, возможно, что-нибудь об Ольге. Этот человек был тогда в Проскурове, значит, он мог быть там и впоследствии, и недавно, пожалуй, очень недавно.

«Не нужно увлекаться... не нужно увлекаться», – тут же останавливал себя Артемий, помня появление Торичиоли.

Во всяком случае, письмо не возбудило в Артемии никаких подозрений, ни сомнений, что это, может быть, ловушка; он сразу решил, что все на самом деле так, как оно есть... Его таинственный покровитель (в душе почему-то незнакомец представлялся Артемию таинственным покровителем) просто приехал в Кенигсберг, узнал так же, как Торичиоли, где он живет, и прислал ему приглашение. Проще этого быть ничего не могло.

Конечно, вернее всего, что он только что приехал в Кенигсберг, потому что, если бы он жил здесь давно, то не назначил бы прийти Артемию только через несколько дней – 3 ноября. Да, он приехал, но откуда? Очевидно, из России,

потому что сообщение с Германией было прервано неприятельскими войсками, непосредственно оттуда почти невозможно было попасть. Значит, он явился из России и мог быть в Проскурове... и был там, без сомнения, был, потому что монастырь, где пострижена эта русская, которая была когда-то дорога и ему, и Торичиоли, расположен возле.

Все эти соображения сильно занимали Артемия. К тому же доктор посадил его опять дня на три дома безвыходно, найдя, что ему еще нельзя бывать так часто на воздухе, пока он совсем не оправится. И Артемий послушался его. Он покорно высидел три дня дома, взяв только с Торичиоли обещание, что тот пришлет ему сказать если будут какие-нибудь новости в реторте.

Однако новостей никаких не оказалось, и Торичиоли ничего не присылал.

Когда доктор выпустил снова Артемия, тот первым делом отправился не к итальянцу, как этого следовало ожидать, а туда, куда показывала стрелка на плане в письме. Ему хотелось сначала хоть посмотреть дом, куда его звали, и он пошел, питая, однако, тайную надежду, что вдруг по дороге или у двери как-нибудь случайно может встретиться со своим знакомцем.

Дом, который отыскивал теперь Артемий, находился на острове, посреди Прегеля, в самой старинной части Кенигсберга – Кнейпгофе, и был одним из узеньких семиэтажных домов, которые вполне сохраняли на себе средневеко-

вый характер. Найти его было нетрудно по ясному обозначению стрелки на плане. Нужно было миновать собор, пройти здания университета и свернуть на улицу, стесненную, как тисками, строгими каменными домами-старцами под остроконечными кровлями, похожими на поднятый капюшон капуцина. Все в этом квартале дышало преданием и стариной.

Артемий нашел дом и довольно долго оставался пред ним, ожидая, не выйдет ли кто-нибудь или не войдет ли в него. Но маленькая дубовая дверь оставалась безмолвно запертой и никакого признака обитаемости не было заметно в доме. Любопытство Артемия было задето. Он решил постараться навести какие-нибудь справки.

На противоположной стороне улицы, под качающеюся ржавою железной вывеской, находилась лавочка. Артемий обратился туда. Толстый лавочник в бумажном колпаке оказался очень словоохотливым добрым немцем и готов был рассказать не утаивая все, что знал, но, к сожалению, его сведения были довольно ограничены. Он мог сообщить лишь, что этот дом принадлежит доктору Шенингу, что сам доктор не живет в Кенигсберге и бывает тут очень редко и что в настоящее время – он это знает наверное – доктор еще не приезжал.

– Но есть все-таки кто-нибудь, кто живет в этом доме? Ведь не пустой же он стоит все время? – спросил Артемий.

Лавочник опять очень обстоятельно объяснил, что, насколько ему известно, в доме живет старый слуга, который

почти никогда не выходит – разве в церковь по праздникам – и который, по всему судя, должен быть очень почтенным человеком, хотя и не покупает ничего в его лавке; впрочем, в других лавках он тоже никогда не покупает, знакомства ни с кем не заводит, у себя никого не принимает и сам никуда не ходит, даже в пивной погребок, где собирается лучшее общество околотка и ведется всегда очень интересная беседа о политике. Больше лавочник ничего не знал, а потому и сообщить ничего не мог.

Все это очень мало подвинуло Артемия вперед.

«Да и Торичиоли называл его тоже доктором», – соображал он, возвращаясь домой, и это все-таки немного успокоило его.

О получении письма он никому не сказал – ни капралу, ни Торичиоли. Однако итальянец заметил, что его молодой ученик как будто охладел к их опытам алхимии, но думал, что это временно и что причиной этому нездоровье Артемия. Тот между тем с нетерпением ждал, когда наступит 3 ноября.

Накануне он опять заходил в лавочку узнать, не приехал ли доктор, но ничего положительного лавочник не мог сказать.

Наконец ожидаемый день наступил, и Артемий уже задолго до восьми часов следил за стрелками на большом циферблате часов, висевших в его комнате. Ему казалось, что они двигались очень медленно. Было еще четверть восьмого, ко-

гда Артемий решил, что пора идти, потому что в письме было сказано не «в восемь часов», а к восьми (он знал уже наизусть это письмо). Он закутался в свой плащ и необыкновенно скорыми шагами, чуть ли не бегом, добрался по знакомой уже дороге до дома доктора Шенинга. Долго впоследствии помнил Артемий то охватившее его вдруг чувство, с которым он, с сильно бьющимся сердцем, брался за молоток у маленькой дубовой двери. Она отворилась совсем без шума, чего вовсе нельзя было ожидать, судя по ее ржавым, на первый взгляд, петлям. На пороге явилась длинная, худая фигура старика-слуги, о котором рассказывал лавочник. Слуга держал в руке, приподняв ее, масляную лампу, освещавшую его худое, продолговатое лицо. Карие, живые глаза старика так и впились, казалось, в Артемия.

– Дома... можно видеть? – спросил Артемий, избегая однако называть имя того, кого ему нужно, потому что не был уверен в нем.

– Вы пришли к доктору Шенингу? – спросили его, именно спросили, потому что голос старика казался так тих, словно кто-то другой и где-то далеко спрашивал за него.

– Да... то есть я не знаю, – замялся опять Артемий. – У меня вот письмо... – и он вынул письмо из кармана.

Старик бегло глянул на печать.

– Пойдемте! – сказал он и повел Артемия вверх по каменной лестнице.

Дверь как бы сама собою захлопнулась за ними.

И вдруг, когда захлопнулась эта тяжелая дверь, Артемию стало жутко, и сердце его сжалось. Несмотря на то, что они шли не вниз, а вверх по лестнице, ему казалось, что они точно спускаются в подземелье. Воздух был сух и пропитан каким-то особенным запахом, не похожим на курение, но несмотря на это скорее приятным, чем нет.

«Спросить его или не спросить?» – думал Артемий, медленно перебирая ступени за стариком и чувствуя неудержимое желание заговорить.

– А что доктор, приехал? – решился спросить он.

– Графа еще нет в Кенигсберге, – вдруг ответил старик.

Артемиий остановился.

– Какого графа? – невольно вырвалось у него. Он не знал теперь, идти ли ему дальше.

Старик не спеша обернулся к нему, все по-прежнему высоко держа свою лампу, и Артемий опять услышал его сдавленный, тихий голос:

– Вы в доме графа Сен-Жермена. Для тех, кто там, – старик показал на улице, – граф – доктор Шенинг; для тех, кто может войти сюда, он – граф Сен-Жермен.

Артемиий понял теперь значение латинских букв «C. S. G.», стоявших на подписи письма: «Comte Saint-Germain».

«Но как же я пойду дальше, если его еще нет в Кенигсберге?» – сообразил он.

– Граф придет в девять часов, – ответил старик, как бы прочитав его мысли, и, миновав еще несколько ступеней, от-

крыл дверь в освещенную комнату, где послышался сдержанный говор.

«Там кто-то есть!» – удивился Артемий и мимо остановившегося старика смело вошел в комнату.

В этой убежавшей кверху своими готическими сводами комнате, освещенной семью восковыми свечами в стоявшем на столе канделябре, вокруг этого стола на старинных тонких деревянных стульях сидели несколько молодых русских военных.

Этого Артемий никак уже не ожидал. Он готовился встретить здесь все, что угодно, но только не те русские лица и русские мундиры, которые увидел теперь здесь.

И ошеломленный, ничего не понимающий Артемий остановился в нерешительности, подойти ему к столу или нет. Он был сержант, остальные – офицеры.

Последние замолкли при его появлении. Они, казалось, были удивлены не меньше, чем он. Наконец один из них встал, подошел к Артемию и, взяв его за локоть, подвел к столу.

– Это – тот самый сержант седьмой роты Тарасовского полка, который спас полковое знамя, – проговорил он улыбаясь, причем так и сверкнули жемчугом его ровные, белые зубы, и, потянув слегка за локоть Артемия, заставил его тоже сесть.

«Где я видел его?» – вспоминал Артемий, вглядываясь в красивое, с высоким, умным лбом и ясными глазами, лицо

офицера.

Осанистая фигура последнего дышала здоровьем и силою. Ее, казалось, увидав раз, трудно было забыть.

И Артемий сейчас же вспомнил, что это был тот артиллерийский офицер, который подошел к нему с приветствием на полковом дворе, когда ему посчастливилось вернуть знамя.

Кроме артиллериста, к которому Артемий почувствовал уже безграничную и безотчетную симпатию, он знал из всех присутствующих, и то только по фамилии, одного Пассека, бывшего начальника «дяди» – капрала, который относился всегда к нему с крайним уважением. Остальные все были незнакомые.

Артемий скромно присел к столу. Офицеры заговорили снова.

Из их разговора сейчас же стало ясно, что они находились в почти таком же положении, как Артемий, то есть известно им было тут немногим больше, чем ему.

– Да, и никак я не ожидал, – заговорил Пассек (его голос был удивительно внятн и звучал раздельно-приятно), – чтобы доктор Шенинг, с которым мне приходилось так часто беседовать в прошлый его приезд сюда, оказался знаменитым графом Сен-Жерменом.

«А-а! – подумал Артемий. – Он – знаменитый, вот как!»

И ему страстно хотелось узнать поскорее, чем был знаменит этот странный человек, у которого они все сидели пока в гостях без хозяина, но он не решился спросить.

– А ты бывал у него здесь? – обратился к Пассеку артиллерийский офицер.

– Нет, собственно, у него в доме я в первый раз, потому-то я и говорю, что никак не ожидал: только на лестнице сейчас этот старик с тихим голосом сказал мне, что я в доме графа Сен-Жермена.

«Вот как и мне тоже!» – опять подумал Артемий.

– И мне тоже, – ответил артиллерист, – только сегодня, когда я пришел сюда, этот старик сказал, что я в доме графа Сен-Жермена, а не доктора Шенинга, как я думал прежде.

– А ты как же познакомился с ним?

– Ах, это – целая история! Я только знаю, что я многим обязан этому человеку, почти жизнью обязан.

– Ты, однако, никогда не говорил об этом, – заметил Пассек.

– И никогда не скажу: довольно того, что говорю сейчас, что, чего бы он ни потребовал от меня, я, кажется, все сделаю для него.

– И я, и я все сделаю, – заговорил, вдруг воодушевляясь, еще один из присутствующих. – Что ж? Я могу рассказать, раз мы все здесь соединены одним и тем же человеком, одинаково для нас симпатичным. В прошлом году, – мы стояли тоже здесь, в Кенигсберге, – скучища была страшная – делать нечего, а по-немецки я только теперь кое-как говорить научился, а тогда просто деваться было некуда – все свои да свои полковые. Повадились я тогда в один дом ходить в кости

играть; один из товарищей по полку свел. В игорный дом, должно быть, мы с ним попали. Начал я, разумеется, по маленькой, потому больше и больше. Сначала выигрывал, а как только сделал ставку покрупнее, сорвали ее у меня; я еще – и еще сорвали. А потом и пошло. Все деньги, какие были у меня, проиграл – вещи продавать начал. Нет счастья, да и все тут. Как на грех, пришлось мне заменить казначея в полку... Ну, тут рискнул я из денежного ящика попробовать, рискнул и ахнул, что я наделал. «Ну, – думаю, – все равно пропадать – авось отыграюсь». Отыгрался, как же! Мне на другой день кассу сдавать, а в ней всего одна сотня осталась. Никогда в жизни не забуду, что я тогда пережил, одно оставалось – зарядить пистолет, другого выхода не было. «Только дай, – думаю, – последнюю уж сотню снесу», – и понес. Я уже знал, что проиграю это, так и шел с тем, и надежды даже на выигрыш не имел. Ну, разумеется, и последняя сотня к остальным пошла. Вышел я на улицу, чувствую – лица на мне нет; в висках стучит, голова кружится... Домой возвращаться и думать нечего... заряженный пистолет со мною...

Ну, тут я в первый раз и встретился с доктором, то есть с графом... Он следил за мной, подошел, это на улице-то, заговорил, – Бог его знает, откуда все уже известно ему было, – и взял с меня слово, что я никогда в жизни больше, если останусь в живых, играть не буду. А как я мог в живых остаться? «Денег, – говорю, – ни от кого не возьму, ни от вас, ни от кого, чтоб за меня другой внес в кассу, а самому мне

платить нечем». Однако он ничего не ответил, а повел меня назад в этот игорный дом. Там игра в полном разгаре шла, словно никто и не заметил моей-то гибели. Золото грудями на столах лежит, дым от трубок – не продохнешь; свечи догорели и воска на них натекло. А лица кругом красные, изуродованные тем особенным выражением, когда человек в азарт войдет, и глаза у него кровью нальются, – словно все, как будто я и не проигрывал, и не уходил вовсе... Сели мы. Я смотрю, что делать будет мой Шенинг. Сидит он молча, а глаза такие страшные-страшные, и все на стол смотрит. Как увидел я опять, как это золото, звеня, из рук в руки переходит, так сердце у меня захолонуло. «Господи, – думаю, – и зачем я вернулся, поверил какому-то встречному? Ничем он мне не поможет. А вот поставить бы...» Оглянулся, а встречный-то мой уже не на стол, а на меня глядит, и глаза все такие же, – кажется, в самую душу смотрят... Вспомнил я слово свое, и стало мне легче... Так выдержал Шенинг меня до конца вечера. Трудно мне было побороть себя, однако я совладал, начал трезветь. Банкомет ко мне раза два обратился – не желаю ли я поставить? – я промолчал. Только вижу, один от стола ушел – проиграл, другой... Было тут наших немного, остальные – немцы, молодые все, студенты больше... Все проиграли... Я-то уж знал по себе, каково им теперь. Наконец почти все ушли – остались мы двое, банкомет да еще двое игроков. Мне со стороны заметно уже было, что они ни в чью сыграли. Банкомет опять спрашивает:

«Что ж, счастья не хотите попытать? Может быть, отыграетесь?» Я смотрю на Шенинга. А он уже раньше у меня спросил, сколько я проиграл. Подошел он к столу: «Идет, – говорит, – восемьсот шестьдесят талеров». Банкомет рот разинул, попросил деньги на стол. Шенинг, не поморщившись, вынул деньги, однако заставил и банкомета положить. Я сижу чуть живой, уж мне и свет не мил – только свой пистолет крепче сжимаю. Кинул Шенинг кости – вышло четыре и три. Семь очков – шансы есть. Банкомет побледнел слегка, когда взял кости в руки, бросил их в стаканчик – одна мимо упала, он ее поднял, опять положил – перевернул стакан... смотрю: шесть и пять – одиннадцать... И все у меня спуталось, в глазах потемнело... Вдруг слышу удар – Шенинг по костям кулаком ударил и расколол одну. Такой силы я в жизни не видывал... раскололась кость – а внутри ее свинцовый уголок... Это меня на фальшивых костях обыграли... В первую минуту остолбенели все, потом и банкомет, и эти два игрока, оставшиеся, кинулись к Шенингу... Я только тогда понял, что эти игроки – все одна компания. Ну, Шенинг так отшвырнул их от себя, что больше не полезли. Велел он мне банкометовы деньги взять, сказав: «Они – ваши, потому что были у вас украдены», – а своей ставки со стола не тронул... Так мы и ушли...

Артемий слушал и невольно вспоминал свою историю, вспоминал, как сам тоже был спасен, но только спасен, правда, для того, чтобы продолжились его мучения.

Когда рассказчик закончил, заговорили другие, и у всех у них была своя история, и всякий из них был так или иначе обязан графу Сен-Жермену, который являлся к ним под именем доктора Шенинга. Оказалось также, что все за несколько дней пред тем, подобно Артемию, получили такие же, как и он, письма – прийти к восьми часам, и каждому старик-слуга сообщил, что в девять приедет граф, которого еще нет в Кенигсберге.

В комнате, в простенке между двумя окнами, висели устроенные в виде фигурной готической башни часы. Их узорные стрелки подходили уже к назначенному сроку.

– Однако скоро девять, – сказал Пассек, – не знаю, приедет ли граф.

– Да и вообще, если его нет в Кенигсберге, то довольно странно назначать так время, – заметил кто-то. – Тут и в дне можно ошибиться, когда именно приедешь, а уж в часе и по-давно. Шутка ли сказать, из Парижа сюда приехать!

– А разве он в Париже?

– Кто? Граф Сен-Жермен? Конечно! Он там играет видную роль в обществе.

– Ну, тогда немислимо, чтобы он явился сегодня – ведь ему нужно через неприятельскую армию проехать, потом к нам... Нет, это почти невозможно... Нам придется разойтись сегодня... вы увидите...

– Да, но этот человек полон загадочности, это именно в его духе, – сказал опять Пассек, – и мне кажется, если он

сказал...

– Да, но ведь против обстоятельств не пойдешь, нужно им подчиниться.

– Ну, в этом отношении, кажется, не он подчиняется обстоятельствам, а они – ему...

В это время вошел старый слуга поправить огонь, приветливо теплившийся в большом камине.

– Спросить разве его? – продолжал Пассек, кивнув на присевшего у камина слугу.

– Разве он скажет? Он имеет вид какой-то машины и, кажется, далеко не разговорчив. Да все равно, ведь немислимо приехать... смотрите, пять минут осталось только...

Они говорили по-русски, уверенные, что копошившийся у огня человек не понимает их.

– Граф будет ровно в девять часов, – ответил вдруг он, не поднимаясь, хотя и с трудом, но на правильном русском языке.

Все переглянулись и притихли. Один только старый слуга продолжал по-прежнему возиться у камина, как будто дело вовсе не касалось его и вовсе не он произнес свою русскую фразу.

Мерно и гулко раздался первый удар часов – и с этим первым ударом послышались на улице грохот подъехавшей на полных рысях кареты, а потом стук молотка в наружную дверь.

«Быть не может!» – мелькнуло у всех разом.

Но старик-слуга спокойно поднялся и, не ускоряя шага, пошел открывать дверь.

Только что смолкли мерные удары часов, — на пороге комнаты стоял граф Сен-Жермен.

Х. Выздоровление

Никогда в последнее время не чувствовал себя Артемий так хорошо, как после вечера, проведенного у графа Сен-Жермена. Он вернулся домой почти другим человеком. И главное, ничего не произошло особенного в этот знаменательный для Артемия вечер. Они сидели и разговаривали просто, как приятели, давно знавшие друг друга, хотя многие здесь встретились в первый раз. Граф очень умно распорядился, пригласив их раньше своего приезда: пока они сидели одни и говорили о нем, они успели уже настолько сблизиться, что, когда он приехал, не могло явиться того неестественного напряженного состояния, которое бывает обыкновенно у людей пред незнакомыми им до тех пор гостями. Несмотря на свою вероятную усталость после дороги граф был так же спокоен и весел, как будто ездил лишь кататься по городу. Впрочем, он ничего не рассказывал о себе – ни откуда, ни как он пробрался в Кенигсберг. Кто-то мельком спросил его об этом, он сделал вид, что не слышал. Граф был очень приветливым, милым хозяином, принявшим своих гостей с особенною вежливостью, которою отличались люди, если не выросшие, то по крайней мере вполне обжившиеся в условиях парижского двора. Он угостил их простым, но вкусным ужином, накрытым в конце вечера на том же столе, вокруг которого они сидели. И они разошлись сытые, довольные,

ощущая в себе сознание прекрасно проведенного времени.

О чем именно говорили они там, Артемий не мог помнить последовательно. Разговор был общий, говорили все. При этом все было не только очень интересно, но главное, искренне, правдиво и душевно. Большинство были такие же молодые, как Артемий, люди. Они ему все очень понравились, но особенно симпатичен показался молодой артиллерист, назвавший Артемия остальным, когда тот пришел и не знал, как ему быть. Когда уходили от графа, Артемий постарался не выпустить из вида этого офицера и на улице, догнав его, робко и нерешительно спросил его имя, чтобы познакомиться ближе. Офицер добродушно взглянул на него и, несколько не стесняясь его сержантским мундиром, ответил со своею приятною улыбкой:

– Зовут меня Орлов, Григорий Григорьевич... будемте знакомы...

И он протянул Артемию руку.

Только вернувшись к себе, Артемий мало-помалу стал припоминать отрывки разговора и приводить их в ясность. Целый вечер он ждал удобной минуты, чтобы спросить потихоньку у графа, не имеет ли тот каких-нибудь сведений из Проскурова, но в продолжение всего вечера Сен-Жермен ни разу ни с кем не заговорил отдельно, все время чрезвычайно искусно ведя общий разговор и всегда обращаясь ко всем вместе сразу. О своем, о частном, деле Артемию заговорить было неудобно.

Теперь, когда речи графа, казавшиеся сначала отрывочными, вспоминались Артемию и комбинировались, у него создавалась стройная система совершенно новых для него положений.

«Бог создал человечество, – так говорил Сен-Жермен или, вернее, так вспоминал его речи Артемий, – но каждое отдельное существо в этом человечестве должно создать самое себя... Создать самое себя – вот сущее призвание человека. Но для этого созидания необходима победа над своею телесною природою. Умей победить ее – и ты будешь владеть всем, чем захочешь. Страсти человека ведут его к гибели, но на то дан ему разум, чтобы он победил их, и тогда они послужат ему путем к благу. Эти страсти даны нам не на погибель, а на благо, поэтому не говори: «Я – человек, а человек слаб, и ему свойственно увлечение». Нет, удовлетворение своих страстей приятно, но оно греховно, и не для того тебе в жизни дан соблазн, чтобы ты, удовлетворив его, получил приятность и впал в грех, а для того, чтобы ты устоял против соблазна, выдержал испытание и стал лучше. Не будь у людей этого испытания, не было бы у них пути к самоусовершенствованию, к тому, чтобы они могли стать лучше, чтобы они делали хорошее. А если бы человек был лишен возможности делать хорошее, то не был бы в состоянии достичь блага».

«Все это хорошо», – думал Артемий, но все-таки ему чрезвычайно хотелось узнать хоть что-нибудь об Ольге.

Граф Сен-Жермен должен был иметь сведения о ней. Артемий уверился в этом, еще когда собирался идти к нему, и теперь эта уверенность не оставляла его. Но что же было делать, если, как нарочно, словно угадывая его желания, но не желая исполнить его, граф избегал заговорить с кем-нибудь отдельно? Артемий успокаивал себя тем, что время еще не ушло и что можно будет пойти к графу, постараться застать его одного и спросить прямо и откровенно обо всем. Это было и просто, и вполне возможно. И Артемий долго не мог заснуть в эту ночь, обдумывая, как и когда пойти лучше к графу.

«А вдруг он уедет? – словно молотком ударило его, и он тотчас же сказал себе: – Нет, нечего откладывать – завтра же, рано поутру, как встану, пойду к нему».

И он, в сущности, остался очень доволен, что нашел причину, чтобы, не откладывая, удовлетворить свое нетерпение.

На другой день утром, только что встав, Артемий быстро оделся и так же, как вчера, отправился в узкую улицу за Прегель. Когда он шел и когда, придя к знакомому дому, стучался в его дверь, он боялся одного: а вдруг Сен-Жермен уже уехал сегодня в ночь? Но вчерашний старик открыл ему дверь и, нисколько не удивившись его приходу, потому что, казалось, ничему не удивлялся в жизни, сообщил Артемию, что граф у себя, и провел его не в верхний этаж, как вчера, а ниже, в небольшую комнату, обшитую дубовыми, почерневшими от времени, досками, и сказал, чтобы Артемий подо-

ждал здесь.

Старик ушел беззвучными, такими же, как его говор, шагами, и Артемия охватила та особенная внушительная тишина, которая обыкновенно царит в старинных домах, не пропускающих сквозь свои толстые стены никаких звуков извне. И вдруг в этой тишине послышался голос, который Артемий тотчас узнал. Это говорил граф Сен-Жермен.

– Какие же еще новости у вас? – спросил тот.

Артемий, оглядевшись, понял, что направо от него, вместо стены, деревянная переборка и что говорили по ту ее сторону.

– Еще есть сведения об итальянце, который интересуется вами, – ответил за переборкой чей-то совсем незнакомый Артемию голос.

– Торичиоли? – спросил Сен-Жермен.

– Да.

Артемий вздрогнул. Ему было чрезвычайно интересно знать, что будут говорить про Торичиоли, но вместе с тем чувство стыда, что он, хоть и невольно, но все-таки подслушает то, чего, может быть, при нем и не говорили бы, заглушало в нем его любопытство.

Он двинулся и кашлянул нарочно громче, чтобы дать знать о себе.

– Так какие же сведения? – продолжал граф, видимо, не обратив внимания на кашель Артемия, не слышать которого он, очевидно, не мог.

– Он уже третий месяц в Кенигсберге.

– Чем он занимается?

– Все тем же.

– Составлением эликсиров?

– Нет, теперь пошел дальше – вдался в алхимию.

– Понимает что-нибудь?

– Не более тех сумасшедших, которые в Средние века теряли здоровье, состояние и самую жизнь в поисках философского камня. Он доведен теперь до полной нищеты, но, по всей вероятности, не образумится: такое сумасшествие развивается обыкновенно прогрессивно и перейдет в форму совершенной некромантии, а тогда его дни сами собою будут сочтены.

Артемий почувствовал капли холодного пота у себя на лбу: Торичиоли – сумасшедший... значит, и он сам, тоже чуть было не увлекшийся, – на дороге к полоумию!..

За переборкой водворилось молчание.

– Он должен жить – как бы после некоторого раздумья протянул голос Сен-Жермена, – он в душе – человек недурной, только неспособный владеть своими страстями... При этом у нас есть с ним личные счеты. Я должен спасти его...

Теперь Артемий уже чуть дышал, весь обратившись в слух и внимание.

– Что же с ним делать? – спросил тот, другой, незнакомый голос, и в нем слышалась полная готовность повиноваться.

– Мне нужно, чтобы обстоятельства Торичиоли поправи-

лись и чтобы он через некоторое время уехал в Петербург; там уже будут даны инструкции, как задержать его.

– И скоро он должен быть там?

– Все равно, хотя бы к концу этой зимы.

– Вы мне дадите приказание, как действовать, или я должен буду сам найти его?

– Нет, Торичиоли прежде всего должен излечиться от своего безумия. Вы найдете возможность внушить ему это. Потом он может сделать открытие взрывчатого вещества для применения его к военным целям. Я вам дам неизвестный еще никому рецепт, который составит это открытие Торичиоли. Со своим секретом он обратится здесь в канцелярию главнокомандующего, чтобы получить привилегию и деньги. Его отошлют в Петербург, где затянется рассмотрение его проекта настолько, насколько мне нужно... – и вслед за этим за переборкой послышалось, как звякнул полный монетами кошелек. – Это на расходы по этому делу, – добавил Сен-Жермен.

– А относительно молодого сержанта? – спросил другой голос.

– О нем я позабочусь сам... Впрочем, он рядом и, вероятно, слышал все, что ему следовало.

Эта последняя фраза, относившаяся уже непосредственно к Артемию, оказала на него действие разорвавшейся вдруг пред ним бомбы. Голова его закружилась и в мыслях потемнело. Должно быть, собеседник графа спросил его еще что-

то, потому что он ответил:

– Нет, во-первых, он не расскажет, я знаю его, а во-вторых, если бы он и стал рассказывать, сам Торичиоли будет слишком доволен своим открытием и не поверит ему, а там, где нужно, сочтется это сплетней.

Затем голоса замолкли.

Артемий стоял не двигаясь: как поднес руку ко лбу, закрыв ею глаза, когда услышал такой уверенный приговор себе и Торичиоли о сумасшествии, так и остался недвижимый. Наконец, сделав над собою усилие, уверив себя, что ведь он еще ничего дурного и постыдного не сделал, он убрал руку и открыл глаза.

Пред ним стоял граф Сен-Жермен.

– Я понимаю ваше теперешнее состояние, – проговорил последний, – но вот вам еще хоть и маленькое, но все-таки испытание – наука уметь владеть собою. Постарайтесь прийти в себя, постарайтесь не поддаваться никакому резкому впечатлению, будь это удивленье или что-нибудь другое. Удивительного на свете ничего нет – сверхъестественного не бывает. Нельзя идти против природы и ее законов, но нужно лишь изучить эти законы, чтобы управлять природой.

Ласковость, с которою говорили с Артемием, действовала на него ободряюще. Первая его мысль была сначала: «Господи, зачем это, и зачем я пришел!» – но теперь он уже не думал так.

– Ну, вот сядемте и поговорим, – продолжал граф. –

Неужели вы думали, что так вдруг, только потому, что вам захотелось, вы возьметесь, да и откроете все тайны?

Он сел, положил ногу на ногу с видом, что торопиться ему некуда и что у него есть еще время.

Артемий остался стоять и спросил:

– Да, но все-таки я же читал ведь, занимался... наконец ведь я никому не хотел зла...

– Не хотеть никому зла – этого еще очень мало. Нужно, кроме того, желать добра. Вы какие книги читали?

– Из новых: Исаака Голланда, Рената, потом Раймонда Люлля и «Пламенеющую звезду» барона Чуди.

– А! Эта книга написана по копии, которую Сендивогиус снял с рукописи Парацельса, хранящейся в Ватикане. О, если бы вы могли понимать дивные слова бессмертного Парацельса!

– Однако я читал очень внимательно и, кажется, делал буквально все так, как там сказано.

Граф улыбнулся, как улыбается человек, которому приходится встречаться с чем-нибудь давно знакомым и известным.

– В том-то и дело, что вы, и почти все такие, как вы, всегда принимают буквально то, что написано, – возразил он. – Книги, которые вы читали, – опасные книги: они ведут или к сумасшествию, или действительно к величайшему познанию... Нетвердый, неопытный ум принимает за чистую монету все, что там сказано, увлекается, и тогда нет

ему спасения. Он сам ведет себя к гибели, как это уже случилось с тысячами людей и, вероятно, еще случится... Но, милый мой, неужели вы думаете, что те величайшие познания, о которых идет речь, будут достигнуты так легко, сразу, по прочтении нескольких книг? Нет, дело в том, что нужно научиться прежде понимать эти книги, нужно искать и найти их аллегорию, и тогда станет понятен вам настоящий их смысл... Вы искали философский камень и мешали соль с серой и с ртутью... Бедные, слепые люди! Да ведь «соль», о которой вы читали, не та, что сыплют в суп за обедом; «соль» – означает мудрость, а ее нельзя достать в лавочке за несколько медных денег. Вы приготавливали соль, мешая ее с водою и спиртом; а на самом деле «приготовить соль» – это стать мудрым, а тут нужна и вода другая совсем и спирт другой... Вы искали камень философов и даже не вдумались в само это название, легковерно отдавшись басням, достойным понимания и разума черни... «Камень философов»! Значит, нужно прежде всего стать философом, чтобы обладать им. Камень есть основание. Найдите его. Я помогу вам. Есть два пути, чтобы удовлетворить свои желания. Один – тот, который избирают неразумные, почти сумасшедшие. Они ищут какого-то внешнего средства, чтобы иметь при его помощи все, что им хочется, и никогда не найдут. Другой путь – настоящий, заключается в работе над самим собою, нужно уничтожить желание не потворством ему, не удовлетворением, а силою воли, другими словами – до-

стигнуть того, чтобы вовсе не иметь желаний, и у вас не будет неудовлетворенных желаний, и вы станете счастливым, то есть будете обладателем настоящего философского камня.

Артемий слушал, и словно повязка упала с его глаз. Как все это было просто, ясно и как нравился ему этот новый мир, в который вводил его теперь таинственный граф!

– Но есть желания, которые почти невозможно побороть, – сказал он, – есть чувства...

– Есть желания, которые нельзя удовлетворить, – перебил граф, – но нет таких желаний, которые нельзя было бы побороть.

– Чувство любви... – продолжал Артемий. – Неужели я должен и его уничтожить в себе?

Граф, опять улыбнувшись, ответил:

– Любовь – великое слово! Но не та чувственная любовь, которую подразумеваете вы... Любовь к женщине законна, но только к одной, раз навсегда избранной женщине как подруге этой жизни...

Артемий не мог удержаться, чтобы не сказать, что любит одну только «ее» и никого на свете никогда не полюбит.

– Да, но следует быть не рабом, а господином этой любви. Не следует терять рассудок в опьянении своей страстью, и тогда вы увидите, как все само собою пойдет лучше, чем вы могли бы даже сами придумать. Человек сам – строитель своего счастья, и оно зависит от него самого.

– Да, но что же сделать для этого?

– Научиться ждать, терпеть, владеть собою и не идти по той дороге, на которую вы чуть было не попали, да так, что, может быть, и вернуть вас было бы поздно. Помните вы один роман Апулея?

Артемий и не заметил, как уже во время разговора сел, облокотился на стол и, не спуская взора со своего собеседника, жадно слушал, словно впитывая в себя каждое его слово. Это внимание нравилось графу.

– Какой роман? – спросил Артемий.

– Римлянин Люций путешествовал в Фессалии, где встречается с могущественной волшебницей. Он хочет достичь сам ее тайных знаний, но вместо труда и работы, посредством которых она готова преподать их ему, подкупает ее рабыню, с тем чтобы та выдала тайну своей госпожи. Рабыня хочет раскрыть Люцию состав, посредством которого волшебница может обращаться в птицу, но ошибается ящиком, берет не тот порошок, и Люций превращается в осла. Однако неловкая сообщница утешает его тем, что стоит ему съесть розу, и он снова станет человеком. Но на дворе ночь, темно, и трудно найти розу. Нужно ждать рассвета, и до него рабыня отводит осла в конюшню. Являются воры, уводят его, и с тех пор нет ему возможности даже приблизиться к заветному цветку. Розаны не для того, чтобы их ел осел, и садовники безжалостно гонят его прочь.

– Ну! – сказал Артемий, как дети, когда они слушают ин-

интересную сказку.

– Ну, вот вам полная аллегория того, что чуть было не случилось с вами. И вы хотели не достичь знания, а похитить его и, вместо птицы, то есть вместо того, чтобы возвысить свой ум, были обращены в грубое животное, и вас чуть было не похитили воры, и вам было необходимо коснуться розы. Роза – цвет истинного знания, а я – тот садовник, который вместо того, чтобы отогнать вас прочь, готов дать вам знание.

– Да, я хочу его, хочу этого знания! – блестя глазами, заговорил Артемий. – Вы мне дадите его?

– Для этого работайте, главное, сами и работайте сами над собою, вынесите с достоинством главное испытание жизни, испытание любви.

Артемий глубоко вздохнул, как будто вдруг у него не хватило воздуха.

– Боже, – проговорил он, – а я пришел к вам с надеждою узнать хоть что-нибудь про нее!.. Вы знаете, о ком я говорю, вы все знаете... вы, верно, имеете сведения оттуда; скажите мне хоть что-нибудь о той, и тогда я уже начну.

Граф опять, улыбаясь, покачал головой.

– Ничего вы не начнете тогда, потому что будет уже сделано плохое начало. Любите ее, но владейте этой любовью.

– А может быть, она умерла?.. Я оставил ее больную... Может быть, она и здорова, может быть, вспоминает обо мне или забыла совсем?

Граф встал со своего места и положил руку на плечо Ар-

темию.

– Повторяю вам: учитесь подчинять себе свою страсть, и вы будете счастливы, – сказал он, как бы ставя точку их разговору на сегодня.

XI. Факт есть предопределение

Около двух месяцев провел Сен-Жермен в Кенигсберге, и в продолжение этого времени не только изменилась сама жизнь Артемия, но и внутреннее его состояние стало иным. Он словно рос с каждым днем, с каждою новою беседой с этим удивительным человеком, взявшим его под свое покровительство.

Они виделись часто, и с истинным удовольствием ходил Артемий каждый раз в маленький дом за Прегелем. Здоровье его окончательно поправилось, опять-таки благодаря графу, который сам давал ему лекарство.

О расформировании Тарасовского полка не было и речи после того, как знамя его было найдено. Напротив, теперь тарасовцы комплектовали свой полк подходившими из России новобранцами. Артемий вместе с «дядей» – капралом усердно занимался подготовкой и обучением их, чередуя занятия по службе чтением книг, которые давал ему Сен-Жермен, и беседами с графом.

Мало-помалу из тех незнакомых прежде Артемию молодых людей, которых он увидел в первый раз в день приезда графа в Кенигсберг, составилась тесный кружок, связанный взаимной дружбой, и центром этого кружка стал, разумеется, Сен-Жермен. Благодаря своему образованию Артемий, несмотря на свой сержантский мундир, был тут вполне рав-

ноправным. Впрочем, со дня на день ждали его производства в следующий – капральский – чин.

Более других Артемий сошелся с Орловым и поэтому более других сожалел, когда стало известно, что Орлов вместе с Зиновьевым будут сопровождать в Петербург взятого в плен в сражении при Цорндорфе адъютанта прусского короля – Шверина.

Торичиоли тоже совсем изменился. Артемию невольно стало смешно, когда итальянец, разумеется, не знавший, чьих рук это дело, и не подозревавший даже о присутствии в Кенигсберге графа Сен-Жермена, пришел с известием, что он разочаровался в своих опытах.

– Но вы не беспокойтесь относительно ваших денег, – сказал он Артемию, – я вам верну их – будьте совсем, совсем покойны. Подождите немного, я я стану все-таки очень богатым человеком.

«Ну, вот он сейчас станет говорить про свое открытие!» – подумал Артемий и не ошибся.

– Вы знаете, – продолжал Торичиоли, – я перешел от алхимии на чистую химию и сделал одно весьма важное открытие. Теперь вся штука в том, чтобы добиться привилегии на него от русского правительства, и тогда мое состояние обеспечено... Тогда я примусь за исполнение своего плана!..

– Вы думаете добиться этого здесь? – спросил Артемий, наперед уже зная, что ему ответят.

– Не думаю. Вероятно, придется ехать в Петербург. На это

дело я достану хоть сейчас средства...

«Так, так и есть! – опять подумал Артемий, и странно было ему слышать такой близкий и до смешного верный отклик расчетов графа. – Боже мой, как люди просты! – удивлялся он, – и как легко управлять ими!»

С нескрываемым восхищением рассказал он графу о своем разговоре с Торичиоли.

– Вас это удивляет? – равнодушно спросил тот.

– Теперь – нет, но, если бы это было раньше, конечно, оно показалось бы поразительным.

– Нужно уметь сделать расчет так, чтобы он совпадал с необходимыми следствиями фактов, и тогда нельзя ошибиться, – ответил граф. – Нужно изучить логику событий, которые следуют одно за другим в вечной и неизменной последовательности. Я не про Торичиоли, разумеется, говорю – расчет относительно него был слишком ясен и прост. Но во всем один высший разум направляет все. Каждый случившийся факт неизбежен, как предопределение, но это предопределение – следствие законов высшего разума.

Артемий уже давно научился понимать, или, вернее, отгадывать сжатый язык своего учителя, но слова Сен-Жермена о предопределении смутили его, и он невольно подумал о фатализме.

– Нет, это не фатализм, – сказал граф, имевший способность, которую Артемий знал и любил в нем, отвечать во время разговора не только на слова, но и на мысли своего со-

беседника. – Нет, это не фатализм. Фатализм был бы в том случае, если б человеку при его рождении заранее определялась судьба, отступить от которой он не имеет возможности, как верят магометане... На самом деле человек вполне способен сделать из своей жизни все, что вздумает, но высший, всеведущий разум предвидит заранее его деяния. Вот и все. Если бы кто-нибудь сказал про вас, когда вы вдалились в свою алхимию, что вы сойдете с ума, потому что вы на пути к тому, и вы действительно лишились бы рассудка – значило бы это, что вы лишились рассудка потому именно, что про вас сказали так?.. Нет. Но про вас сказали так потому, что вы стояли на пути к сумасшествию. Справедливость не есть то, чего желает Господь, но Господь желает только того, что есть справедливость.

Пробыв в Кенигсберге два месяца, граф Сен-Жермен простился со своими новыми друзьями. Он сделал все, что ему нужно было сделать тут, и ехал обратно в Париж.

Граф всегда путешествовал один, и никто не знал, каким образом совершаются эти его значительные путешествия, с одного места в другое, но никогда он не пропустил назначенного им срока и никогда не бывал в дороге дольше, чем нужно было для самого скорого переезда.

И на этот раз Сен-Жермен явился в Париж ровно через столько времени, которое оказалось необходимым, чтобы его карета, нигде не останавливаясь, проехала от Кенигсберга до столицы Франции, словно ни неприятельской армии,

ни дорожных случайностей, ни дорожных преград для него вовсе не существовало.

В Париж он приехал в двенадцать часов, а в половине первого сидел уже в гостиной принцессы Цербстской, без тени усталости в лице, веселый, разодетый, блестя бриллиантами и кружевами, как будто часа три, по крайней мере, был уже занят сегодня своим туалетом.

– И неужели, граф, – сказала принцесса, обрадованная его приездом, – только что кончив свое длинное путешествие, вы чувствуете себя так же хорошо и бодро, как мы, другие, не можем себя чувствовать даже после вечера или бала, проведенного накануне?

– Как видите, принцесса.

– Ну, я очень рада видеть вас. Хотите знать парижские новости? Я сейчас расскажу их вам.

– Главная из них, принцесса, – та, что маркиз Шуазель занял пост министра иностранных дел?

– Вы знаете это?

– Я думаю, и другие, менее важные, тоже известны мне. Вы, конечно, знаете последний разговор маркизы?

Принцесса раскрыла большие глаза.

– Какой разговор? – спросила она.

И граф с обычною своею спокойною улыбкою стал рассказывать ей весь разговор, которого она, будучи все время в Париже, не знала еще.

– Ну, я вижу, что вам не только известно то, что и мне, но

даже больше, – протянула она. – Положительно вы – необыкновенный человек!..

– Разве так необыкновенно – знать, что случается в столице мира, как называют Париж? – ответил граф.

– Нет, но оно, конечно, досадно... Я думала сама удивить вас... Впрочем, у меня есть для вас вещь, которая, может быть, поразит вас... Помните, бумага, которую вы мне дали пред вашим отъездом в ложе в театре?..

– Я никогда ничего не забываю, принцесса.

– Да, ее должен был подписать этот богач, старая развалина, маркиз Каулуччи. Так вы просили?..

– И он подписал ее?

– Вы и это знаете?

– Нет, принцесса, но только предполагаю. Это зависело от вас, а я уверен, что если вы пожелаете, то все будет так, как вы захотите.

– На этот раз ваша любезность справедлива, граф, бумага подписана. Маркиз Каулуччи давал нам бал, он действительно ведет в Париже широкую жизнь... Он должен быть страшно богат! – и, говоря это, принцесса встала со своего места, подошла к письменному столику со шкафчиками розового, дорогого, с инкрустациями, дерева, достала оттуда сложенную бумагу и протянула ее графу. – Вот она, и надпись маркиза красуется на ней, – добавила она. – Довольны ли вы мной, граф?

– Я не знаю, как благодарить вашу светлость, тем более,

что случилось то, что я предполагал, – сам бы я не мог добиться этого.

– А что?

– Маркиз Каулуччи сегодня умер в ночь.

Принцесса остановилась, пораженная. Это была уже вторая новость, которую ей сообщал этот только что приехавший в Париж человек.

– Ах, это ужасно! – проговорила она. – Я его видела только вчера.

И она грустно задумалась, ощущая то особенно неприятное чувство, которое испытывает человек при известии о внезапной смерти кого-нибудь, с кем говорил и кого видел накануне.

Граф заметил это ощущение и, чтобы отвлечь его, спросил принцессу, каким образом была подписана бумага.

– Вы мне столько оказали услуг, граф, что мне было приятно постараться исполнить вашу просьбу, и я ее исполнила, – ответила она. – Как? Не все ли вам равно... Случай помог мне... вот и все. Но какой случай – пусть останется моей тайной...

Граф не расспрашивал дальше. Он умел уважать чужие тайны.

Часть третья

I. Давнишние приятели

Конец весны 1762 года стоял над Петербургом не только теплый, но и жаркий, какой часто бывает здесь, когда солнце, словно предчувствуя, что спрячется летом за серые облака дождливых дней, спешит нагреть настуженный за зиму воздух и порадовать людей своими ласковыми, теплыми лучами.

– Ишь, денек какой для приезда выдался светлый! – говорил князь Андрей Николаевич Проскуров, расхаживая по не совсем еще оконченному устройством комнатам нового своего дома на реке Фонтанной.

И этот светлый день, как счастливое предзнаменование, радовал его, не нарушая внутреннего довольства, которое он испытывал теперь, а напротив, соответствуя ему. Доволен был князь и новым своим домом, и Петербургом, сильно изменившимся к лучшему, отстроившимся в те долгие годы, в продолжение которых он не был здесь; приятно было ему сознание оконченной длинной дороги; но самое важное, почему было весело и хорошо теперь на душе князя Андрея Николаевича, заключалось в том, что наконец он, прошедший так много времени в деревне, в глуши, был призван в столи-

цу. И, главное, он никого не просил об этом, ни к кому не обращался, а продолжал себе смирно сидеть в своем Проскурове, и вот дождался наконец...

«Да, да, наступили светлые дни! – думал он, поглядывая и тоже радуясь тому, как дворня, под предводительством старого Ивана Пахомовича, ловко и споро работает над устройством его будущего жилища и оно быстро принимает вид роскоши, достойной для приема не только кого угодно, но даже самого государя. – Даже самого государя!» – самодовольно улыбнулся Проскуров, нарочно дольше останавливаясь на этой мысли, как бы смакуя ее.

Теперь, в своих занесшихся мечтах, он помышлял уже о приеме у себя государя.

И все это оттого только, что его неожиданно вернули в Петербург, со вступлением на престол молодого императора Петра III, того самого, которого несколько лет тому назад князю Андрею Николаевичу удалось принять в своем Проскурове.

Князь, разумеется, не знал, что его возвращение случилось гораздо проще, чем он думал.

Императрица Елизавета Петровна скончалась 24 декабря 1761 года, и на другой же день резко определился характер нового царствования: иностранцы – Бирон, Миних и Лесток – тотчас же были возвращены из ссылки. Единственно заметный из истинно русских людей, сосланных, Бестужев-Рюмин, сначала враг Екатерины, потом друг, постра-

давший главным образом из-за нее, остался невозвращенным. Но советники нового императора, под влиянием которых он действовал и не в интересах которых было помилование Бестужева, человека совсем противоположного им направления, понимали, что имена Бирона, Миниха и Лестока слишком неприятно звучат для русского слуха, чтобы ограничить милости нового царствования одними ими. Нужны были еще какие-нибудь пострадавшие, однако такие, возвращения которых бояться было бы нечего. Князь Проскуров, вечный бригадир, вполне подходил под условия, и между прочими подобными ему вспомнили о нем и послали указ в деревню князя.

Но там, в этой деревне, указ произвел совершенно иное впечатление. Князь Андрей Николаевич решил, разумеется, что государь, вероятно, вспомнил о своем посещении Проскурова, вспомнил о нем, старике, и, нуждаясь в опытных советниках (так думал старый князь), призвал его для деятельности как человека, много лет проведенного в провинции и потому изучившего ее нужды. И, как каждый меряет все на свой аршин, так и князь Проскуров ждал уже от нового царствования неведомых благ для России, потому что самому ему, князю Проскурову, было хорошо теперь.

Первым, кого пожелал видеть князь по приезде в Петербург, был старик Эйзенбах. Он тогда еще, когда узнал о смерти Карла на войне, написал письмо старому барону, которое восстановило между ними прежние отношения. Теперь

князь Андрей Николаевич, призванный в Петербург, думал, что у него сейчас же явятся здесь более серьезные, чем барон Эйзенбах, связи, что он будет представлен государю, познакомится с лицами, близкими ему, но на первых порах барон являлся очень удобным человеком, чтобы узнать от него поподробнее как от столичного старожилы, в каком положении, собственно, находятся дела, кто имеет нынче силу, кого следует сторониться и с кем дружить. И Проскуров, не теряя времени, в день же своего приезда послал сказать Эйзенбаху, что ждет к себе.

Положение барона было далеко не цветущим. Расстройство денежных дел и смерть сына сильно повлияли на него. Он опустил, постарел и перестал относиться к жизни с прежнею энергией, чувствуя, что теперь не для кого ему стараться: тех крох, которые остались у него, довольно было, чтобы кончить век со старухой-женою, до сих пор не забывшей еще потери своего Карла, а больше этого, то есть вот чтобы дотянуть остаток дней, барон ничего не желал. Но известию о приезде Проскурова он все-таки очень обрадовался. Все-таки приятно ему был повидать давнишнего приятеля и посмотреть, каким он теперь стал, и Эйзенбах поспешно отправился к князю.

– Ну, здравствуй, старый! – встретил его тот с распростертыми объятиями. – Ты меня извини, не прибрано еще, ну, да для друзей ничего!

Они обнялись и крепко поцеловались.

Князь Андрей Николаевич, в особенности в сравнении со стариком бароном, казался таким молодцом, что тот невольно удивился, глядя на его полные, румяные щеки и цветущий, довольный вид.

– Каким ты молодцом, однако, князь! – сказал он, покачивая головою. – Ну, княжна что, здорова?

Неловко было не спросить про княжну, хотя при воспоминании о ней у Эйзеиха снова, в один миг, поднялось все горе, которое он пережил после неудачного сватовства сына. Ведь за этим сватовством последовал отъезд Карла в армию, потом смерть и все несчастья.

Князь заметил это.

– Спасибо, голубчик, ничего, здорова, тоже приехала, она на своей половине разбирается, – ответил он вскользь, боясь хоть и чужим горем расстроить светлое свое настроение. Затем он взял барона по друку и провел через несколько комнат. – Ну, вот, сядем здесь, – сказал он, – тут нам не мешают. Ну, рассказывай, что нового?

– Да что, князь? – ответил садясь Эйзенбах. – Вот прежде всего тебя поздравить надо.

Князь. Андрей Николаевич улыбнулся.

– Да, батюшка, наконец-то мы дождались царствования благого, справедливого и мудрого! Наконец-то мужская рука взяла российский скипетр!

Барон угрюмо молчал, видимо, относясь вовсе не так уж восторженно к этому новому царствованию, как Проскуров.

Ему было нечему радоваться теперь. Все его радости заключались в сыне, которого отняла у него служба, и с тех пор он ничем не мог быть доволен.

– Что же, – продолжал Проскуров, – молодой государь блестяще начал: уничтожил тайную канцелярию, свободу веры объявил, теперь указ о вольности дворянской...

Эйзенбах вздохнул.

– Ты чего вздыхаешь? – спросил готовый уже вспыхнуть Проскуров.

Барон знал и помнил эти его вспышки, но теперь, когда ему все уже было решительно безразлично и он не нуждался ни в чем, он не боялся более этих вспышек.

– Конечно, нам теперь лучше будет житья: возле государя стоят умные немецкие люди, – протянул он. – Король Фридрих – друг ему. Но в том-то и беда, что трудно ручаться за то, что удержится все хорошее, что они сделают.

– Как трудно ручаться?

– А у нас так идет: что сделают сегодня, то разделают завтра... Совсем, как говорится, «славны бубны за горами».

Несмотря на долгое пребывание Эйзенбаха в России и несмотря на его довольно правильную русскую речь, в этой речи все-таки проскакивали значительные промахи. Так, он прилагательное «тучный» применял только к «небу», когда оно бывало покрыто тучами; называл иногда комнату «беспечною», если в ней не было печки, и вместе с тем очень любил, хотя и далеко не всегда кстати, употреблять чисто рус-

ские пословицы.

– Вот указ о вольности дворянской, – продолжал Эйзенбах. – Ты знаешь, как он был написан? Говорят, сам государь в Сенате сказал: «Я хочу объявить вольность дворянам». Сенат сказал: «Хорошо». Генерал-прокурор Глебов предложил поставить золотую статую новому императору. Сенат сказал: «Хорошо», – и пошел с докладом о золотой статуе. Он получил в ответ громкую фразу, что памятника не нужно – сами дела будут памятником... А о деле и забыли. Прошел месяц. Император пожелал скрыть от Елизаветы Воронцовой, что по ночам он кутит...

– Отчего именно от Елизаветы Воронцовой?

– Как «отчего»? А ты не знаешь? Она же – первое лицо теперь.

– Вот как! Что ж, хороша собою?

– Графа Романа Илларионова дочь, несколько не хороша и не умна вовсе.

– Так как же это так?

Эйзенбах только пожал плечами.

– Ну, вот он пожелал от нее скрыть и сказал, что пойдет заниматься важными делами, а сам ушел кутить и запер Волкова, тайного секретаря, в комнате, вместе с датскою собакой, сказав ему, чтобы к утру он сочинил какой-нибудь важный указ. Ну, вот Волков сидит, собака на него рычит, а он думает, о чем же он будет писать? Думал, думал и написал о вольности дворянской.

– Ну, может, это все и врут, – возразил Проскуров, которому не хотелось верить этому рассказу.

– Нет, это – правда. Яков Штелин рассказывал мне, что он, увидев бывшего своего воспитанника, то есть нынешнего императора, за пивом и с трубкой, очень удивился, а тот ему ответил: «Чему ты удивляешься, глупая голова? Разве ты видел хоть одного настоящего офицера, который бы не пил и не курил?» И это постоянно: английское пиво и вино, вино и английское пиво.

Князь Андрей Николаевич покачал в свою очередь головою.

– Но ведь все-таки дела-то идут, – сказал он. – Пока, вероятно, другие делают... Ну, а потом он образумится, в лета войдет...

– Однако ему тридцать третий пошел! И нельзя сказать, чтоб он не вмешивался – из-за этого-то и идет такая бестолковщина, что никто в завтрашнем дне не уверен!.. Было решено перевести мануфактур-коллегию из Москвы в Петербург, а потом опять указ: оставить коллегию в Москве. Возьми еще: 9 января уничтожены полицеймейстеры в городах, а 22 марта они восстановлены, и так много очень... И недовольных много. Духовенство и черное, и белое. Черное недовольно тем, что вотчины у монастырей отняты, а белое – что сыновей священников забирают в военную службу...

– Да, конечно, это – мера опасная, – согласился старый князь, – но что ж, найдутся советники, которые смогут воз-

держать... Выйдут новые люди...

Под этими советниками, которые «смогут воздержать», и новыми людьми он, видимо, разумел себя. Эйзенбаху это было ясно.

– Ну, нынче и это трудно! Нынче на стариков иначе смотрят. Прежде всего всякий, желающий служить, должен идти в военную службу... Это, говорю, чтобы на виду быть. А в военной службу все на голштинский манер заведено... Не угодно ли в строю служить и маршировкой заниматься...

– То есть учить, ученья производить, – поправил князь Андрей Николаевич.

– Нет, самому маршировать, батюшка! Вот князь Никита Юрьевич Трубецкой, сенатор, и тот преисправно во всех орденах, с лентою, в мундире с золотыми нашивками, со своим эспантоном марширует наравне с молодыми, месит грязь пред солдатами.

– Может ли это быть? – опять удивился князь.

– Да на что уж гетман – младший Разумовский, Кирилл – должен, теперь держать на дому у себя молодого офицера, который учит его новой прусской экзерциции.

Призадумался князь Андрей Николаевич, а что как вдруг и его, старого, то же заставят проделывать? – и его хорошее расположение духа быстро стало изменяться. Он уже не с прежним удовольствием, как начал, продолжал расспрашивать о новых порядках, и, чем больше рассказывал ему барон, тем грустнее становилось на сердце князя – по всему бы-

ло видно, что время переживается переходное, что так, как прожили со дня смерти покойной императрицы, жить нельзя долго и что держава русская находится не в руках мужа, как думал сначала Проскуров, а в руках тридцатитрехлетнего ребенка, никогда не способного стать не только истинно русским правителем, но и вообще сдержат на своих слабых плечах тяжелое бремя власти.

– Куда же ты? Посиди еще!.. – стал удерживать князь Эйзенбаха, когда тот наконец встал, чтобы проститься.

Барон просил извинить его и отказался от обеда.

– Нет, – пояснил он, – мне домой пора. Видишь ли, мне сказали, что на днях должен приехать из армии офицер того самого полка... – и барон не договорил, чаще заморгав глазами.

Андрей Николаевич понял, что дело шло о полке, в котором служил Карл.

– Ну, так вот, – подхватил Эйзенбах, стараясь овладеть собою, – мне обещали прислать его ко мне, и я тороплюсь, может быть, он приехал... До сих пор я не имею никаких подробностей.

Эйзенбах заторопился и, несмотря на уговоры князя, быстро ушел. Он и то уже засиделся слишком долго.

II. Мать и отец

Офицер, о котором старик барон говорил князю Проскурову и которого он ждал со дня на день, чтобы узнать наконец хоть что-нибудь о смерти сына, потому что до сих пор, несмотря на все старания, это оказывалось невозможным, – был присланный курьером из армии Артемий Проскуровский, но Эйзенбах не знал, что это – он, тот самый воспитанник князя Проскурова, из-за которого не состоялась свадьба Карла с княжной.

В военной канцелярии было только известно, что теперь очередь приехать одному из чинов Тарасовского полка, о чем и сообщили барону. Знакомый Эйзенбаху начальник обещал прислать курьера к нему – вот все, что барон знал, и до самого офицера ему никакого собственно дела не было.

Главным лицом, через кого старик барон имел постоянные справки из военной канцелярии и даже из самого только что образованного военного совета, был некогда рекомендованный им князю Проскурову итальянец Торичиоли.

Теперь Торичиоли, в продолжение трех лет возившийся в правительственных местах, чтобы произвести проект своего усовершенствования взрывчатого вещества, имел в военных кругах некоторые связи. Дело откладывалось с месяца на месяц, но Торичиоли не особенно беспокоился этим. Видимо, он отлично устроился и под шумок, так сказать, свое-

го дела обделывал разные дела, получая с них известный доход. Его положение в Петербурге было настолько хорошим, что Эйзенбах удивлялся изменчивости судьбы. Давно ли, кажется, этот итальянец искал его протекции, когда хотел попасть к князю Андрею Николаевичу, и вдруг теперь барону приходится самому обращаться к нему с просьбами. Но не только это, и материальное обеспечение Торичиоли было, по-видимому, благодаря его ловкости, гораздо лучше теперь, чем Эйзенбаха. Одет он был всегда прекрасно, имел возможность бывать в том же обществе, где бывал и барон, и главное – умел стать необходимым сильным людям.

– Теперь я живу со дня на день, – говаривал он, – но, когда мой проект будет утвержден, я стану богатым человеком.

С переменою, происшедшею со вступлением на престол Петра III, хитрый итальянец устроился еще лучше, и хотя его проект все-таки еще не был утвержден, но деньги уже завелись у него, и довольно большие. Никто не знал, откуда они.

Когда Эйзенбах вернулся от князя домой, оказалось, что он недаром торопился, потому что почти вслед за ним приехал Торичиоли.

– Ну, что, есть известия? – встретил его барон. – Вы не знаете, явился в Петербург курьер из армии?

Торичиоли сказал, что явился.

– Тарасовского полка?

– Да.

– Что же, приедет он ко мне?

– Вот видите ли, – начал Торичиоли, – когда я сегодня утром пришел в канцелярию, – это слово он произнес с видимым пренебрежением, как человек привычный, – то мне сказали, что курьер приехал, но имя его Артемий Проскуровский.

– Ну, что ж из этого?

– А то, что это – тот самый Артемий Проскуровский, который был воспитанником князя и из-за которого произошла тогда вся история.

Старый Эйзенбах опустил голову.

– Вот оно что! – протянул он. – Ну, и что ж, он не хотел приехать ко мне?

– Нет, я отправился к нему. Мы ведь потом еще встречались с ним в Кенигсберге. Но я отправился, собственно, для вас, потому что думал, что вам едва ли будет приятно видеть его.

– Ну, – подбодрил барон.

– Ну, и он мне был очень благодарен. Ему уже приказали поехать к вам, и он не знал, как это сделать... Он мне все рассказал.

У двери в это время послышалось шуршание женского платья, и старуха баронесса, не выдержав, просунула в комнату голову. Она не знала, можно ли ей войти.

– Войди, Луиза, войди! – тихо разрешил ей муж. – Вот Иосиф Александрович привез известие...

Он, видимо, хотел подбодрить и себя, и жену и как-то косо улыбнулся. От этой улыбки его лицо стало еще грустнее.

Баронесса вошла и, даже не поздоровавшись с итальянцем, чтобы не задерживать его рассказа, чуть слышно опустилась на стул у самой двери. Она так и впилась своими красными от слез глазами в Торичиоли. Последний стал передавать то, что рассказал ему Артемий.

Странно, при их сближении в Кенигсберге – правда, коротком – они никогда не говорили о Карле. Артемий словно избегал этого. Но теперь он подробно рассказал все, что знал, нарочно выставляя в самом лучшем свете храбрость Карла и поведение его под пулями.

Торичиоли, передавая рассказ, разумеется, в свою очередь, не жалел красок.

– Скажите! – не утерпел барон. – Он был сержантом в его роте?.. Как это странно, как это странно! И он уже офицер теперь?

– О, да, он – тоже очень храбрый молодой человек и вполне заслужил свой чин! – сказал Торичиоли, как бы заступаясь за Артемия.

«А все не храбрей нашего Карла!» – подумали старики Эйэенбахи.

– Герой, герой!.. – шепотом повторял барон про сына, слушая Торичиоли.

Но когда тот дошел до того момента, когда Артемий увидел, как упал Карл, и бросился к нему, крепившийся до сих

пор Эйзенбах не выдержал и, закрыв лицо руками, заплакал, как ребенок.

Баронесса не плакала. У нее слез не было. Она только осталась все в той же случайной и неловкой позе на стуле, как села, и, казалось, забыла теперь все... Забыла, что люди могут плакать, могут выразить, облегчить свое горе; только мускулы ее лица судорожно тряслись, и изредка вздрагивали ее худые, тонкие руки.

Торичиоли казался тоже расчувствованным и тронутым.

Но у него волнения хватило именно на столько времени, пока он сидел у Эйзенбахов. Долго оставаться у них ему было некогда. Он окончил свой рассказ, сказав несколько слов утешения, и затем, вдруг приняв из грустного деловой вид, поднял брови и начал прощаться. Каждый час у него был теперь рассчитан, и он, сделав, как он думал, для Эйзенбахов «все, что мог», поспешил дальше. Было без четверти два, а ровно в два он уже должен был увидеться с одним из своих земляков, пьемонтцем Одаром, бывшим прежде личным секретарем новой императрицы и теперь управлявшим небольшою принадлежавшею ей мызой вблизи Петербурга. Торичиоли всюду умел пробраться.

III. Русские люди

– Да, так вот какие дела! – сказал Орлов кенигсбергскому приятелю Артемию, сидя с ним в своей довольно скромной холостяцкой квартире.

Был уже пятый час ночи, но ни тому, ни другому не хотелось спать.

Артемию, как приехал в Петербург, первым делом отыскал Орлова, что, впрочем, было сделать нетрудно. Орлов пользовался большою популярностью среди военных, и почти всякий из них знал дом у Полицейского моста, где жил Григорий Григорьевич.

За год своей военной жизни Артемий изменился немного. Он только окреп, возмужал и развился. В его глазах появилось теперь что-то особенное: они глядели сосредоточенней, задумчивей, точно он в душе знал уже нечто такое, что ставило его выше остальных людей.

Григорий Орлов был для него человеком своим, близким, знавшим то же, что знал он сам, и духовно развитым, может быть, даже больше его самого, благодаря своей щедро одаренной судьбою природе.

Утром Артемий не застал Орлова. Ему сказали, что Григорий Григорьевич вернется домой лишь к вечеру. Артемий приехал к нему вечером и засиделся до позднего часа.

– Так ты говоришь, что там у вас недовольны переме-

ной? – продолжал спрашивать Орлов.

Артемий взмахнул руками.

– Да как же быть довольным? Ты представь себе пять лет лишений, труда, войны и страшных усилий – и вдруг, после всего этого вчерашний наш враг, который был уже почти в наших руках, разбит, уничтожен, становится с нами запанибрата, нашим союзником; мы, победители, словно побежденные, отдаем ему все завоеванные области, отдаем Пруссию и сами являемся чуть ли не на посылках у него...

Орлов кивал головою почти на каждое слово Артемия. Эти слова были отголоском неудовольствия, действительно поднявшегося в нашей заграничной действующей армии против заключенного нами вдруг неожиданно мира с Пруссией на равных условиях. Этот мир был результатом единственно безграничной преданности Петра III Фридриху и его восхищения пред ним. На другой же день после смерти Елизаветы Петровны было послано приказание о прекращении военных действий.

– Да, ужасно, ужасно! – подтвердил Орлов в свою очередь. – О войне кто говорит! Ее можно было прекратить. Но нам нужен был почетный мир. Фридрих согласился бы на всякие условия и даже был бы рад им, а тут на вот, поди!.. Мы же и извиняемся, что победили, мы просим прощения. Скажи, пожалуйста, за что же мы рисковали жизнью, за что ты был ранен, за что было убито столько наших?

Орлов, разгорячась, встал с места и, блестя красивы-

ми большими глазами, сжимая свои сильные руки, говорил быстро и гневно.

– Да я, признаюсь, уже ничего не пойму, – возразил Артемий. – Слышал я про государя многое, но верить боялся – он, говорят, точно не в своем уме.

Орлов заходил по комнате.

– Не один этот мир! – продолжал он, занятый своими мыслями и не слушая того, что говорит Артемий. – Ты посмотри, что у нас тут делается!.. Недавний мой арестант Шверин, которого я привез сюда после Цорндорфа, является с полномочиями, как важное лицо. И ты знаешь, кто теперь главный распорядитель судеб нашей родины, нашей России?! Немецкий офицер – двадцатилетний Гольц, присланный сюда Фридрихом. Он умеет пить английское пиво да кнастер курит и среди чада этого пьянства и табачного дыма полновластно хозяйничает у нас!..

– Быть не может! – не удержался Артемий.

– Да... Учредили верховный совет, и в нем заседают его высочество герцог Георг Людвиг Голштинский, его светлость принц Голштейн-Бекский и Миних... Хорошо?.. Затем военная комиссия: опять герцог Георг, принц Бекский и тут уже Унгерн, генерал-адъютант... А над всеми ними все-таки Гольц. Я и против немцев не был бы. Отчего же? Среди них есть умные парни... И у нас были Остерман, тот же Миних, Бирон даже. Все они блюли русские интересы – по-своему, может быть – это статья особая, но все-таки блюли по

своему разумению честно выгоды страны, которую управляли. А теперь что же это? Интересы чужих государств, Пруссии и Голштинии, ставятся выше наших! Мы идем в лакеи к пруссакам и молим их ига, как заслуженного счастья... Мы согласны на позорный для России мир, чтобы вместе с Фридрихом идти отвоевывать у датчан клочок Голштинской земли.

– Как идти отвоевывать? Разве новая война предположена?

– Да, с Данией, из-за Голштинии. Разве у вас не было известно этого?

– Может быть, в штабе, а от строя держат это пока в секрете. Так что же, для новой войны и несчастный мир этот заключен?

– А ты думал, как же иначе?

– Ну, уж меня там не будет! – воскликнул Артемий. – Нет, довольно!..

– Пошлют, так пойдешь.

– Нет, не пойду!.. Не бывать этому!

Орлов вздохнул улыбаясь.

– Вероятно, не только «этому бывать», – проговорил он, – но и хуже будет...

– Что же еще?

– А то, что веру нашу переменяют. Уже велено иконы из церквей вынести, священникам бороды обрить и платье носить такое, как у иностранных пасторов. Начало хорошее.

Дальше пойдут скоро...

Артемий тоже привстал. Он обеими руками оперся на стол и, вытянув шею, глядел на Орлова, словно вместо него видел пред собою смертельного врага. Его лицо было красное, жилы посинели и вздулись.

– Велено? Ты говоришь: «Велено»?.. Кому?.. Вздор все это... быть не может, – проговорил он, едва переводя дух.

По мере все возрастающего волнения Артемия Орлов, напротив, становился все спокойнее.

– Кому велено? – ответил он. – Дмитрию Сеченову, новгородскому архиерею.

– Ну, и что ж он?

– Да пока еще ничего. Сеченов, вероятно, не согласится – его сменят, и если не найдут православного, который пошел бы на это, то призовут иностранного.

Артемий делал напрасные усилия совладать с собою.

– Так нет же, не бывать этому, не бывать! – крикнул он и ударил по столу кулаком.

Орлов вдруг тихо засмеялся, как бы еще больше раззадоривая его этим смехом.

– Эх, милый мой! Напрасно горячишься: здесь-то ты очень сердито по столу стучишь, – ну, а подумай, на самом-то деле что ты, маленький офицер, можешь поделывать?

Артемий провел рукою по лицу.

– Я не знаю, что могу поделывать, но уверен, что не я один чувствую то, что происходит теперь у меня в душе; наверное,

каждый русский человек чувствует так.

Орлов скрестил руки на груди и долго пристально смотрел прямо в лицо Артемию.

– Но кто же из истинно русских людей пойдет против своего государя? – проговорил он наконец, отчеканивая каждое слово.

Артемию оставался некоторое время неподвижен, точно слова Орлова не сразу достигли его слуха, и потом бессильно снова опустился на стул.

– Да, но ведь другого выхода нет!

Орлов по-прежнему смотрел на него.

– И ты мог бы идти, – проговорил он опять, – ты, истинно русский человек, офицер, с честью носящий свой честный, омытый и твоею кровью, и кровью товарищей мундир? Ты бы мог стать наряду с бунтовщиками, достойными виселицы!

Артемию взялся за голову.

– Да, но что же делать, что же делать?! – повторял он.

– Только не бунт, только не насилие и не зло...

Артемию вдруг поднял голову и в свою очередь взглянул на Орлова. Нечто вроде надежды блеснуло в нем.

– Послушай, Григорий Григорьевич, у тебя, верно, готов уже выход из этого положения – иначе ты слишком спокоен...

Орлов стал серьезен. Брови его сдвинулись, он подошел почти вплотную к Артемию и ответил, невольно понижая го-

лос:

– Да, ты угадал... Да, выход есть, есть надежда на спасение, – и не все еще пропало, пока жива государыня... И пока не заточена она в монастырь... Дело поставлено так, что над нею чуть ли не издеваются теперь, ее хотят заточить, чтобы променять ее на другую, жалкую, недостойную, и тогда – тогда для нас погибнет всякая надежда, потому что против государя мы не пойдём, а пойдём за государыню. Не на насилие рассчитываем мы, а на призыв лица, которое имеет право носить императорскую корону, на призыв государыни, которая одна может спасти Россию!..

– Да, но ведь она тоже иностранка, – не сразу ответил Артемий.

Орлов вспыхнул. Была минута, что он, казалось, не в силах был сдержать себя.

– Иностранка? Ты не ври того, чего не знаешь! – почти крикнул он, но затем сделал несколько шагов по комнате и вернулся к Артемию более спокойным. – Ты знаешь, какая она иностранка? Когда ее привезли для свадьбы в Москву – она заболела там. Ей пускали кровь. В обморок, разумеется, не упала она и спокойно смотрела, как производили ей операцию. К ней подошла императрица Елизавета и спросила, не больно ли ей. Она улыбнулась и ответила, что пусть течет эта ее кровь, чуждая новой ее родине, чтобы ей можно было здесь обновить ее и стать русскою... И это были не слова, а истинная правда: государыня Екатерина захотела и стала...

Нужно совершенно не знать ее, как ты не знаешь, чтобы не удивляться ей. Православную веру она приняла по убеждению твердому и ясному, поняв величие и цельность нашего православия... Ты пойдешь как-нибудь, – я проведу тебя, – в дворцовую церковь, посмотри, как она молится...

И долго говорил Орлов, рассказывая Артемию про государыню, и его слова дышали восторгом, невольно передававшимся его слушателю.

IV. Екатерина

В то время как тридцатитрехлетний Петр Федорович, словно ребенок, дорвавшийся до свободы действовать по своему детскому капризу, предавался с утра до ночи и с ночи до утра всякого рода излишествам, его супруга Екатерина скромно жила на своей половине во дворце, редко являлась на людях и показывалась лишь в церкви да на официальных приемах. Она носила глубокий траур по покойной государыне и, казалось, ни во что не вмешивалась, ничего не делала, жила совсем в стороне.

Петр Федорович не только не любил ее, но, видя в ней живой и молчаливый укор своим поступкам, старался или избежать, или при встрече доказать, что он выше ее, сильнее. Но эту силу он умел проявить только грубостью, не понимая, что она унижает его самого и в глазах прочих возвышает его преследуемую жену-государыню.

Разница между ним и ею была скоро понята. Довольно было видеть их в церкви во время богослужения, чтобы сразу определить, каков был он, громко разговаривавший, смеющийся со своими немцами во время совершения таинств, и она, тихая, прекрасная, величественная, не спускавшая взора с иконы.

Капризное своеволие Петра с каждым днем разгоралось сильнее, и жизнь Екатерины становилась тяжелее. Он уже

дошел до того, что публично, на обеде в честь заключения мира с Пруссией, назвал супругу «дурой». Слово «монастырь» не раз срывалось с его губ, когда он говорил о жене.

Между тем народное недовольство беспорядочными распоряжениями нового царствования росло. Все понимали, что долго так продолжаться не может.

Наследник престола был еще ребенком. Взоры все невольно обращались к государыне.

Но она по-прежнему жила тихо и уединенно на своей половине, переносила оскорбления и, по-видимому, ничего не предпринимала.

Близкие к Петру III люди, в прямой выгоде которых было заботиться о нем, то есть главным образом о сохранении за ним власти, которая была их властью, – следили за Екатериной. Но, судя по всему, беспокойство было напрасным. Кроме лиц, самых близких, государыня никого не видала, ни с кем не разговаривала. Уединение ее было у всех на виду. Она жила или в Петербурге, или в Петергофе да изредка ездила на свою пригородную мызу, где был управляющим пьемонтец Одар.

Хоть он казался человеком незначительным вполне, но все-таки, на всякий случай, наблюдение за ним было поручено земляку его, итальянцу Торичиоли, вертевшемуся в военной канцелярии со своим делом.

Торичиоли не скупился давать деньги и думали, что все, значит, сделано и обстоит благополучно, раз открыт кредит

на такой-то предмет и есть человек, который его получает. Впрочем, Торичиоли доносил, что ничего тревожного пока не заметно. Да и что мог сделать какой-то пьемонтец, не знавший ни слова по-русски?

Боялись Шувалова, Мельгунова, которые были близки самому Петру, но не являлись иностранцами.

А между тем гроза близилась, и работа шла тайно, но деятельно, и именно там, где ее вовсе не ожидали. Одар являлся с докладом к государыне каждую неделю, приезжая для этого в Петербург; каждый раз с ним виделся Торичиоли, разговаривал и все более и более убеждался, что это – решительно малоспособный человек. Он даже находил пьемонтца глупым, но деньги тем не менее получал из канцелярии исправно.

На другой день, после того как Торичиоли виделся по долгу службы со своим пьемонтцем, поехав к нему от Эйзенбаха, Одар рано утром явился с докладом к государыне. Он был уже своим человеком на ее половине и, войдя в небольшую, скромно обставленную приемную, велел доложить о себе. Старый камердинер поклонился ему, как знакомому посетителю, и прямо открыл дверь в следующую комнату – кабинет молодой государыни.

Екатерина ждала Одара. Она сидела у стола, положив на него локти и опираясь подбородком на сложенные руки. Здесь, у себя дома, она вовсе не имела того смиренного, покорного вида, который должна была принимать на той поло-

вине дворца до поры до времени. Ее умные глаза под нахмуренными бровями казались гневными, и в этом гневе сквозила энергия, обыкновенно несвойственная женщине. Ее губы были сжаты и гордая решимость светилась во всем ее молодом, прекрасном лице.

– Садитесь, – сказала она Одару, поздоровавшись с ним. – Нет, знаете, дольше продолжаться так не может... Я не в силах более терпеть.

По тому, как встретила Екатерина своего управляющего, как заговорила с ним и как он сел на ее приглашение, сразу было видно, что их связывают не незначительные дела по хозяйству маленькой пригородной мызы, но что между ними есть что-то более серьезное и значительное.

Одар слегка наклонился и ответил, как бы продолжая не раз уже повторявшийся разговор между ними:

– Вашему величеству нужно решиться.

Екатерина улыбнулась и эту улыбку яснее слов сказала, что не недостаток решимости удерживает ее.

– Решиться? Решиться нетрудно, но трудно привести в исполнение это решение... В душе я знаю, что дело мое правое, что оно должно совершиться именно потому, что правда на моей стороне. Я не иду против власти и тех, кто последует за мною, не поведу на бунт и на беззаконие. Нет, он, – подчеркнула она, подразумевая тут супруга, – своим поведением, своими поступками, своим пренебрежением не только к обычаям и верованиям страны своей, но даже к пря-

мым и справедливым интересам ее идет сам против своей царской власти, потому что потеряет ее и для себя, и для своего потомства. Я должна сделать все, чтобы сохранить ее. Нет, я иду за власть, за сохранение моей второй родины, которую уже научилась любить и уважать, потому что иначе эта власть погибнет, а с нею вместе и великая страна. Да, я пойду с сознанием полной своей правоты и поведу за собою других. Я готова, во мне нет колебания. Но теперь еще рано, а завтра, может быть, будет поздно – поздно потому, что каждую минуту меня могут отвезти в монастырь, а рано – потому, что нет еще вокруг меня достаточно людей, во главе которых должна стать я.

Одар с восхищением смотрел на эту женщину; каждое ее слово дышало умом, и видно было, что все, что она говорила, было не только мучительно продумано, но перечувствовано ею.

– Я знаю, – продолжала Екатерина, – в гвардии у меня есть надежные слуги – там Орловы, Пассек, Потемкин работают умно, дельно и толково, большинство молодежи на моей стороне, но, к несчастью, все это именно молодежь. Довериться ей, одной ей – безрассудно. Правда, много недовольных и в народе, и среди духовенства, и среди нижних чинов, но все это – недовольства отдельные, не сплоченные; нужно связать их. А как это сделать? Самой – невозможно. Каждый шаг мой наблюдается. Вы, иностранец, должны в большинстве случаев быть посредником между мною и моими дру-

зьями... Какие известия о старике Разумовском?

Гетман Разумовский, любимый гвардией, был лицом, привлечение которого на свою сторону казалось Екатерине весьма важным. Алексей Орлов, брат Григория, некоторое время тому назад сделал попытку обратиться к нему с намеками, осторожными и отдаленными, но гетман сразу понял их и посоветовал Орлову ехать «к другому», сказав: «Он умнее нас», после чего потушил свечи и пожелал своему гостю покойной ночи.

– Тогда молодой Орлов слишком поспешил, – ответил Одар. – Нужно было взять гетмана с другой стороны, теперь он наш.

– Правда? Вам это поручили передать мне?.. Каким же образом это выяснилось? – с радостным, нескрываемым удивлением переспросила Екатерина.

– Нужно было действовать через любимца гетмана Теплова. Это был единственный путь, и мы его достигли.

Екатерина вздохнула свободней, после чего проговорила:

– Это очень важное известие, очень важное!

– Михаил Никитич Волконский тоже на нашей стороне.

– Племянник Бестужева, начальник конной гвардии?

– Да.

– О нем я думала и раньше. Через Дашкову я тоже имею сведения о Панине.

– Ваше величество доверяетесь ей безусловно?

– Кому?.. Дашковой?.. Вы думаете, что она с сестрой име-

ет что-нибудь общее?

Екатерина Романовна Дашкова, урожденная графиня Воронцова, была родною сестрой графине Елизавете Романовне, фаворитке Петра III.

– О, нет! Я уверен, что она предана вашему величеству, но ведь ей всего девятнадцать лет!

– Это другое дело, и, поверьте, я знаю, что сказать ей и что скрыть. Все ей знать не годится. Все, что идет через вас, остается для нее неизвестным.

Одар лишь почтительно поклонился.

Но известие об участии Разумовского в переговорах заинтересовало Екатерину более разговора о Дашковой, и она продолжала:

– Да, гетман Разумовский, Волконский, Панин – это уже известная сила. Но все-таки никто из них не согласится взять в свои руки все нити, связать все, а без такого ума дело невысказано. Орловы... Они много делают, но боюсь я их молодости. Сама я?.. Но я тоже подчас боюсь своей самоуверенности; к тому же я связана по рукам и по ногам... Это меня и мучит... Нужно ждать отъезда в армию, когда начнется война с Данией. Но до этого времени меня могут отослать в монастырь. Если выдать приказ сегодня, – нужно сегодня же действовать, нужно знать минуту, необходимо, чтобы был человек, способный дать вовремя сигнал, по которому двинулось бы все...

– И только это затрудняет ваше величество? – спросил

Одар.

– Только это! Разве это «только»? Да ведь в этом все... в этом все дело...

– Такой человек есть к услугам вашего величества.

– Вы говорите, есть? Кто же он, кто? – с видимым нетерпением произнесла Екатерина, быстро подняв голову.

Одар улыбнулся.

– Вспомните, ваше величество, через кого вы имели до сих пор главнейшие сведения; вспомните, у кого собираются нужные вам люди, кто вам всегда докладывал, что сделано то или это, не говоря о том, кем оно сделано; вспомните наконец, кто постоянно верит в вашу будущность и говорит вам о ней.

Обрадовавшаяся было Екатерина грустно опустила голову! Ясно было, что пьемонтец намекал на себя самого. Правда, все, что он говорил, было справедливо – он делал многое, но Екатерине казалось, что этот скромный, рекомендованный ей Дашковой иностранец способен действовать только под чьим-нибудь руководством. Она даже не могла ожидать от него такой самоуверенности и не смела думать, что он заговорит теперь о себе. Ей нужен был не никому неизвестный, маленький, но преданный управляющий ее, подчиненный, а человек с авторитетом, в который могли бы не только поверить остальные, но и она сама. И самоуверенность Одара не понравилась ей.

– Вы говорите о себе, – ответила она. – Я вам очень благо-

дарна, цену ваши услуги и способности. Но неужели вы думаете, что пьемонтец Одар – простите меня, дело слишком важно, чтобы не говорить о нем откровенно, – может исполнить ту роль, о которой я говорю?

Пьемонте не обиделся на эти, может быть, немного жесткие слова, хотя и соответствовавшие смелости, которую он взял на себя.

– Неужели, ваше величество, не узнаете меня? – сказал он только, но уже не на том ломаном французском наречии, на котором объяснялся до сих пор, а на чистом французском языке, с едва лишь заметным пьемонтским акцентом.

И, сказав это, он снял свои темные очки, скинул парик, из-под которого рассыпались черные, как смоль, волосы, и придал своему до сих пор растянутому рту нормальное положение.

Теперь пред Екатериной, смутившейся в первую минуту этой перемены, стоял не пьемонтец Одар, ее управляющий, а известный, испытанный, давно преданный друг ее покойной матери – граф Сен-Жермен, имя которого повсеместно пользовалось громкою известностью. Екатерина сделала невольное движение вперед и воскликнула:

– Граф, это вы? Неужели это вы?

– Ваше величество усомнились в способностях Одара, может быть, поверите более графу Сен-Жермену, – сказал он, низко опуская голову пред нею.

Не верить ему Екатерина не могла. Она помнила их сви-

дание во время дороги, принесшее ей много пользы, потому что тогда ей был указан Бестужев, которого она считала врагом, а впоследствии оказалось противное. Она не могла не верить общей молве, создавшей таинственному графу такую громкую славу, и, главное, не могла не верить письмам матери, в которых та всегда отзывалась о Сен-Жермене, как о человеке, которого она уважает.

– Но зачем же тогда не сразу, давно, вы не сказали мне, кто вы? Зачем это имя Одара? – снова заговорила Екатерина. – Сколько времени вы при мне, и я не знаю, что так часто вижу с человеком, близко видевшим кончину моей матушки. О ее смерти мне известно лишь по письмам и донесениям.

Всегда спокойная и необыкновенно ровная, несмотря на все тревоги, которые она переживала, Екатерина взволновалась теперь и говорила быстро, нервно.

– Не все ли равно вашему величеству, кто я и что я: доктор Шенинг, Жермен или Одар, а может быть, ни то, ни другое и ни третье? – ответил Сен-Жермен. – Знайте, что я – человек, который обещал вашей матушке пред ее смертью прийти вам на помощь, по мере моих сил, когда вы будете нуждаться в людях, и я пришел, чтобы сделать что можно. Ни под именем графа Сен-Жермена, ни под другим каким-нибудь я не мог явиться ко двору; ведь это было бы слишком явно и заметно, – теперь уже ищут именно среди придворных того, чего там нет. Боятся Шувалова, ни в чем не повинного, но это скрывает настоящие следы. Мне нужно было получить

скромное место управляющего.

– Но вам могли не дать его.

Сен-Жермен, пожав плечами, возразил:

– Что должно сделаться, то всегда делается. Пред вашим величеством я скрывал себя до сих пор потому, что было преждевременно сказать, кто я, а потому я взял имя Одара. Пусть скажут вам Орлов или Пассек.

– Они знают вас? – удивилась Екатерина.

– Давно, ваше величество.

– Знают вас как графа Сен-Жермена?

– И не одни они, а большинство ваших друзей. Простите, что я должен был скрывать от вас, но и сегодня не открылся бы, если бы не заметил в вашем величестве колебания.

– Колебания! – повторила Екатерина. – О, нет, теперь я не колеблюсь! Теперь я верю вам и в доказательство моего доверия ни с кем не скажу никогда ни слова о нашем разговоре. Вы для меня останетесь прежним Одаром до тех пор, пока сами не захотите объявить свое имя.

Сен-Жермен поклонился.

– Я не хотел бы никогда объявлять его, ваше величество. Пусть в этом деле не будет известно, какое участие принимал в нем граф Сен-Жермен. Я служу вам, потому что служу правде, и большего мне не нужно. Пройдут года, имя Одара, может быть, попадет в чьи-нибудь записки, но на нем будущий историк не остановится долго и пропустит его, а имя Сен-Жермена слишком громко, как...

– Как что? – спросила Екатерина.

– Как шарлатана, ваше величество, – понижая голос, до-сказал граф. – Тут пусть рассказывают про меня разные нелепости, а настоящее дело останется неизвестным.

Екатерина вполне уже овладела собою и ответила с тою своею особенною улыбкой, которая притягивала к себе каждого:

– Но во всяком случае для меня вы останетесь другом принцессы, моей матушки. Расскажите же мне о ней!

И Сен-Жермен стал рассказывать о последних днях принцессы Иоганны, скончавшейся два года тому назад, в мае 1760 года, в Париже.

V. Поездка на Мызу

После своего разговора с Орловым Артемий оказался всей душой преданным императрице, чего, впрочем, вполне ожидал Орлов. Он был уверен в молодом человеке, которого знал давно и знал также, что он принадлежит к кружку, образованному Сен-Жерменом в Кенигсберге, а следовательно, и теперь в Петербурге, должен примкнуть к ним. Поэтому он прямо сказал Артемию, что отвезет его на другой же день на мызу, недалеко от Петербурга, где собираются люди, мыслящие одинаково с ними.

В назначенное время Орлов заехал за Артемием, и они, сев на лошадей, верхом поехали за город, как будто на прогулку. Они ехали совсем рядом, по мягкому, обросшему кое-где травкой, берегу реки Фонтанной, минуя красовавшиеся по сторонам барские дома с их садиками и широкими дворами за нарядными решетками.

– Посмотри, недурна! – толкнул локтем Орлов Артемия и кивком головы показал на садившуюся в карету у одного из домов девушку.

Артемий посмотрел и... невольно осадил лошадь. В карету садилась Ольга.

Он, казалось, княжну Проскурову узнал бы не только так вот, как увидел ее, – прямо в лицо; нет, даже если бы пришлось ему хоть за версту взглянуть на нее, он и тогда сказал

бы, что это – она.

Но Ольга не могла видеть его. Она слишком быстро, не глядя в его сторону, села в карету, гусары вскочили на запятки, и карета быстро укатилась, подхваченная четверкою рослых коней.

Это была минута страшного испытания для Артемия.

Сколько долгих, мучительных лет он не только не видел Ольги, но даже не слышал о ней ничего – здорова ли она, жива ли, что с ней, где она... И вот наконец судьба сталкивает их опять, и она жива и здорова, и все так же прекрасна, как и прежде, нет... она лучше прежнего, еще прекраснее.

Первым чувством, охватившим Артемия, была радость, причем она заключалась, во-первых, в том, что он видел княжну здоровою, во-вторых – что он просто видел ее, и наконец, и это было главное, в том, что он любил ее по-прежнему.

Да, он любил Ольгу по-прежнему, но научился теперь владеть своим чувством. Будь это три года тому назад, бог знает, что могло бы произойти с ним. Но теперь, только придержав лошадь, он весь сжался, и ни один мускул на его лице не дрогнул, ни одно движение не выдало его; только сердцу не мог приказать он не забиться сильнее, и оно застучало, забилося, как пойманная птица в клетке.

Карета укатилась. Орлов спокойно повернул и подъехал к воротам, у которых осталась прислуга, провожавшая княжну. Все это были люди, новые для Артемия. Он не помнил

их по Проскурову, но узнал на них ливрею князя.

– Послушай-ка, красавец писанный, – обратился Орлов к высокому рыжему парню в веснушках и с попорченным оспою лицом, – чей это дом, а?

Артемий слушал издали.

– А вам что, собственно? – переспросил парень, обидевшийся на слово «писанный красавец», потому что это название вызвало улыбку на лицах остальных.

– Это – дом князя Проскурова, – с важностью ответили из толпы, оробев, должно быть, пред важною, барскою осанкой молодого Орлова, поистине писаного красавца.

– А это что же – княжна или княгиня будет сама?

Сердце Артемия забилося еще сильнее. В самом деле, Ольга могла выйти замуж в его отсутствие, и он, затаив дыхание, как невинно судимый, ждет оправдания или приговора, ждал ответа на заданный Орловым вопрос.

– А это – княжна, дочь князя Андрея Николаевича, – отвечали опять, и свет, и жизнь вернулись к Артемию.

Орлов засунул руку в карман, вытащил горсть медных денег и, кинув ее в толпу, толкнул ногою лошадь.

– Что с тобою? – спросил он, подъехав к Артемию.

«Ага, все-таки заметно!» – подумал тот и постарался как можно спокойнее ответить:

– Ничего... После расскажу как-нибудь.

Орлов еще раз обернулся в ту сторону, куда исчезла карета, и они поехали дальше.

«А отчего «после», зачем «после»? – думал Артемий. – Рассказать ему сейчас... да, конечно...»

– Да я сейчас расскажу тебе, – проговорил он вслух. – Знаешь ли, эта девушка, которую мы видели сейчас... Ну, Словом, княжна Проскурова...

И он, не торопясь, передал Орлову все свои связанные с княжнью Проскуровой воспоминания, сам радуясь им и с любовью останавливаясь на каждой мелкой подробности.

Орлов слушал его не перебивая.

– Это бывает иногда у женщин, – сказал он наконец, отвечая на главное, то есть на то, что должно было составлять самое причину страдания Артемия – внезапную перемену в Ольге при последнем их свидании. – Женщины, в особенности девушки, так «капризны», как называют это французы, – вот у нас подходящего слова нет, – что никогда не знаешь, как с ними обходиться... И ничего не значит, что княжна приняла тебя так последний раз... А хороша она, хороша... можно тебя поздравить – очень хороша...

– Ну, поздравлять еще не с чем! – перебил Артемий.

– Все устроится! – протянул Орлов. – Дай только закончить наше дело, и тогда княжна будет твоею... я ручаюсь за это...

«А ведь в самом деле! – чувствуя, как, словно от удара молнии, встряхнулось все в нем, мысленно согласился Артемий, – в самом деле...»

И соображение Орлова показалось ему вдруг настолько

вероятным, что он боялся продолжать говорить о нем.

– Ну, и хорошо, ну, и не будем говорить об этом! – произнес он вслух. – Как фамилия того управляющего, к которому мы едем?

– Одар, – коротко ответил Орлов.

– А как он пишет свою фамилию, этот Одар? – спросил опять Артемий.

Орлов глянул ему прямо в глаза и назвал латинские буквы: o, d, a, r, t.

Артемий снова задумался.

«Odart» – наоборот выходило – «trado», то есть отдаю, передаю, вручаю... У Плавта где-то сказано – «trado tibi regnum», передаю тебе царство... Мало того, Артемий знал, какая сила носит таинственное название «od» (первая часть имени) и что значит остальное – art. Он уже умел читать это слово в таинственном его смысле... И вдруг его поразило еще новое: если от пяти букв имени «odart» взять одну «d», то есть четвертую, священную букву алфавита, то останется «oart» или при перестановке выйдет «taro, tora, rato, oral», и еще более таинственное значение этих четырех слов было также известно ему.

Но кто же мог носить такое имя, невольно долженствовавшее поразить всякого посвященного? Тут едва ли могла быть простая случайность. Нет, это имя мог избрать себе человек, знавший то, что он делал, а таким человеком мог быть только один.

– Григорий Григорьевич, – вдруг воскликнул Артемий, – «одарт» – ведь это он!..

Орлов опять посмотрел ему прямо в глаза и с улыбкой утвердительно кивнул головой.

– Да? – переспросил Артемий. – Ну, так скорее к нему!..

Они дали лошадям шпоры, и те, наскучив идти шагом, крупную рысью пустились по дороге.

VI. Агент

Граф Сен-Жермен, выйдя из кабинета императрицы и снова преобразившись в управляющего-пьемонтца, под париком которого никто не был бы в состоянии узнать его, отправился прямо на мызу, где к вечеру ждал к себе гостей. Он уехал в одноколке, как и должен был это делать скромный управляющий, и по дороге даже заехал в лавки за кое-какими покупками для хозяйства.

Добравшись до своей мызы, он остановился у кузницы, поговорил с кузнецом, насколько тот мог понимать знаки и мимику иностранца-управляющего, не говорившего ни слова по-русски, потом внимательно оглядел возвращавшееся с поля стадо и только тогда уже подъехал к маленькому, низенькому домику в две комнаты под соломенной крышей, где он жил. Остановив свою лошадь у чистенького, дубового крылечка домика, граф вышел из одноколки, поджидая, что ему навстречу выбежит служивший у него человек, который должен был слышать стук подъехавшего экипажа. Но он не появлялся.

– Петручио! – крикнул граф.

Петручио был несколько дней тому назад поступившим к нему слугой-итальянцем, завезенным каким-то русским баарином из Италии и скитавшимся без места по Петербургу. Своего слугу Сен-Жермену пришлось отправить спешно с

поручением за границу, и он взял на время бесприютного Петручио.

Граф позвал его еще раз, но опять напрасно.

Это казалось подозрительным.

Сен-Жермен, оставив лошадь, быстрыми шагами вошел на крылечко, миновал крошечную прихожую и отворил дверь в первую комнату, служившую ему и приемной, и кабинетом.

Первое, на что он взглянул, войдя в комнату, был стоявший в углу дубовый крепкий шкаф, окованный железными полосами. Первая, наружная, дверца этого шкафа запиралась простым замком.

«Так и есть», – улыбнулся Сен-Жермен.

Эта дверца была открыта настежь. Но за нею была еще доска на секретном механизме с двумя медными скобами, к которым были проведены изнутри приводы от сильно заряженной лейденской банки, так что человек, не знавший, в чем дело, но пожелавший проникнуть в шкаф, должен был взяться руками за скобы, – потому что иначе нельзя было открыть, – и, взявшись, получить сильный электрический удар, соединив собою цепь и разряжая вследствие этого банку.

Сен-Жермен достал так называемый «разрядчик», приложил его к скобам, – искры не оказалось. Банка была уже разряжена.

Сомнения больше не было: Петручио, пользуясь отсутствием графа, пытался забраться в его шкаф и получил весь

заряд электричества.

Сен-Жермен не мог удержать новую улыбку, представив себе, что сделалось с любопытным итальянцем в первую минуту, когда его тряхнуло, и какую он, вероятно, скорчил при этом гримасу, сочтя полученный удар за сверхъестественную силу.

– Петручио! – крикнул он опять. Но ответа опять не было.

– Петручио! – повторил Сен-Жермен, и на этот раз голосом, в котором слышалась такая сила приказания несокрушимой воли, что, казалось, прикажи он двинуться этим голосом стене, и она двинулась бы.

В камерке за прихожей послышалось неуверенное движение.

«А, наконец!» – подумал Сен-Жермен.

На пороге показался бледный, словно в воду окунутый, Петручио. Он теперь боялся не только войти в комнату, но даже взглянуть в тот угол, где стоял напугавший его шкаф.

Он втянул голову в плечи и не поднимал опущенных глаз.

– Петручио, – спокойно приказал граф, как будто не произошло ничего особенного, – закройте, пожалуйста, эту дверцу у шкафа...

Петручио ничего не ответил, но и не двинулся.

– Закройте, я вам говорю!

Петручио покосился на угол. Судорожная дрожь пробежала по всему его телу, как будто он еще раз коснулся этих заколдованных скобок.

– Я не могу сделать это, синьор! – чуть слышно прошептал он.

– А, значит, вы уже пробовали, что так уверенно говорите, что не можете?

– Нет, я ничего не пробовал... нет, я ничего не делал... я per basso не виноват, синьор, клянусь вам своим патроном!..

– Кто же отворил дверцу, если не вы?

Петручио вдруг всплеснул руками и заговорил неожиданно быстро:

– Синьор, эта дверца была уже отворена, она не была заперта; я подошел и хотел только почистить эти блестящие медные скобки, и вдруг со мной случилось что-то такое особенное, словно все внутренности перевернулись во мне, и страшный удар в грудь оттолкнул меня... О, не подходите к этому шкафу – в нем, вероятно, поселился дух, не подпускающий к себе. Мы живем в заколдованном доме...

Но Сен-Жермен на глазах Петручио подошел к шкафу, взялся обеими руками за скобы, попробовал, крепко ли держится доска на своем механизме, а затем обернулся к Петручио:

– Вы видите, кто подходит без дурных целей, того дух этого шкафа не трогает.

Он оглядел наружную дверцу. В ее замке оказался поддельный ключ, с перепугу забытый тут Петручио.

– Ну, а этот ключ тоже дал вам дух или, может быть, он заранее открыл дверцу? – спросил Сен-Жермен.

Теперь Петручио уже совершенно не знал, что отвечать ему. Он был окончательно пойман.

Граф близко подошел к нему и спросил:

– Откуда у вас ключ, Петручио?

Тот все еще мялся, но затем вдруг тряхнул головою и, словно решившись, заговорил так, что слова потекли у него, точно вода из прорванной плотины:

– Синьор, в этом уж я – сама Мадонна – свидетельница – не виноват... Ключ я получил от одного синьора, который, как бес – будь ему хорошо на том свете – соблазнил меня... Синьор... простите, синьор, но я – бедный человек, синьор... и вдруг мне дали большую сумму...

– Чтобы вы следили за мною?

– Вы это знаете, синьор? – удивился Петручио.

Сен-Жермен пожал плечами.

– Мало ли что я знаю! Я знаю, может быть, и имя того, кто нанял вас... Хотите, я вам назову его?

– О, синьор!..

– Вас нанял тоже ваш соотечественник, Джузеппе Торичиоли, – проговорил граф.

Петручио вновь вздрогнул, как будто новая электрическая искра пронизала его тело. Он не только с испугом, но с каким-то подобострастным ужасом взглянул теперь на своего господина и едва выговорил:

– Вы все знаете, синьор, вы все знаете и все можете... Сначала я удивлялся тому синьору, синьору Торичиоли, откуда

у него от вашего шкафа ключ, который он дал мне, а теперь я удивляюсь вам... Простите меня!..

Простодушие Петручио понравилось графу.

– Ключ он достал очень просто. Когда он был у меня в последний раз, то, воображая, что я не вижу этого, сделал воском слепок с замка и заказал ключ по этому слепку... Вот и все... Ну, а какую сумму обещал платить вам синьор Торичиоли?

– Двадцать рублей в месяц.

Презрительная улыбка скользнула по губам Сен-Жермена.

– Я вам дам, – отдельно произнес он каждое слово, – сто рублей в месяц, если вы сейчас же отправитесь к Торичиоли, скажете ему, что я прогнал вас за то, что вы разбили что-нибудь у меня, скажете, что вам некуда деваться и попроситесь служить у него хоть даром, лишь бы иметь кров, а сами аккуратно будете доносить мне все, что делает синьор Торичиоли.

Глаза Петручио широко открылись.

– Сто рублей! – проговорил он. – Четыреста лир! Ведь это – целое состояние...

– Оно будет ваше, но помните, что вы видели, что мне известно многое, и, если с вашей стороны будет хотя бы малейшее отклонение, берегитесь духа...

– О, синьор, я буду служить вам, я буду служить вам...

– Еще одно условие: всякому, кто покажет вам в своей

руке этот перстень, вы будете повиноваться, как мне самому, – и граф показал Петручио большой агатовый перстень, на камне которого были вырезаны змея, пентаграмма и буквы «С. S. G.».

– Да, я буду повиноваться, – подтвердил Петручио.

Через полчаса он, получив от Одара десять червонцев в задаток за свою службу, уже ехал в город в той же самой одноколке, в которой вернулся Одар на мызу.

VII. Совещание

Едва успел граф отправить Петручио, как на мызу к нему с разных сторон стали съезжаться поодиночке и по несколько зараз гости, которых он ждал к себе.

Артемий с Орловым явились довольно поздно, когда почти все были в сборе. К своему удивлению, он увидел себя здесь окруженным людьми, большинство которых было известно ему по Кенигсбергу: это оказался тот же, хотя и развившийся с тех пор, кружок, с которым Артемий познакомился уже три года тому назад. В продолжение этих трех лет связь кружка не только не стала слабее, но, напротив, окрепла и развилась.

Граф Сен-Жермен не забывал дома в узенькой старинной улице Кенигсберга. Он наезжал туда, каждый раз заранее назначая время своего прибытия и никогда не опаздывая ни на минуту против указанного срока.

Артемий виделся с ним и изредка писал ему (всегда, однако, по одному и тому же адресу – в Париж) и получал ответы. При последнем их свидании в Кенигсберге граф сказал ему:

– До свиданья, до Петербурга теперь.

– Как «до Петербурга»? – удивился Артемий, думая, что он ослышался.

– Да, до Петербурга, – повторил Сен-Жермен, – мы встретимся с вами уже в Петербурге...

Может быть, прежде Артемий поразился бы той уверенности, с которой это было сказано. То, что граф, видимо, вполне свободный человек, мог поехать в русскую столицу, когда ему вздумается, не могло показаться невероятным, но как мог туда попасть сам Артемий – это он не умел придумать. Однако он уже давно научился удивляться всему, что касалось его руководителя и наставника, таинственного графа. Он привык верить ему. Раз графом было сказано, что так будет, – значит, оно и должно быть так.

И действительно, все случилось теперь как по писаному: Артемия совершенно неожиданно для него самого послали курьером в Петербург, и почти немедленно по приезде сюда он должен был отправиться с Орловым к пьемонтцу Одару, под именем которого ему легко было по значению составивших это имя букв узнать графа Сен-Жермена.

Своих гостей, заключенных в нравственной цепи, главным звеном которой являлся он сам, Сен-Жермен не боялся принимать, выходя к ним не под париком Одара, а так, как они привыкли видеть его ранее.

Когда Артемий очутился на мызе среди знакомых, своих лиц, ему показалось, что он все еще в Кенигсберге и сидит у их ласкового хозяина, когда они, бывало, собирались к нему по вечерам. Только обстановка комнаты была несколько иная, и лица теперь, не исключая самого графа, были серьезнее и сосредоточеннее.

В окна глядели прозрачные северные сумерки, позволяв-

шие не зажигать в комнате свечей и наполнявшие ее таинственной полутьмой, в которой все лица и предметы казались силуэтами. Впрочем, отсутствие свечей было одной из предосторожностей на случай внезапного приезда какого-нибудь нежеланного гостя, хотя, правда, такие гости на отдаленную ферму почти не заглядывали. Ради предосторожности же сидели не в первой комнате, выходящей окнами к крыльцу, а в следующей, расположенной со стороны сада. Сад был обнесен забором, и его калитка была заперта на ключ.

У круглого стола между окон сидел граф. Возле него было несколько человек, остальные разговаривали стоя. Орлов с братом сидел на низеньком подоконнике.

Артемий как приезжий не мог ничего рассказать нового — разве только о недовольстве, господствовавшем в армии, откуда он приехал. Но разговор шел об императрице, и Артемию было интересно слушать, чем рассказывать самому. Он отошел в сторону и остановился в углу, прислонившись к печке. Отсюда ему были видны вся комната и все находившиеся в ней. Однако все они казались взволнованными настолько, насколько можно было быть взволнованным в присутствии графа, этого железного, как казалось, человека, никогда ничем не волновавшегося и сообщавшего свое удивительное спокойствие всем, находившимся в его обществе.

Сен-Жермен передал подробности своего сегодняшнего доклада у императрицы, положение которой во дворце с каж-

дым днем становилось все хуже и хуже.

– Представьте себе, – произнес преображенец, останавливаясь среди комнаты и привлекая общее внимание. – Петр открыто, не стесняясь, выражает теперь свое благоволение к Воронцовой, которая позволяет себе относиться с неизъяснимым высокомерием к государыне.

– Да, – подтвердили у стола, – вы знаете, на днях он прямо сказал Дашковой, что лучше ей держать сторону своей сестры.

– Хуже этого: вот дословно его обращение к Дашковой, – это при мне было, – и говоривший это встал и постарался передать слышанные им слова с тою же интонацией, с какой они были сказаны Петром Третьим: «Будьте к нам, – сказал он, – немножко повнимательнее. Ваши интересы требуют, чтобы вы изучили мысли своей сестры и старались снискать ее покровительство».

– Ее покровительство! – послышалось кругом. – Это ужасно, просто ужасно!..

– А вы знаете подробности об обеде в честь мира с Пруссией? – заговорил еще кто-то.

Орлов повернулся на подоконнике и стал угрюмо смотреть в окно. В руках он нервно вертел палку, которою подпирали раму, когда она бывала поднята.

– Когда пили за здоровье императорской фамилии, – продолжал начавший рассказ, – то после тоста Петр велел стоявшему за креслами Гудовичу спросить императрицу, отчего

она не встала при тосте. Должен же он был знать, однако, что государыне вставать и не приличествовало, раз она принадлежит сама к императорской фамилии... Или он не считает, что она принадлежит к последней? Но когда Гудович передал ответ императрицы, которая объяснила, что не встала согласно этикету, то он крикнул ей через весь стол: «Дура».

Палка крякнула в руках Орлова и сломалась пополам. Он не мог равнодушно слушать рассказ об эпизоде, который был известен ему уже ранее во всех подробностях. Но в числе присутствующих были и такие, как Артемий, которые еще ничего не слышали.

– Да что ж это? – заговорили опять все сразу. – Когда же это кончится?... Дольше не может же это продолжаться!.. Ведь она наконец не вынесет всего этого... Это в гроб уложит ее... Или в монастырь сошлют... Нужно решиться наконец... Нужно действовать... Что же мы сидим, разговариваем?

– Нужно действовать, граф, – решительно поднимая голову и отбрасывая в сторону куски сломанной палки, обратился Орлов к Сен-Жермену, до сих пор хранившему свое молчаливое спокойствие.

За Орловым и остальные обратились к нему:

– Да, граф, нужно действовать, нужно начать, пора.

Всеобщее возбуждение росло.

Сен-Жермен, один остававшийся по-прежнему спокойным, провел рукою по лицу и твердо произнес:

– Нет, не пора еще: вы все еще слишком готовы разгорячиться.

– Да что – мы! – снова послышались голоса. – О нас нечего говорить, теперь не о нас речь...

– Да, но от вас зависит успех дела. Малейшая неосторожность, малейшая горячность погубит его.

– Зачем губить, – громче остальных проговорил Орлов, – но нужно вспомнить только, каково ей!.. ей-то каково!.. И горы, кажется, двинутся ей на помощь, должны двинуться, по крайней мере...

– О, не слишком, не слишком! – движением руки остановил совсем разгорячившегося было Орлова Сен-Жермен. – Вот видите – вы забыли главное.

– Что главное? – переспросил Орлов.

– То, что чем хуже ей теперь, тем лучше... Ничего в жизни не бывает случайно: случай – это неожиданность; но то, чего не ожидает незнающий, предвидит мудрый.

Сен-Жермен заговорил своим тем особенно музыкальным голосом, слушать который так любил Артемий и в звуках которого он с радостью узнал едва знакомую ему интонацию, так и льющуюся в душу, умиротворяющую и успокаивающую.

И вдруг под влиянием этого голоса стихло все кругом.

– Все, что происходит, как все, что имеет форму, вытекает из течения или равновесия известных сил, – продолжал граф, – и эти силы можно выразить просто цифрами, а

посредством последних рассчитать, что должно случиться... Всякая резкость уравнивается равной с нею реакцией; смех влечет за собою слезы и, наоборот, слезы сменяются радостью, а унижение – возвышением. Бойтесь, когда вам весело, и предчувствуйте радость, когда вы плачете!.. Так, сегодня Навуходоносор объявляет себя равным Богу, а завтра преобразуется в бессмысленное животное... Сегодня торжествующий Александр Великий входит победителем в Вавилон и на алтарях ему зажигается ладан, но наступит завтра – и он умрет, упоенный вином и униженный своим невоздержанием... Будущность заключена в прошедшем и прошедшее – в будущем. Когда человек предвидит – он только вспоминает!.. Но вы знаете, что человек своею волею может изменить цепь причин, вызывающих события, и поступайте соответственно этому. Наше дело должно иметь исход благоприятный, как вывод из всего, что происходит теперь, но вы должны действовать не как слепцы, пробирающиеся ощупью, а как люди, обладающие светлым и ясным зрением. Когда слепец захочет сделать хорошо – у него в большинстве случаев выйдет дурно. Дыхание невежды может быть смертельно, дыхание мудрого – желательно!.. Когда страдает незнающий, – он заставляет страдать других, но мы... мы знаем, что это страдание принесет великие плоды. – Сен-Жермен поднялся со своего места. Глаза его блеснули особенным блеском, он поднял голову. – Помните, – заговорил он опять, – что не долго то время, когда вы будете сильными мира сего:

вас ждут возвышение, почести, награды, на вас посыплются милости вашей новой, любимой, прекрасной и мудрой императрицы Екатерины. Но не забывайте прожитого вами до сих пор времени – времени, когда вы были неизвестными, маленькими людьми; тогда к вам придут за вашей помощью другие маленькие люди, голодные будут просить накормить их и холодные – согреть их; не оттолкните от себя этих людей! Христос отдал Свое тело и напоил землю Своею кровью. Стремитесь к нему, старайтесь делать доброе во имя Его, и тогда счастье не оставит вас. Ну, а теперь к делу – будьте готовы по первому же призыву действовать. Время окончания нашего дела близится и наступит, может быть, скорее, чем вы думаете. А пока я каждому из вас отдельно скажу, что нужно предпринять теперь.

После этих слов графа разговор уже вполне принял характер делового совещания.

VIII. Блаженны плачущие

Не прошло и недели с тех пор, как Торичиоли был у стариков Эйзенбахов, чтобы передать им рассказ Артемия, как он снова явился к ним, будто для того, чтобы проведать.

На дворе стоял жаркий солнечный день, вполне летний. Войдя в гостиную Эйзенбахов, Торичиоли не мог не заметить теперь отсутствия в ней того изящества чистоты, которым всегда отличалось жилище барона. До сих пор все блесло в этой гостиной, далеко не роскошной, но сохранившей еще несколько дорогих вещей как остаток прежнего величия барона: пред диваном стоял стол карельской березы, с потолка спускалась медная люстра со стеклянными подставками, в простенке висело большое зеркало, составленное из трех квадратов; все это были вещи хорошие и дорогие. Но теперь зеркало потускнело от легкого слоя пыли, севшего на него, стол был сдвинут, на одном из окон была забыта опущенная штора с разрисованным на ней рыцарем, похожим на пастуха, или пастухом, похожим на рыцаря. Вообще, по этой изменившейся обстановке сразу было видно, что хозяйские руки баронессы Луизы опустились.

Торичиоли пришлось немало подождать. Он должен был несколько раз, по крайней мере, пройтись по комнате, пока наконец не вышел к нему барон.

– Вы нас извините, – растерянно заговорил тот, – у нас не

прибрано... знаете, после того дня... как... вы были у нас, жена и я... чувствуем себя очень дурно... Впрочем, садитесь.

Несчастный вид барона, его небритая борода, растерянный говор и даже внезапные слова «впрочем, садитесь» вполне соответствовали всему окружающему. Ясно было, что до подробного рассказа о том, как именно был ранен и упал их сын, старики Эйзенбахи еще надеялись, теперь же всякая надежда оставила их.

Торичиоли сел. Барон опустился на стул против него.

– Да, – начал было он опять, но тут же не выдержал, глаза его заморгали чаще, и слезы закапали из них.

– Вы все о сыне, о своем Карле! – проговорил Торичиоли очень-очень нежно и склонил голову на сторону.

Эйзенбах, силясь удержать непослушные слезы, глянул сквозь них на итальянца, как будто говоря этим взглядом: «А разве я могу, разве мы с моей Луизой можем думать теперь о ком-нибудь другом?»

Торичиоли вздохнул и вдруг сказал:

– Но знаете, барон, иногда известия, в особенности с войны, бывают ложны.

Барон махнул рукою:

– Думали мы так... пробовали думать, но нет, это верно. Не утешайте напрасно!.. Вы ведь говорили, что тот молодой человек сам видел.

– Но вашего сына неприятели могли подобрать в числе

раненых и держать затем как пленного.

Глаза старика барона, широко открытые, остановились на Торичиоли. Он смотрел на него уже тем неподвижным взглядом, каким смотрят люди, готовые помешаться.

– Да, – неумолимо продолжал итальянец, – теперь пленные возвращаются, может быть, и ваш сын...

– Послушайте, – вдруг сорвавшимся голосом перебил барон, – то, что вы говорите, очень жестоко... Послушайте, замолчите!.. Это только хуже мучит.

– Я только говорю, что теперь идет постоянный обмен пленными. Государь на другой же день после восшествия на престол написал королю Фридриху: «Не умедлил я нимало потребные указы отправить, дабы пленные, в моей державе находящиеся, немедленно освобождены и возвращены были».

Торичиоли цитировал по памяти письма Петра III, словно чувствуя потребность говорить, но, не зная, как это сделать, говорил словами письма.

Барон закрыл лицо руками.

– Нет, нет, – перебил он снова, – тогда бы Карл давно вернулся... Отчего ему было не вернуться раньше? О, я знаю Карла! Он все сделал бы, чтобы не замедлить ни минуты.

– Да, но, может быть, его задержало выздоровление.

Такая настойчивость Торичиоли начинала казаться странною.

– Да вы знаете что-нибудь? Вам известно? – с сердцем,

точно относясь к своему смертельному врагу, спросил барон у итальянца.

– То есть видите ли, – начал тот, – я, собственно... То есть я хочу только сказать, что все может случиться.

В это время от двери прямо к Торичиоли кинулась незаметно вошедшая старушка баронесса. Ее материнское сердце скорее и вернее отца угадало истину.

– Он жив, жив мой Карл! – крикнула она. – Да, вы приехали сказать нам об этом, вы приехали...

Дальше дыхания у нее не хватило, она не могла говорить, покачнулась.

Но барон вовремя успел подхватить ее.

– Да скажите же ей, – обернулся он к Торичиоли, – что нет, что это – неправда, что этого быть не может, если это в самом деле неправда, а если... Правда... То говорите... говорите!..

Торичиоли молчал.

– Нет, не говорите! – замахала руками старушка. – Нет, не надо... Сердце разорвется. Да что же вы молчите, Негг Джузеппе... Негг Джузеппе... Милый вы мой, милый!.. Он жив ведь?.. Да?.. Я угадала?.. Я знаю, что он жив... Где он?.. Иосиф... Иосиф Александрович?

Она в своем волнении никак не могла назвать имя Торичиоли и, попав наконец на настоящее, приостановилась. Впрочем, теперь ей было не до имени...

А «Негг Джузеппе» стоял на этот раз действительно умиленный, и губы у него дрожали, и подбородок трясся.

– Да, вы угадали, – силился произнести он.

– Угадала! – болезненно-радостным стоном вырвалось из груди старушки, и частые рыдания заглушили ее голос.

Барон почему-то крепко держал ее за локти вместо того, чтобы посадить, и усиленно шамкал губами, двигая ими во все стороны. Но он понимал, что слезы жены – ее спасение в настоящую минуту и что испуг неожиданной радости, чуть не убивший ее на месте, пройдет вместе с этими слезами.

– Она пляшит, она пляшит, плакает, – проговорил он, потеряв в этот миг способность русской речи и забывая слова, как баронесса забыла имя итальянца.

Но все-таки он опомнился первым.

Он усадил наконец жену, велел принести для нее уксуса, но все это было делом одной минуты.

– Так у вас есть письмо, есть известия? Вы знаете что-нибудь из военной канцелярии? – стал спрашивать он, стараясь теперь скрыть свою радость, как за минуту пред тем старался скрыть свое горе, и боясь произнести имя сына, чтобы опять не впасть в новое безумие своего слишком большого счастья.

– Да, я имею сведения, – ответил Торичиоли. – Но ради бога, успокойтесь!.. Я и боялся, что известие произведет на вас такое впечатление... Но что же будет, если он вернется...

– Он вернется!.. Вы говорите, он вернется?.. Так это мыслимо?.. О, да благословит вас Бог за одни эти слова! Ну, теперь ничего... Теперь ничего, говорите, что знаете! – стал молить барон, уже привыкнув к своей радости и действи-

тельно овладевая ею.

– А что было бы, я спрашиваю только, – продолжал Торичиоли, – что было бы, если бы он уже вернулся? Мои сведения настолько достоверны, что вы можете считать, как будто он уже вернулся.

Баронесса сложила на груди руки и шептала молитву. Она уже чувствовала, как пред тем угадала, что ее сын жив, что Торичиоли должен сказать о его приезде.

Как ни был опытен итальянец в сношениях с людьми, но невозможно было, чтобы его сбивчивые речи все-таки не были угаданы матерью...

– Где он, где он? – спросила она.

– Он близко от вас... От Петербурга... То есть он подъезжает... Может быть, подъехал... Приехал... То есть приехал со мною, – голос Торичиоли дрогнул. – Вот он! – мог только добавить он.

В этот момент дверь из прихожей отворилась и Карл, живой и невредимый, быстрыми шагами ворвался в комнату. Баронесса ахнула и упала в широко раскрытые его объятия; она припала к сыну и прижалась головой, охватив его шею, и дрожащими руками начала перебирать по его спине, словно ей мало было видеть его, нужно было еще чувствовать, трогать. Ее худое, измученное тело колыхалось от все не унимавшихся рыданий.

Сегодня утром Карл, приехав в Петербург, явился в военную канцелярию к начальству и, боясь испугать своим

внезапным возвращением мать и отца, решил найти какого-нибудь общего знакомого, с тем чтобы тот предупредил его стариков и подготовил их. В канцелярии он встретился с итальянцем Торичиоли, лучше которого, казалось, нельзя было найти для нужного Карлу дела, и они прямо из канцелярии поехали домой.

Карл остался в живых тем самым простым и естественным путем, о котором уже говорил Торичиоли. Пруссаки подобрали его после цорндорфской битвы, раненого, и как офицера, отправили в лазарет. После своего выздоровления Карл должен был остаться в числе пленных. Дать знать о себе он никак не мог, потому что все сообщения с Россией были прерваны.

В то самое время, когда в доме старого Эйзенбаха происходила радостная встреча Карла, у князя Андрея Николаевича, в его богатом дворце, удача сменилась неприятностью.

Давно ли, кажется, князь, полный надежд и самых радужных планов, принимал у себя Эйзенбаха и боялся, чтобы тот не расстроил его хорошего расположения духа, и вот теперь это расположение, не продержавшееся и неделю, сменилось самым мрачным. Проскуров ходил из угла в угол по своим отделанным и устроенным комнатам, но теперь уже ничто не радовало его и все казалось отвратительным и гадким.

– И нужно было сотни верст киселя есть... Нужно было приезжать... Вот невидаль!.. Как? Меня, князя Проскурова, принять так?! – ворчал он и опять ходил, и опять ворчал.

На нем был его бригадирский мундир, который он растегнул, но забыл снять, только что вернувшись из дворца.

Дело было в том, что государь принял его не только вовсе не так, как ожидал этого Проскуров, но даже так, как и предположить он себе не мог.

Прежде всего Петр совершенно не узнал Проскурова; он решительно не помнил своего посещения имения князя, когда завтракал у него. Из этого князь увидел, что напрасно надеялся на то, что именно сам государь приказал вернуть его из деревни.

Разговор затем у них произошел самый странный.

Петр, подойдя к Проскурову (это была не отдельная аудиенция, а общее представление), остановился пред ним и, видимо, затруднился, что бы ему такое сказать? Сердце князя сильно билось. Он уже видел по манере, с которою к нему подошли, что нельзя ждать ничего доброго. Петр мало изменился с тех пор, как Андрей Николаевич видел его у себя; у него были те же выпученные глаза, то же продолговатое лицо и то же выражение на нем застывшего испуга.

«Верно, в детстве испугали его!» – подумал князь, ничуть не удивляясь той смелости, с которою он думает про государя, стоя пред ним.

Но Петр производил впечатление далеко не внушительное. Напротив, в нем было заметно что-то слабое, болезненное, расстроенное, неестественно-жалкое.

– Ты умеешь курить кнастер? – вдруг спросил он Проску-

рова, совершенно неожиданно для того.

Князь смутился этим вопросом и не сразу ответил:

– Нет, ваше величество, то есть я... я не знаю...

– Ах, глупая голова! Разве ты не знаешь, что всякий человек должен курить кнастер, чтобы не быть бабой?

Князь, овладев собою, закусил губу, боясь ответить, потому что ответ, который можно было дать и который чуть не сорвался с его языка, мог повлечь за собою еще большие неприятности.

Петр все еще стоял перед ним, слегка покачивая ногою.

– Ну, а службу на новый образец знаешь? А? Знаешь?

Проскуров вспомнил рассказ барона про маршировку Трубецкого. Кровь прилила ему в голову – несчастный гневный припадок готов был овладеть им. Но он крепился изо всех сил, чтобы сдержать себя. Он смотрел прямо в глаза Петра, стараясь не словами, но этим взглядом ответить ему.

Тот не понял ни этого взгляда, ни выражения лица князя.

– Да что же он молчит? – обернулся он к стоявшему за ним тонкому и длинному придворному, совсем еще юноше. – Он совсем глупая голова!

С этими словами он повернулся и пошел дальше. Все это произошло на глазах многих, на глазах стариков и молодежи.

– Видал я бироновские времена, но эти еще хуже, – злобно процедил сквозь зубы князь и, не дождавшись конца приема, вышел из зала.

Не были ли слышны его слова или не поняли их, но, к

удивлению князя Проскурова, никто не остановил его, никто не удержал, как будто все так и должно быть и как будто прием происходил не во дворце русского императора, а в казарме.

Такое впечатление именно казармы и вынес князь Андрей Николаевич из своего посещения дворца.

В одном он только был уверен, а именно в том, что больше никогда не поедет туда.

IX. Забота Ольги

Весь дом уже знал, что князь Андрей Николаевич вернулся из дворца таким сердитым, каким давно его не видали в последнее время.

Мелкая дворня попряталась, как это обыкновенно водилось, по углам. Иван Пахомович ходил в буфетной совершенно так же, как это делал князь, ходя по залу и гостиным, и лишь изредка пробирался в столовую, чтобы послушать, не утих ли князь и нет ли надежды, что гроза уляжется. Но этой надежды, по-видимому, не было, князь все ходил и ходил, и Иван Пахомович качал головою, вздыхал и на цыпочках возвращался в буфетную.

– Что, батюшка вернулся уже? – услышал он голос княжны, когда, по крайней мере, в двадцатый раз подходил к дверям, ведшим из столовой в зал.

Иван Пахомович закачал головою и заговорил чуть слышным шепотом:

– Вернулся, но таким, что лучше, княжна, ваше сиятельство, и не ходите к ним.

Княжна нахмурила брови.

– И не ходите! – повторил Иван Пахомович. – Уж сколько годов не видел я их такими... Оборони бог теперь, какие сердитые!.. Не подступиться!..

Но дело, с которым княжна шла к отцу, было, видимо,

слишком серьезным для нее, чтобы вернуться назад. Она не испугалась предупреждения дворецкого и прошла мимо него в зал.

Иван Пахомович боязливо пропустил ее в дверь и поспешил сейчас же закрыть ее.

Войдя в зал, Ольга услышала сердитые шаги отца, приближавшегося ей навстречу. Она остановилась в ожидании. Старый князь показался в дверях.

Странные отношения установились между ними после разыгравшегося в Проскурове происшествия. Ольга скоро оправилась от своей болезни, не подозревая, разумеется, причины этого выздоровления, – причины, которая оставалась неизвестна никому, но которая кроме благотворного влияния на здоровье Ольги имела еще и другое, вполне действительное последствие: она забыла о своем чувстве к Артемию, забыла так, как будто это чувство исчезло в ней вместе с болезнью. Она нигде, ни с кем не заговаривала о любившем ее молодом человеке: ни с Дуняшей, ни с отцом, словом, решительно ни с кем. Князь Андрей Николаевич заметил эту ее особенность, не мог понять, отчего это происходит, не мог объяснить себе ни быстрого исчезновения болезни дочери, ни внезапной ее перемены в отношении к «найденышу» и, наведя обстоятельное следствие, мог убедиться лишь, что начало всего этого как раз совпадает со вторичным посещением Ольги доктора Шенинга. И он впервые в жизни согласился, что доктора что-нибудь да понимают. Но

с Ольгой он тоже никогда не говорил об Артемии и даже старался избегать всякого намека, так или иначе касающегося этого, как он думал, больного места в сердце дочери. И вот именно вследствие того, что был предмет, который они обходили в разговоре, и происходили те странные отношения, которые установились между ними. Искренности, полной и чистосердечной, никогда и прежде не бывало между князем и его дочерью, но теперь выражение этой искренности еще более уменьшилось.

Однако вместе с выздоровлением Ольги прибавилось и спокойствия князю. Оно заключалось главным образом в том, что все искания Ольгиной руки, словно по волшебству, прекратились, их как рукой сняло.

Так прожил князь последние годы с дочерью в деревне. Ольга почти никого не видала, и единственным утешением для нее оставались поездки в монастырь, которые она и прежде любила.

Однако, несмотря на свое уединение, Ольга не жаловалась на скуку и довольно равнодушно подчинялась ей. Когда отец сказал, что они едут в Петербург, она приняла это известие без радости, но и без сожаления к деревне, которую должна была оставить.

Напротив, князь Андрей Николаевич увозил ее в Петербург с собою не без тайного намерения подыскать ей в столице блестящую партию. Однако теперь, после представления государю, рушились все надежды князя.

Остановившись в дверях, Андрей Николаевич взглянул на Ольгу из-под своих нависших бровей прямо в упор, и все теперь не понравилось ему в ней: и новый петербургский наряд, сделанный у лучшей портнихи, которым он любовался еще вчера, и ее красивое, напоминавшее покойную княгиню, лицо, и вообще весь ее вид, смиренно-простой, но полный достоинства.

– Что тебе нужно? – спросил он.

– Мать Серафима приехала из нашего монастыря, – ответила Ольга.

– Какая мать Серафима? – дернул плечом князь.

– Из нашего монастыря. Она по поручению обители явилась сюда хлопотать о монастырских землях, их, говорят, отнимают у нас...

– Ну, так что ж? Мне-то какая печаль?

Князю теперь было решительно безразлично – хоть что угодно отнимай и у кого угодно.

– Она теперь у меня сидит. Она приехала прямо к нам и просит позволения остановиться у нас... Я уже распорядилась, но все-таки пришла спросить твоего разрешения.

Князь быстро вскинул на нее взор, и Ольга видела, как кровь хлынула ему в голову и как почти пурпурная краснота стала разливаться у него от затылка.

– «Я уже распорядилась!» – крикливым голосом передразнил князь дочь, хватаясь обеими руками за грудь. Он с самого своего приезда из дворца искал какого-нибудь повода,

чисто внешнего предлога, чтобы вылить свое сердце, и точно обрадовался первому попавшемуся и спешил рассердиться. – «Распорядилась!»! – повторил он. – Ну, если вы, государыня моя, знаете лучше меня, что делать, и распоряжаетесь, а ко мне приходите для одной только формы, ну, так и делайте, как знаете. Но только вот вам на этот раз доказательство, что всегда вы своим умом напутаете: вы распорядились, а мать Серафима ваша в пустом доме сидеть тут будет.

– Как «в пустом доме»? – удивилась Ольга, ничего не понимая.

– А так, что завтра мы уезжаем опять в деревню – нам здесь больше делать нечего... Понимаете? – снова повысил голос князь, – нам здесь делать нечего...

Вспышка гнева, подобная той, которая охватила теперь князя, не повторялась с ним с тех самых пор, как он, взбешенный, пришел в Проскурове на половину дочери, когда узнал о ее любви к Артемию.

Но у Ольги вместе с самим чувством исчезло и воспоминание обо всем, что могло так или иначе относиться к нему. Теперь она глядела на отца, и в ней происходило что-то непонятное. Она нередко замечала в себе это. Ей не то что казалось, что все это было когда-то, но вместе с тем она сознавала, что отец кричал на нее и совершенно вот так же, как теперь, даже совсем так же. Это чувство было мучительным, но отделаться от него было нельзя. Словно в настоящем поми-мо ее воли оказывалось какое-то прошедшее, но что именно,

она не могла уловить.

Теперь она видела, что недаром предупреждал ее Иван Пахомович, и стояла, втянув голову в плечи, словно ей грозил чисто физический удар.

Старый князь в своем бешенстве, видимо, ничего не сознавал. Он тяжело перевел дыхание, и новые потоки обидных слов готовы были вырваться у него, но в этот момент дверь отворилась и появившийся на пороге Иван Пахомович с лицом, которое бывает у людей, когда они решаются броситься в холодную воду, громко, гораздо громче обыкновенного, доложил:

– Доктор Шенинг.

При других условиях он ни за что не решился бы войти с докладом к князю во время его гневного припадка, зная, что за это может грозить такое наказание, которое можно было лишь придумать своенравному господину для своего крепостного, но теперь, помня болезнь княжны после подобной же истории, он, не колеблясь, пожертвовал собою, чтобы спасти ее и перевести грозу на себя.

– Какой там доктор? – начал было князь, обернувшись к дворецкому, как тот и ожидал этого, но не договорил и, взявшись снова за грудь, закрыл глаза.

Иван Пахомович сделал рукою знак Ольге, чтобы она воспользовалась удобной минутой и ушла.

Не подвернись тут лакей с лестницы, прибежавший сказать, что там доктор Шенинг просит доложить о нем, Иван

Пахомович вошел бы с чем-нибудь другим, но то обстоятельство, что доложил он именно о докторе, спасло его.

Князь остановился. И вдруг при имени доктора Шенинга пред ним ясно пронеслось все прошедшее в Проскурове, когда являлся туда этот человек. Вспомнил он тот свой припадок гнева, вспомнил, как заболела дочь, и, главное, вспомнил, что она опять теперь пред ним и что снова он рискует ее здоровьем! И словно варом обдало старого князя.

Да что в самом деле – враг он своей Ольге, палач ее, что ли? Ну, тогда она была виновата, но за что же теперь кричит он на нее? И вдруг он отнял руки, открыл глаза и совсем иным – новым и свежим – голосом приказал: «Просить!», а затем обратился к Ольге:

– Ты прими его... Это тот доктор...

Но, не докончив фразы, он повернулся и пошел к себе.

Иван Пахомович с удивлением поглядел ему вслед, потом взглянул на образ и перекрестился.

– Так прикажете просить, ваше сиятельство? – спросил он у Ольги.

– Да, батюшке угодно, чтобы я приняла, – ответила она и прошла в гостиную.

– Вы узнаете меня, княжна? – спросил Сен-Жермен, входя и здороваясь с Ольгой.

Княжна не могла не узнать его. Лицо его несколько не изменилось, на нем был совершенно такой же коричневый кафтан, такие же черные чулки и башмаки грубой работы,

какие видала Ольга, когда он являлся к ним в Проскурово. Она ясно помнила доктора, но как, при каких условиях и почему он был у них в деревне, решительно не могла восстановить в своей памяти.

Вероятно, усилие, с которым она старалась это сделать, было заметно, потому что доктор поспешил заговорить с нею. Он подробно стал расспрашивать ее о здоровье, не чувствует ли она временами слабости, головных болей или головокружения. Ольга отвечала, что особенно – нет, но иногда с ней бывает нечто странное – беспокойство какое-то, иногда беспричинное, а порой из-за какого-нибудь пустяка... Доктор слушал очень внимательно и серьезно.

Этот подробный расспрос его тянулся очень долго – очевидно, он интересовался состоянием здоровья Ольги. Несколько раз в его глазах мелькнула даже тень беспокойства. Но для Ольги их затянувшаяся беседа вовсе не казалась длинной. Напротив, она с большим удовольствием отвечала этому человеку, который, несмотря на то что был совсем чужой, говорил с нею с такою ласкою, теплотой и участием, как будто она была ему близкою. Он говорил с ней и любовался, потому что ею нельзя было не любоваться, и это-то именно инстинктивно нравилось ей, хотя она и не сознавала того, что ей нравилось.

– Вы и сегодня как будто расстроены? – спросил наконец Сен-Жермен, внимательно вглядываясь в девушку.

Она затруднилась с ответом, но все-таки промолвила:

– Да, я немножко встревожена... была пред вашим приходом.

Доктор глазами спросил объяснения причины тревоги.

«Отчего, однако, не сказать? – подумала Ольга. – Что ж, хуже от этого не будет».

– Я была поставлена в чрезвычайно неловкое положение, – пояснила она. – Возле нашей вотчины есть монастырь, и я, живя в деревне, часто ходила туда к одной монахине, матери Серафиме. Когда мы собирались в Петербург, то я знала, что ей нужно будет тоже приехать сюда, – ее монастырь посылал, – и пригласила ее непременно остановиться у нас... Сегодня она приехала, а батюшка говорит, что мы вдруг едем – может быть, уже завтра – обратно в Проскурово. Я это никак не могла подозревать... Выходит крайне неловко, я не знаю теперь, как вернуться к себе на половину и как сказать... Мать Серафима рассказывала мне, что давно бывала в Петербурге, когда-то жила здесь (по всему видно, что она была в лучшем обществе), но теперь у нее нет тут таких близких лиц, у кого бы она могла остановиться.

Сен-Жермен немного задумался, а потом вдруг спросил:

– Хотите, княжна, я помогу вашему горю?

Ольга никак не ожидала этого.

– Вот как! Значит, вы хотите не только оказывать помощь здоровью ваших пациентов, но и помогать им и в делах? – улыбаясь, сказала она, уверенная, что доктор шутит.

– Я говорю серьезно, княжна! Сам я здесь проездом и, ве-

роятно, завтра тоже уеду, но у меня есть здесь приятель – один пьемонтец, Одар; он служит управляющим в имении, небольшой мызе государыни... Ее величество, на сколько мне известно, весьма набожна и принимает близко к сердцу дела, касающиеся церкви. Можно попросить Одара; он – человек почтенный и не только устроит здесь вашу гостью, но даже может быть полезен ей в делах, если она приехала сюда от монастыря.

Она протянула доктору руку.

– Благодарю вас... я передам... Да, она будет очень благодарна. Но только с какой стати сделаете вы ей это одолжение?

– Я сделаю его вам, княжна, по праву звания вашего доктора, а, вы знаете, доктора – это до некоторой степени домашние животные.

– Такие, как вы, служат друзьями, – поправила Ольга. – Так я буду вам очень благодарна... и мать Серафима тоже.

– Не забудьте только, княжна, сказать ей, – с расстановкой произнес Сен-Жермен, – что доктор Шенинг рекомендует ей господина Одара.

Х. Список

После посещения графа на мызе Артемий всецело предался одному желанию, одному стремлению – по мере сил своих и возможности способствовать благополучному окончанию задуманного «действия». Он сжал в себе, сильно спрятал все остальные чувства и желания, запретил себе думать пока об Ольге, но именно только «пока», потому что знал, что близится то время, когда придут в исполнение лелеянные им столько лет мечты. Почему-то он был уверен, что все устроится, что все будет хорошо, лишь бы им окончить начатое дело. Ольга не могла в действительности разлюбить его. Что с нею было тогда, он не знал, но можно было предположить, что это произошло от ее болезни, беспокойства. Но главное – она была не замужем, и Артемий нашел целую вереницу вполне последовательных доводов, чтобы успокоиться. И он успокоился и запретил себе думать об Ольге.

Однако его тянуло проехать хоть один еще раз мимо дома, где жила она, чтобы попытать счастья, не увидит ли он ее опять.

«Один раз – не беда», – решил он и все-таки поехал.

И чуть было не пришлось ему раскаяться в этом, чуть было он не наделал глупостей. На беду его прямо пред ним к дому князя Проскурова подъехала изящная карета. Она была без гусар и гайдуков; очевидно, это была не княжна, а кто-

нибудь из мужчин.

И сердце снова забилось у Артемия – кто мог приезжать так к князю Андрею Николаевичу? Уж не какой ли-нибудь молодой человек, искатель руки Ольги, счастливый соперник его, Артемия?

Карета остановилась и из нее вышел граф Сен-Жермен.

Это было как раз в тот день, когда граф под именем доктора Шенинга приехал к Проскуровым и застал разыгравшуюся между отцом и дочерью сцену.

Артемию, сейчас же узнавшему графа, стало стыдно за свою тревогу.

И чего было волноваться ему? Разве и помимо графа не мог приехать к старому князю кто-нибудь по делу или вообще как знакомый, вовсе не имея никаких видов на княжну? А тут является граф, человек, как казалось Артемию, далекий от всяких подозрений. И ему стало так стыдно, что он имел слабость не выдержать характера и ехать под окна Ольги, что он быстро повернул лошадь и, как от погони, поскакал прочь, чтобы не встретиться с графом, который сейчас же поймет, в чем дело.

Но зачем графу было приезжать к Проскуровым и притом не под видом Одара, а таким, как он был на самом деле и каким Артемий знал его в Кенигсберге?

Этот вопрос мелькнул в голове Артемия, но он сейчас же заглушил его. За три года своего знакомства с Сен-Жерменом он должен был привыкнуть к действиям этого человека,

иногда казавшимися, на первый взгляд, странными, но всегда имевшими строго рассчитанную причину и впоследствии объяснявшимися редким предвидением и расчетом графа. С Сен-Жерменом нельзя было ничему удивляться: раз он делал что-нибудь – значит, так было нужно, и Артемий уже давно убедился в этом.

И он постарался уничтожить в себе свои сомнения, отогнать от себя даже пришедшую в его голову мысль: а что, если граф навещает дом Проскурова, работая в его, Артемия, пользу?

«Все будет, все будет хорошо! – повторил себе он. – Лишь бы устроилось наше главное общее дело, а тогда все личные дела придут к желанному окончанию».

И с этих пор он уже не беспокоился о себе, стараясь думать и беспокоиться только об «общем их деле».

Во время совещания на мызе было решено, что Григорий Орлов составит окончательный список военных, готовых принять участие в этом деле. Нужно было подвести итог, на кого они могли рассчитывать, если бы вдруг понадобилось действовать спешно и неожиданно.

Предполагалось, собственно, воспользоваться отъездом Петра III в действующую армию для войны с Данией, которую он затевал из-за Голштинии и в которой лично желал предводительствовать войсками, «чтобы, – как он писал Фридриху II, – покрыть себя пред коронацией славой военных подвигов».

Из-за такого не совсем скромного предположения Россия, и без того уже отягощенная пятилетней борьбой с пруссаками – борьбой, не принесшей вследствие заключенного мира никаких, кроме стыда, результатов, – должна была вступать в новую борьбу.

Об отправлении Петра в армию говорили уже, как о событии решенном, и им-то и хотели воспользоваться друзья Екатерины. Но сама она находилась в таком положении, что не могла ручаться за завтрашний день: каждая минута грозила ей заточением в монастырь, и, следовательно, нужно было быть готовым каждую минуту.

Орлов пользовался в городе репутацией кутилы и человека, любившего пожить на широкую ногу, но не способного на что-нибудь серьезное. От него и от его компании менее всего можно было ожидать каких-либо «действ», но в этом-то и заключалась самая суть, то есть что удар готовился оттуда, откуда его совершенно не ждали. Добродушный, хлебосольный, веселый Орлов поддерживал эту репутацию и под видом кутежа и пирушки вербовал сторонников государыни. Вся гвардия знала и любила его. Это был лихой офицер, обладавший буквально геркулесовой силой, всегда веселый, по виду беспечный. С ним было приятно проводить время, и все охотно шли к нему.

Для того чтобы составить свой список, испытать, так сказать, тех из офицеров, на которых он мог рассчитывать, Орлов прибег к давно испытанному средству, то есть устроил у

себя товарищеское офицерское «пьяное сиюдение», как это называлось в то время.

Собралось, разумеется, много народа – все военные, молодые люди, офицеры. Орлов со своими ближайшими помощниками, среди которых был и Артемий, усердно пил сам, но заставлял пить и других, подливая им вина, однако в то же время следил за ходом общего разговора.

Говорили, разумеется, о военных, всем одинаково близких, делах, которые шли теперь так, что, кроме недовольства, ничего не могли вызвать.

Орлов все время внимательно прислушивался к выражению этого недовольства, стараясь подбодрить его и наблюдая за тем, кто и что говорит, и можно ли положиться на каждого из собравшихся у него гостей. Все они, возбужденные вином и горячим разговором, казалось, высказывались совершенно искренне, и с удовольствием можно было видеть, что нет тут людей колеблющихся, но, напротив, они готовы хоть в огонь и в воду идти за императрицу. А тут собрались представители от всех полков, от всех родов оружия – значит, почти вся гвардия была на стороне Екатерины.

Говорили об уничтожении старой елизаветинской лейб-компании, – одном из первых распоряжений нового царствования. Само по себе уничтожение этой «гвардии из гвардии» не могло вызвать еще недовольствия, если бы на ее место не была заведена новая голштинская, иностранная гвардия, явно отличающаяся от русской. Говорили о том, что русскими

офицерами и заслуженными генералами самовольно распоряжался принц Георг, не отличавшийся еще никакими заслугами, повторяли слух о том, что и вовсе уничтожат русскую гвардию, распределив ее по армейским войскам. Говорили про ненужную перемену формы, про частые ученья и шагистику по прусскому образцу. Говорили об унижительной, непомерной приверженности Петра III ко всему прусскому, а в особенности к королю Фридриху, портрет которого Петр постоянно носил при себе в перстне.

– Да ведь это поклонение пред вчерашним нашим врагом! – крикнул один, – доходит до фетишизма какого-то... это – фетишизм положительно...

– Помилуйте, – подхватил другой, – *он*, – так называли обыкновенно в обществе Орлова Петра III, – с превеликою радостью хвастал пред гетманом Разумовским, что произведен Фридрихом в генерал-майоры прусской службы! Каково это, а?..

– Ну, что ж гетман?

– Да, что? Вы знаете гетмана – за словом в карман не полезет, – он ему и ответил, что вы, дескать, ваше величество, можете отмстить с лихвою королю прусскому: произведите его в русские фельдмаршалы!

И много подобных рассказов было передано у Орлова.

Гости засиделись до позднего часа. Наконец, проводив последнего гостя, Орлов, казавшийся в конце вечера совершенно пьяным, вдруг отрезвел, поправил свои растрепанные

курчавые волосы, провел рукою по лицу, и его пьяные блуждающие глаза засветились обычным им выражением ума, доброты и ласковой мягкости. Он отлично умел, когда нужно, казаться пьяным, но на самом деле никогда не терял головы от вина. Он вернулся из прихожей в опустевшую комнату, где у стола, заставленного посудой, пустыми флягами и бутылками, сидел Артемий, которого Орлов просил остаться.

Артемий в течение всего вечера только делал вид, что пьет, но почти совершенно не пил.

– Уф, душно! – проговорил Орлов, вздохнув с облегчением, и поднял окно.

Ранняя летняя петербургская заря уже забрезжилась на востоке, и синеватый свет ее был уже настолько силен, что пред ним теряло свою яркость покрасневшее пламя догоревших и оплывших свечей, и от всех предметов легла двойная тень.

Орлов потушил свечи.

– И без них будет видно, – сказал он опять. – Ну, теперь к делу!.. Достань, брат, у меня там бумагу и чернила; нужно записать сегодня же.

Артемий с видом своего – близкого у Орлова – человека прошел к нему в спальню, достал письменный прибор и, отодвинув с угла стола рюмки и стаканы, расположился на нем, чтобы писать.

– Завтра утром мне некогда будет, – снова заговорил Орлов, – так уж тебе придется отвезти этот список к графу на

мызу... Ты свободен?

– Да мне что ж делать? – ответил Артемий, – конечно, свободен... Ну, говори, что писать?

– Сначала Преображенский. Пиши: Бредихин, капитан-поручик, Баскаков, Протасов, Черков, Ступишин, кажется, все...

– А Дубянский, Захар? – сказал Артемий.

– Да, пиши Дубянского. Теперь Измайловский: Рославлевы два брата, Всеволжские, Голицын.

– Князь?

– Ну, да, Петька Голицын, Петра Алексеевич, Похвистнев, Вырубов... Кто еще?

Орлов стал припоминать. Артемий, облокотясь на руку, с пером в руках, задумался.

– Кажется, все, – проговорил Орлов. – Пиши теперь конную гвардию... Что ж ты заснул? – спросил вдруг он, видя, что Артемий не двигается.

– Нет, знаешь, – ответил тот, – этот арап у меня из головы не выходит.

– Какой арап?

– Разве ты не слышал? Сегодня Несвицкий рассказывал...

– Ах, вот Несвицкого забыли! Запиши его!.. Да, так что ж он рассказывал?

– У Петра арап есть, Нарцис...

– Знаю, – процедил сквозь зубы Орлов.

– Ну, этот Нарцис напился пьян и подрался с палачом на

улице. Так это, видишь ли, сочли бесчестьем для пьяного арапа и захотели реабилитировать его... В сени принесли знамена и покрыли ими арапа... Понимаешь? Полковые знамена! Ведь это – ужас!..

– Быть не может! – проговорил Орлов, военное сердце которого забилось при рассказе о таком оскорблении полковой святыни.

– Все это в сенях у Загряжских происходило, и сам Петр тут был.

– Ну, нечего сказать!.. Э да что, все равно ничего не поделаешь!.. Пиши дальше.

И Артемий со стиснутыми от нового прилива злобы губами наклонился опять над бумагой, его перо вновь заскрипело.

Орлов стал припоминать дальнейших сторонников императрицы, и, чем больше припоминали они с Артемием, тем больше рос их список, становившийся очень внушительным по своим размерам.

Звонили уже к ранней обедне, когда наконец Артемий ушел от Орлова с готовым списком в кармане, чтобы на другой день отвезти его к графу Сен-Жермену на мызу.

XI. Две встречи

Через некоторое время Артемий, почти не спавший всю ночь, велел оседлать себе лошадь и поехал на мызу. Чтобы не обращать на себя лишнего внимания, он старался держаться не больших улиц, а задворков. Он пересек Невскую перспективу и свернул не прямо на Фонтанной, а несколько дальше, позади садов, примыкавших к барским домам, выходявшим фасадом на набережную Фонтанной.

Здесь, справа от него, потянулись пустынные заборы этих садов, прохожие попадались редко, а проезжих и вовсе не было.

«Вот, должно быть, сад князя Проскурова», – подумал Артемий, глядя на деревянную, с каменными столбами, решетку, окопанную свежей канавой.

Утро было чудным, ясным; зелень, еще не успевшая потемнеть и покрыться летнею пылью, дышала полною жизнью и свежестью; город с его каменными и деревянными, теснящимися друг к другу, домами остался далеко позади.

Что-то давно знакомое, милое, деревенское схватило за сердце Артемия, и он невольно пустил свою лошадь шагом.

«Что это?» – остановился вдруг он, невольно обернувшись в сторону решетки.

Там стоял кто-то в белом платье, и Артемий сейчас же узнал, кто был этот кто-то.

Ольга стояла, опершись руками на решетку, и, положив на них подбородок, смотрела прямо на него. Глаза их встретились. Артемий видел, что она узнала его...

Их отделяли только одна неширокая канава, часть дороги и решетка.

Артемий видел, что княжна узнала его. И что ему было делать? Он снял шляпу и поклонился. Она, весело улыбнувшись, ответила ему, наклонив голову, и проговорила своим звонким, милым голосом, – голосом, которого Артемий не слышал столько лет.

– А я узнала вас сейчас же... Я помню вас по Проскурову, – добавила она, видимо, обрадовавшись Артемию, как старому знакомому, но только как знакомому, – не больше.

«Забыла, все забыла!» – пронеслось в голове Артемия, и, несмотря на то что он почувствовал, что не следует делать этого, он притянул к себе поводья и остановил окончательно лошадь.

– А вы... – проговорил он в свою очередь, не узнавая звука своего голоса. – Хотя вы и очень изменились, но я тоже узнал вас сию минуту.

Он нарочно подчеркнул слово «изменились», следя, какое это произведет действие на Ольгу; но она словно и не заметила этого.

– Неужели я переменилась? Говорят, напротив... А вы – уже офицер, и мундир вам очень идет... Вы давно в Петербурге?

– Нет, недавно. А вы?

– Мы тоже недавно – почти только что приехали, и теперь вдруг, несколько дней тому назад, батюшка велел снова укладываться... и мы опять собираемся в деревню.

– Как? Только что приехали и опять назад?

– Так угодно батюшке.

– Когда же вы едете?

– Не знаю, на днях – может быть, завтра, может, послезавтра...

«Боже, как это глупо!» – думал между тем Артемий, чувствуя, что они ведут какой-то нелепый, нескладный разговор, когда они после стольких долгих лет разлуки опять наедине и когда ему так много, много хочется сказать любимой девушке!

Но он не мог сказать ей так сразу все, что ему хотелось и что поглощало все его мысли теперь, а думать о другом он тоже не мог и потому говорил, что приходило на язык.

– А вам понравился Петербург? – спросил он.

Его слова спрашивали: «Вам понравился Петербург?» – но выражение их говорило: «А у вас нет здесь никого, у вас здесь нет ничего, что притягивало бы вас к Петербургу или, напротив, манило бы назад в деревню?»

– Нет, не понравилось мне здесь, – ответила Ольга совсем просто, – в этом городе душно как-то... ужасно душно... Я вот люблю сюда, к задней решетке сада приходиться, тут больше на деревню похоже... Нет, я люблю деревню больше го-

рода...

– А у вас этот сад большой?

– Да, но все-таки меньше, чем в Проскурове, зато он почти весь тут цветами усажен...

«Нет, не могу я дольше говорить так!» – решил Артемий и, несмотря на это свое решение, все-таки не сказал прямо, что думал, а спросил:

– Розаны... розаны есть здесь у князя?

На высоком, красиво округленном лбу Ольги между бровей появилась складка, которая служит у человека признаком напряжения и усилия, когда он с трудом вспоминает что-нибудь, хочет и никак не может припомнить.

Она помнила Артемия по Проскурову, как сказала она ему, но помимо этого она еще чувствовала, что должна была помнить еще что-то, но что именно, она не знала и не могла дать в том себе полный отчет.

Теперь, при звуке его голоса и в особенности, когда он сказал о розах, в голове у нее, словно молния, мелькнуло какое-то неясное, болезненное воспоминание; но это было именно болезненное, крайне тяжелое ощущение, которое исчезло, промелькнув, и снова она ничего не знала и не могла ничего вызвать из прошедшего, кроме того, что так помнила.

– Да, как в Проскурове, – ответила она опять с прежнею простотою на вопрос Артемия о розах.

Он взглянул на нее так, что, казалось, его жизнь зависит от того, как она посмотрит на него теперь, но она смотрела

невинными и ясными глазами прямо ему в лицо, и эти глаза не выражали ничего особенного.

Что ж это было? Насмешка, резкий и подчеркнуто-определенный намек на то, что все прежнее забыто, окончательно вычеркнуто из памяти? Но тогда было проще сразу уйти и не отвечать на поклон и не разговаривать. За что же так безжалостно мучить и казнить человека?

«А если так, то что ж теперь делать? – подумал Артемий. – Уйти, скорей уйти... иначе с ума сойти можно, если хоть миг, хоть секунду продолжится эта пытка!»

И, как утопающий инстинктивно ловит воду руками, сжимая их, чтобы спастись, так же и он невольно, не отдавая себе отчета в том, что делает, толкнул лошадь шпорами. Она двинулась вперед. Артемий, не ожидавший этого движения, качнулся на седле и, чтобы не свалилась его треугольная шляпа, схватился за нее рукою. Раз она была у него в руке, он поднял ее для поклона.

– До свиданья! – раздался голос Ольги.

Он крепче всадил свои шпоры и, справившись с затоптавшеюся лошадыю, поехал вскачь вперед по поросшей травую дороге, чувствуя, что глаза Ольги смотрят ему вслед.

Лошадь, не чувствуя дальнейших понуждений, скоро перешла из размашистого галопа в рысь и потом в шаг. Однако Артемий не заметил этого. Опомнился он только у городской рогатки, и потому только, что солнце начало сильно греть его, и он, зметил, как высоко успело оно подняться, сообра-

зил, что потерял слишком много времени и опоздает на мызу, где может не застать уже графа.

Все, только что случившееся, казалось ему как бы происшедшим во сне, словно он был теперь не наяву, а в грезе; но страх не исполнить в срок поручение отрезвил его.

Времени оставалось слишком мало, чтобы принять обыкновенную предосторожность, соблюдавшуюся при поездках на мызу, то есть взять направление не по прямой дороге, где могут быть неудобные встречи, а ехать окольным путем. Артемий решил ехать прямо и погнал лошадь во всю скачь.

Полпути он не давал ей вздохнуть. Она стала ослабевать. Артемий почувствовал, что не рассчитал ее сил и не соразмерил их с расстоянием. Нужно было во что бы то ни стало сделать остановку.

Он знал, что тут близко должен быть заезжий двор и рассчитывал на него.

У двора, когда подъехал к нему Артемий, стояла сломанная одноколка.

«А! – подумал он, – тут есть кто-то проезжий. Отлично! Я узнаю у него, может быть, который теперь час».

И он соскочил с лошади, крикнув дворника.

Проезжий, у которого Артемий намеревался узнать который час, был итальянцем Торичиоли.

ХII. Неосторожность

– А... вот кого я вижу, – встретил Торичиоли Артемия, который входил, нагибаясь, в низкую дверь придавленной потолком горницы заезжего двора.

Итальянец сидел в почетном углу у чистого, выскребленного липового стола, на котором стояла пред ним крынка с молоком, и лежал большой кус хлеба.

– Вот давно не видались, – продолжал он, – с самого вашего приезда... Ну, где вы и что вы? Как устроились в Петербурге, как живете?..

Торичиоли, у которого сломалась одноколка, волей-неволей обреченный судьбою на то, чтобы пробывать на заезжем дворе, пока не починят ему экипаж, пробовал было развлечься, спросив себе крынку молока, но теперь для него в лице Артемия явилось еще более интересное развлечение, и он очень обрадовался ему.

Но Артемий довольно холодно ответил на его приветствие. Ему вообще в том состоянии, в котором он находился, было неприятно встретиться с кем-нибудь, а еще более со знакомым. Нужно будет разговаривать с ним, отвечать на его вопросы, а Артемию именно хотелось, чтобы его оставили в покое.

– А Эйзенбах-то, Карл, которого мы с вами считали мертвым – помните, еще рассказывали мне подробности, – про-

должал Торичиоли, – жив ведь оказался. Он вернулся в числе возвращенных пленных... его старички-родители так были рады.

– Да? – равнодушно сказал Артемий и, пройдя мимо стола, сел не к итальянцу на лавку, а дальше, в противоположный угол.

«Он сердится, зачем я до сих пор не отдал ему его денег... с самого Кенигсберга... Вот оно что!» – сообразил Торичиоли, но сейчас же поспешил успокоить себя тем, что теперь он не может отдать свой долг, но сделает это, как только сможет.

И с видом, тоже вполне равнодушным, он принялся есть круглую, деревянную ложкой свое молоко.

– Который час, Иосиф Александрович? – спросил Артемий. – У вас есть часы?

Торичиоли не спеша вынул часы и сказал который час.

Было вовсе не так поздно, как думал Артемий: прямою дорогой и быстрою ездой он наверстал столько времени, что мог уже не торопиться.

Это успокоило его по отношению к поездке, но совсем успокоиться он, конечно, не мог! В его глазах все время стояла Ольга. Она казалась ему такую прекрасной, какой он даже в мечтах не помнил ее. Сегодня она была особенно хороша – и как белое платье шло ей, и как красиво облокотилась она на решетку, и зелень кругом, и самая решетка эта, и все было красиво!

В виски Артемия стучало, кровь прилила у него к голове.

Он сам устал от своей бешеной скачки; солнце так пекло, что пот лил с него градом; мундир его был покрыт толстым слоем пыли; в низенькой горнице было жарко и душно. Артемий и вошел-то сюда, чтобы вымыться только и освежить себя, помочив голову, но почему тут сидел Торичиоли?

– Отчего вы на воздухе не остались? – спросил он опять итальянца.

Тот ответил, что там еще хуже, потому что совершенно нет тени и сесть некуда, а на солнце просто невозможно оставаться.

– Сегодня такая жара, что я жалею, что выехал, – продолжал он, – мне хотелось навестить тут одного земляка – Одара – он управляющим на мызе... да вот одноколка сломалась – послал за кузнецом... А вы куда едете?

Нечто крайне странное произошло теперь с Артемием: после разговора с Ольгой он совсем потерял внутреннее равновесие, самообладание исчезло в нем, и он чувствовал, что не может владеть собою настолько, чтобы скрыть то, что происходит у него в душе.

Когда Торичиоли назвал Одара, он невольно взглянул на него, не успев скрыть удивление в своем взгляде.

– А вы тоже к нему? – подхватил тот.

И Артемий не смог ответить на этот вопрос отрицательно.

– Да, – произнес он, – я тоже к Одару.

Он потому ответил так прямо, что чувствовал, что Торичиоли все равно уже понял, что они ехали к одному и тому

же человеку и что если бы он дал неопределенный ответ, то последний еще хуже выдал бы его. К тому же они могли потом встретиться и у самого Одара.

– Вот как! – протянул итальянец. – Значит, нам по дороге... и я не знал, что вы знакомы с ним... Где же вы познакомились и по какому поводу?

– У меня поручение к нему из Кенигсберга: там один доктор просил передать ему письмо.

В это время чухонец-работник принес ведро холодной колодезной воды, глиняный таз и ручник.

– Та воду-то ринес... – заявил он, расставляя таз и ведро на лавку.

Артемий покосился на Торичиоли.

– Ах, пожалуйста, мойтесь при мне, – поспешил предупредить тот, поняв, что молодой человек стесняется при нем.

Артемий не заставил повторить приглашение. Он скинул мундир, засучил рукава и, ощущая освежающее прикосновение студеной воды, с удовольствием опустил в нее руки и стал плескать себе в лицо.

В дверь просунулась бородая голова дворника.

– Ваше благородие, барин милый, с лошадкой-то вашей что-то неладное, – сказал он Артемию.

Тот, нагнувшись над тазом, приподнял голову и обернулся к двери.

– Я говорю, лошадка ваша... того... – повторил дворник.

– Что «того?» – нетерпеливо спросил Артемий и, видимо,

беспокоясь о лошади, схватил ручник и, утираясь на ходу, пошел, как был, в одном камзоле, смотреть, что сделалось с нею.

Торичиоли остался в избе один.

Его сильно занимало, зачем Артемий, молодой офицер, человек военный, едет к пьемонтцу Одару, управляющему собственной мызой императрицы. Объяснение относительно доктора казалось ему подозрительным.

Брошенный на скамейку мундир Артемия сильно соблазнял его. Несколько секунд он просидел в нерешимости. Артемий медлил возвращением. Торичиоли встал и на цыпочках, точно его движения могли быть слышны там, на дворе, подкрался к скамейке. Осторожно, двумя пальцами приподнял он мундир и, перевернув его, бросил так, что левый рукав высунулся наружу. Потом он прислушался, не идут ли назад в избу. Ему послышались шаги. Он отскочил назад, подошел к двери и, приотворив ее, заглянул на двор.

На противоположной стороне двора, под навесом стоял у лошади Артемий с дворником и что-то объяснял ему. Чухонец-работник тащил охапку сена. Видимо, все были заняты.

Торичиоли закрыл дверь, быстро вернулся к скамейке, ощупал обшлаг у рукава (там ясно чувствовалась бумага) и, не теряя ни минуты, отстегнул пуговицы обшлага. Бумага, лежавшая там, оказалась вовсе не письмом. Это был сложенный вчетверо лист.

«Впрочем, – мелькнуло у Торичиоли, – если б тут было

что-нибудь важное, он не оставил бы мундира».

Был один миг – он хотел сунуть бумагу обратно, боясь, что сейчас придут... Но он держал ее в руках, и любопытство превозмогло.

Торичиоли развернул бумагу, на ней стоял длинный ряд фамилий, одних фамилий с поименованием полков – и только. Но этого «и только» было больше, чем довольно, для Торичиоли. Он сразу понял, в чем дело.

Одар – управляющий императрицы; офицер везет к нему список военных из разных полков. Недаром, значит, доносили в канцелярию о недовольстве в гвардии. Вот оно что!.. теперь все ясно. А главное, ясно, что в этом списке заключается целое состояние, целое богатство в виде награды тому, кто сумеет воспользоваться им.

И Торичиоли, сунув бумагу к себе в карман, трясущимися от волнения пальцами стал застегивать обшлаг.

XIII. Несчастье

Когда Артемий вернулся в избу, Торичиоли, как ни в чем не бывало, сидел на своем месте у стола и равнодушно смотрел в окно.

– Ну, что ваша лошадь? – спросил он, как будто и в самом деле интересовался лошадью, а не тем, чтобы поскорее уехал Артемий.

– Ничего, пустяки, – ответил тот, – она устала и дрожит; я велел обтереть ее водкой, и на ней хоть сейчас можно будет ехать дальше.

– Так, значит, вы едете?

– Да, я думаю, – и, говоря это, Артемий поспешно надел мундир, простился с Торичиоли и вышел из горницы.

– Передайте, пожалуйста, Одару, что я, по всей вероятности, уж не попаду к нему сегодня, – сказал вслед ему итальянец.

Через некоторое время он с облегченным сердцем увидел в окно, как Артемий верхом выехал из ворот и как потом по дороге за клубилась пыль под ногами его лошади.

Артемий ехал и все думал об Ольге. Что случилось с нею, отчего она была такая? Комедию она играть не могла, но и не могла она забыть в самом деле все, что было между ними, – так забыть, чтобы в ней и следа не оставалось; а между тем только при таком условии могла она вести себя так. Но что

же это значило?

И Артемий в сотый раз и на сотый лад перебирал все обстоятельства, все причины, в силу которых можно было объяснить поведение Ольги, но ни одна из этих причин не выдерживала мало-мальски серьезного обсуждения и сейчас же рушилась сама собою.

Артемий терялся в догадках и не мог найти выход из этого лабиринта.

«Посоветоваться разве с графом? – пришло ему в голову. – Рассказать ему?»

Но и эту мысль, на которой он остановился было в первую минуту с удовольствием, тотчас же отогнал. Ему показалось не только неудобным, но совершенно неуместным лезть теперь со своим чисто личным делом в то время, когда они общими силами работали над другим, более важным – конечно, не для Артемия, но для всех их – делом.

«Да, потом, потом, – повторял он себе, – потом, когда все устроится, тогда...»

Но тогда Ольга, вероятно, уже уедет?..

«Ах, Боже мой! Что же делать, что делать тут?» – уже почти с отчаянием думал Артемий, подъезжая к мызе.

Он застал графа в одежде, парике и очках Одара; он сидел у себя за письменным столом первой комнаты и занимался, по-видимому, счетами и книгами по хозяйству.

– Привезли? – обернулся он к Артемию, видя, что тот отстегивает обшлаг.

– Да, привез, – ответил Артемий и вдруг изменился в лице.

Отстегнув пуговицы, он запустил за обшлаг руку. Там бумаги не было.

Он растерянно стал ощупывать себя; его глаза остановились в немом ужасе. Потерять список или выронить его было невысказано, следовательно... кто-нибудь вынул его, расстегнув обшлаг... Но кто?

– Торичиоли! – вдруг громко крикнул Артемий, и пошатнувшись, схватился за стул, чтобы не упасть.

Граф поднялся со своего места.

В этом растерянном и пораженном ужасом молодом человеке он не мог узнать своего прежнего ученика Артемия, кажется, до сих пор понимавшего его уроки и вдруг дошедшего до того, чтобы потерять всякое самообладание.

– Что с вами? Опомнитесь! – проговорил он, подходя к Артемию.

– Граф... граф, – повторял тот вне себя, – все потеряно... Все пропало... Все кончено... Это – несчастье... Я несчастный человек... Я погубил все... Этот список, который я вез... Где были записаны все...

– Ну?

– Он у Торичиоли! – крикнул опять Артемий, не только не владея собою, но не владея даже своим голосом, который то спадал, то повышался у него теперь помимо его воли.

– Пройдите сюда! – сказал граф, нахмутив брови и, про-

ведя Артемия в следующую комнату, запер также дверь на ключ, после чего приказал: – Сядьте и рассказывайте все по порядку!

Для Артемия, как только он не нашел за обшлагом несчастного списка, все стало ясно в ту же минуту. Он помнил и отлично знал, что не забыл его дома; но он помнил тоже, что имел неосторожность оставить мундир в избе, когда выходил осмотреть лошадь.

И в кратких, едва понятных и едва связанных между собою словах рассказал он суть дела.

– Граф, – воскликнул он, не успев кончить рассказ, – ради бога, поедemте сейчас вместе! Вы можете еще помочь... Вы все можете... Я знаю... Я готов на все... Возьмите жизнь мою... Я отдам ее, только верните этот список.

Граф, молча, не торопясь, но и не теряя времени, снял, слушая Артемия, свои парик, очки и платье, достал из шкафа коричневый суконный кафтан, черные чулки и башмаки, и не успел Артемий опомниться, как Сен-Жермен из Одра превратился в доктора Шенинга.

– Мы едем, мы едем сейчас, мы догоним его на дороге, – с проблеском радости воскликнул Артемий. – Я силой, понимаете, силой отниму у него.

Граф подошел и, положив руку ему на плечо, тихим голосом сказал:

– Прежде чем мы поедem, сообщите мне, что с вами случилось? Ваша неосторожность так несообразна, что я, зная

вас, не могу допустить, что она была без какой-нибудь причины... и, вероятно, очень серьезной причины... Скажите мне ее!..

– Я не знаю, – начал было Артемий, – я понять не могу, но я потерял голову...

– Причину, причину, одним только словом!.. – перебил его граф, не отымая руки с его плеча и трянув головою.

Артемий знал способ того лаконического разговора, который любил граф и который был возможен только с ним, иногда понимавшим даже не с намека, а просто читавшим в мыслях своего собеседника. И он чуть слышно ответил ему одним словом:

– Ольга!..

– Вы видели ее?

– Да.

– Говорили?

– По дороге у решетки сада.

– А! – воскликнул граф и, впервые в жизни Артемий заметил в нем отдаленный намек на тревогу.

Это было странным. Сен-Жермен оставался совершенно, как всегда, спокоен при известии о пропаже списка и вдруг теперь что-то случилось с ним.

– И что же она? – спросил он снова.

Артемий пояснил, какова показалась ему Ольга и что он чувствовал после разговора с ней.

Сен-Жермен закрыл на минуту глаза.

– Да, – проговорил он, – причина серьезна и, может быть, в ней виноват я больше, чем вы... Едемте!

Через четверть часа они уже сидели на свежих оседланных лошадях и крупною рысью ехали по дороге в город.

Артемий думал, что они поскачут с места, ему хотелось вихрем понестись в догоню Торичиоли, но граф держал все время рысь, и Артемий должен был следовать за ним.

Они ехали молча, не сказав друг другу больше ни слова вплоть до заезжего двора на половине дороги.

XIV. Старые счета

У двора Артемий, к радости своей, увидел сломанную одноколку Торичиоли, стоявшую еще там, и обрадовался, сочтя это признаком того, что итальянец еще не уехал.

– Он здесь! – сказал он графу. – Он здесь еще... видите? Это его сломанный экипаж.

Но граф, не отвечая, ехал дальше, не укорачивая и не прибавляя шага своей лошади.

– Граф! Торичноли здесь, – повторил Артемий.

Ответа не было.

Артемий один повернул ко двору. Но Сен-Жермен и на этот раз, как всегда, оказался прав: нужно было ехать вперед, не останавливаясь. Дворник объяснил Артемию, что господин, который приехал в одноколке, сказал, что ждать ему надоело, и тотчас же по отъезде Артемия выменял у него, дворника, охотничье седло на одноколку, велел оседлать лошадь и быстро поскакал в город.

«Да, все кончено! – снова ужаснулся Артемий. – Все кончено, если он не поможет!»

Единственная надежда его была теперь на графа, и он, догнав того на дороге, послушно поехал за ним, ожидая лишь приказания, что делать, и решив оставить в стороне всякую личную инициативу.

«Боже мой! – следуя за графом, думал он. – И зачем я

поехал по этой дороге, зачем я остановился на этом дворе, зачем встретился с Торичиоли? Да, не имей я слабости остановиться у забора проскуровского сада – ничего этого, может быть, не было бы. Конечно, не будь этой причины, все обстояло бы благополучно... Но он назвал эту причину серьезной... Он сказал, что тут, может быть, и его вина...»

И Артемий уже решительно не мог понять, каким образом Ольга могла по вине графа забыть его, Артемия, то есть свое чувство к нему.

Жар начинал спадать, когда они подъехали к Петербургу. Только у самой рогатки Сен-Жермен обернулся к Артемию и сказал ему:

– Поезжайте сейчас к Орлову и ждите меня там.

Сказав это, граф повернулся куда-то в сторону и вскоре исчез из глаз своего спутника.

Артемий опустил голову и тихо поехал к Орлову.

Между тем Сен-Жермен быстро стал поворачивать из одного закоулка в другой, ни разу не сбившись в путанице заборов и домов, между которыми были в этой отдаленной от центра части Петербурга не улицы, а проезды, неправильные и случайные. Но он пробирался между ними, словно ехал по родному ему, давно знакомому городу, твердо зная направление, которого следовало ему держаться.

Вот он миновал наконец этот лабиринт закоулков, проехал небольшую рощу – остаток непроходимого когда-то леса, покрывавшего сравнительно недавно – лет пятьдесят то-

му назад – эту часть Петербурга, и очутился на довольно отдаленном берегу реки Фонтанной.

Здесь, за высоким деревянным забором, среди густой зелени стоял новый деревянный домик под тесовую, блестящую, как серебро, на солнце крышею.

Подъехав к калитке, граф соскочил с лошади и постучался в кольцо. Через несколько секунд послышались за калиткой по проложенным к ней мосткам тихие шаги, засов звякнул, дверца отворилась, и за нею показалась высокая фигура, старого кенигсбергского слуги Сен-Жермена. Он поклонился графу и пропустил его.

«А что, как он вдруг уедет? – внезапно пришло в голову Артемия по дороге к Орлову. – Мы выданы теперь, выхода нет; может быть, теперь уже все известно, и он, велев мне ехать к Орлову, сам бежит из Петербурга, чтобы спастись самому, а нас оставить на произвол судьбы!»

Но эта подлая мысль про графа мелькнула у Артемия только на один миг, и он сейчас же отогнал ее от себя, стыдясь за нее сам пред собою.

«Вот как все-таки гадок человек! – чувствуя, что краска покрывает его щеки, продолжал думать он. – Сам я кругом виноват – из-за меня все происходит – и сам же думаю про других дурно, потому только, что сам дурное сделал».

Войдя в калитку дома, Сен-Жермен обернулся к старику, спрашивая:

– Все ли у вас готово по обыкновению, Иоганн?

– Граф собирается ехать сейчас? – ответил Иоганн вопросом, – в таком случае карета, как всегда, к услугам вашего сиятельства, и на все пунктах остановок, вплоть до Парижа, ждут переменные лошади.

– Да, мне сейчас нужна карета, но только не для далекого путешествия – я еду в город. Кучера не нужно. Вы сами сядете на козлы.

Иоганн, очевидно, давно приученный к странному образу жизни графа, не медля, не удивляясь и не спрашивая, пошел исполнять его приказание.

Сен-Жермен в ожидании облокотился на загородку, отделявшую двор от разбитого пред домиком палисадника.

Ждать пришлось ему недолго. Почти сейчас же, словно бочка пожарной команды по сигналу, из-за дома выехала парная карета со старым Иоганном вместо кучера на козлах, а кучер бежал открывать ворота и отвести в конюшню лошадь, на которой приехал граф.

– К Джузеппе Торичиоли, – проговорил Сен-Жермен, садясь в карету.

Джузеппе жил на лучшей улице города – на Невской перспективе, вблизи Казанского собора. Он занимал очень приличное помещение, устроенное, однако, не на манер барских жилищ, и применительное к вкусам и привычкам иностранца.

К нему можно было попасть с парадного крыльца, не останавливаясь у него непременно в дорогом экипаже с гайдука-

ми и гусарами, которые бежали докладывать о приезде своего барина, встречали на крыльце лакеев хозяина дома и те, в свою очередь, шли докладывать приезжему, что его просят пожаловать. Так водилось у бояр, и добрых полчаса проходило в этих докладах, церемониях и переходах. У Торичиоли же просто, по заграничному образцу, висел у двери молоток, которым мог постучать всякий.

Дверь открыл Сен-Жермену знакомый ему Петручио, служивший теперь у итальянца. Но Петручио, знавший графа под видом Одара, не узнал его теперь – он никогда не видал настоящего лица Сен-Жермена.

– Ваш господин дома? – спросил граф по-итальянски.

Петручио пожал плечами.

– Извините, синьор, но синьора Торичиоли нет дома.

– Разве он еще не вернулся?

– О, нет, он вернулся, но сейчас же уехал опять... пер-вассо, синьор, его нет дома.

До тех пор, пока Петручио не побожился, было еще сомнение – дома ли Торичиоли и только не велел принимать никого или он действительно ушел, но теперь можно было наверное сказать, что он дома.

– Наверное, синьор Торичиоли лишь приказал вам сказать так, – возразил Сен-Жермен, – но меня вы можете провести к нему...

– Пер-вассо... – начал было опять Петручио, однако граф не дал ему говорить.

– Вы можете провести меня, – повторил он и поднял руку, на которой у него на среднем пальце было агатовое кольцо.

Увидав кольцо, Петручио, не возражая больше, молча поклонился и повел Сен-Жермена в комнаты.

Они прошли небольшую прихожую, потом зал, столовую.

– Синьор Торичиоли здесь, – шепотом сказал итальянец-лакей, показав на дверь, ведущую в следующую комнату, и на цыпочках поспешно скрылся.

Граф взялся за ручку двери и быстро распахнул ее.

Торичиоли сидел у бюро и спешно переписывал что-то. Нетрудно было догадаться, что это – заветный список.

Когда Торичиоли слышал звук распахнувшейся двери, то прежде всего инстинктивным движением, закрыл бюро и вскочил со своего места, закрыв его собою. Но, когда он увидел на пороге комнаты Сен-Жермена, то есть человека, с которым у него были давнишние счеты и который уже вторично появлялся словно из-под земли как раз в тот момент, когда готовы были исполниться его планы относительно внезапного богатства, он вздрогнул весь и крепче прислонился к своему бюро, потому что отступить было некуда.

Торичиоли чрезвычайно поразился, но именно вследствие его необычайного испуга, изумления, – словом, чувства, охватившего его, вышло очень смешно все, что он сделал при появлении графа. Руки его опустились, лицо вытянулось и глаза заморгали, словно он хотел смигнуть кажушееся ему видение, в действительность появления которого не

верит.

Но явившийся к нему человек заговорил, и, услышав его голос, Торичиоли должен был убедиться, что пред ним не обманчивый образ, созданный его фантазией, а вполне реальный человек.

– Вы, конечно, узнали меня, – проговорил граф.

«А, – подумал Торичиоли, – он теперь спрашивает меня, узнал ли я его? Конечно, узнал, еще бы не узнать! Но только теперь посмотрим... выдержу ли я...»

Теперь Торичиоли был совсем другим человеком, чем в Проскурове, и положение его было совсем иное. Тогда он вполне зависел от других, жил на жалованье, на чужих хлебах, теперь он был самостоятелен. Теперь у него в Петербурге имелись знакомства, и даже влиятельные; он был своим человеком в военной канцелярии, его знали многие и – чуть что – ему было теперь к кому обратиться и у кого искать защиты и покровительства... Он имел возможность при случае дойти и до самого государя.

Очевидно, этот человек, враг его, враг, счастье которого в молодости разбил Торичиоли, пришел теперь к нему не с ласковым приветом, но, может быть, даже для того, чтобы свести свои счета с ним.

– Да, я узнал вас! – ответил он, выпрямляясь и с видимым усилием разыгрывая вид напускной смелости, так как в действительности весь вид его говорил:

«Ну, и что ж из этого? Ну-ка, попробуй, попробуй, подой-

ди!...»

Сен-Жермен сделал шаг вперед и начал без малейшего признака волнения:

– Я пощадил вас тогда, в Генуе: я думал, что вы свой поступок – вы помните его – загладите последующей жизнью... Это было почти достигнуто... Но вы поколебались – помните, в имение князя Проскурова... Только мое появление остановило вас... Теперь вновь, в третий раз, вы на краю гибели... Что вы хотите сделать теперь, а?

Торичиоли было бы легче, если бы его упрекали, грозили ему, проклинали, но этот тон убеждения, как голос совести, был неприятен ему. На упрек он мог бы ответить упреком, на угрозы – угрозой, на проклятие – проклятием, но на суровое убеждение, точно власть имеющего судьи, он не был в состоянии возразить, потому что не имел достойного возражения.

«Туда же! Судить меня приходит, – внутренне усмехнулся он, словно над самим собою, – как будто у самого на душе нет ничего; у всякого человека есть что-нибудь – и в соборе Святого Петра не все колонны правильны... Ну, что ж, что за мною был грех, но теперь он сделать ничего со мною не может... да, не может!»

И, закинув голову, он поднял взор на графа и произнес:
– Я все помню. Ну, и что ж из этого? Чего же вы приходите ко мне? Если я – дурной, по-вашему, человек и снова будто бы стою на краю гибели, то и пусть – тем лучше для

вас, и оставьте меня в покое... пусть я гибну, что ли, а вам нечего было приходить ко мне – незванным и непрошеным; я вас видеть не желаю и говорить с вами не хочу... И уйдите из моего дома, и уйдите вон говорю я вам!

И слова, и вид Торичиоли были дерзки, но он хотел казаться дерзким, потому что он не мог быть смешным. Дерзостью думал он прикрыть свою трусость.

Однако его обращение не произвело никакого действия на графа. Ни один мускул его спокойного лица не дрогнул, он бровью не шевельнул.

– Если бы дело касалось вас, – по-прежнему ровно и тихо сказал он, – то, может быть, я не остановил бы на этот раз грозящего вам удара, который вы готовите сами себе. Но тут помимо вас замешаны другие и, наконец, совершенно невинный молодой человек.

Торичиоли сразу понял, что его незваному гостю известна история со списком и что о ней-то именно он и говорит теперь.

«И откуда это он узнает всегда?» – мелькнула у него мысль, но, разумеется, сознаваться не было у него ни причины, ни желания.

– Какой молодой человек? Какие тут другие? – проговорил он в свою очередь.

– Разве вы не знаете? Ведь у вас в руках теперь изменой доставшийся вам список; вы намерены донести как можно скорее... Я вам скажу: вы на верном пути, и ваш донос будет

очень важен, очень... вы из него извлечете большую пользу для себя. Но только подумайте – какая участь грозит тем, на кого вы донесете, и главным образом тому, у кого вы взяли этот список.

«А, я на верном пути, я могу извлечь себе большую пользу! – опять подумал итальянец. – Кто же себе враг». И дерзче прежнего он снова ответил:

– Оставьте меня в покое! Повторяю вам – никакого списка у меня нет, и ничего я не знаю... и никакого молодого человека, и ничего...

– Подумайте! – продолжал граф. – Его будут пытаться, его возьмут, отвезут в крепость, и в то время как вы будете получать деньги за свое предательство, вашу жертву вздернут на дыбу и кости его захрустят...

– Да вам-то что за дело? – крикнул вдруг Торичиоли.

Сен-Жермен скрестил руки на груди и остановил на нем долгий и пристальный взгляд.

Какая-то особенная, непонятная улыбка сложилась на его губах.

– Джузеппе Торичиоли, – проговорил он вдруг изменившимся и тоже совсем особенным голосом, – вы желаете теперь знать, какое мне дело до всего этого? Хотите, я дам вам ответ?

Торичиоли под этим взглядом и при звуке этого голоса почувствовал словно дрожь во всем теле и невольно ответил:

– Да, я хочу этого!

– Хорошо, я отвечу вам, но только не здесь.

«Что он говорит такое? – силится сообразить Ториччиоли. – Не здесь? А где же тогда?»

– А где же тогда? – произнес он вслух.

– Мы сядем сейчас же в мою карету, и я отвезу вас туда, куда нужно. Мы поедем вместе.

Итальянец усмехнулся.

– С какой стати, зачем?.. Вы думаете, я так и дамся в ловушку? Откуда я знаю, куда вы меня завезете.

Лицо Сен-Жермена выразило презрение.

– Неужели Джузеппе Ториччиоли – такой трус, – внятно произнес он, – что боится поехать с человеком, которому он, кроме зла, ничего не сделал и который до сих пор за это делал ему только добро?

Самолюбие итальянца было задето. Иногда такие люди, как он, вдруг способны получить отчаянную смелость, именно если сумеет задеть их самолюбие.

– Я вас не боюсь, да и никого не боюсь, – ответил он, – но если вы готовите мне ловушку, то верьте, что найдутся люди, которые заступятся за меня. Сколько времени должен я дать в ваше распоряжение?

– Только часа полтора.

– Тогда будьте добры подождать рядом в столовой. Теперь без четверти четыре, ровно в четыре часа я буду к вашим услугам.

Граф, удовлетворенный, кивнул головою и вышел в сто-

ЛОВУЮ.

XV. Ловушка

Все, что угодно, но только Торичиоли не хотел показаться трусом перед человеком, который был его врагом. Ему хотелось бросить всем как вызов свою решимость ехать с ним, куда бы тот ни повез его; к тому же чего-либо особенно скверного сделать с ним не могли: все-таки они жили в столице, где не так уж легко было исчезнуть такому лицу, как Торичиоли, который вследствие завязавшихся у него в последнее время отношений считал себя «лицом» в Петербурге. Кроме того, он знал, с кем ехал, и мог принять некоторые предосторожности.

Ровно в четыре часа они вышли на крыльцо и сели в карету. Дверца захлопнулась, и Иоганн тронул. Он знал куда ехать в том случае, если граф не давал никакого приказания.

Карета повернула по Невской перспективе.

Торичиоли, чувствуя мягкое покачиванье рессор, удобно сидел в своем углу, испытывая не без удовольствия ощущение быстрой езды.

– Могу я узнать правду, куда мы едем? – спросил он наконец после продолжительного молчания.

– Не все ли вам равно, раз вы уже решились довериться мне? – спросил в свою очередь граф.

– Это ведь Фонтанная? – продолжал итальянец, видя, что они поворачивают на набережную.

– Да, Фонтанная.

Разговор прекратился.

Хотя Торичиоли и старался показать всем, чем мог, что нисколько не боится, но в глубине души все-таки мучился неизвестностью.

– Однако, – обратился он снова к графу через некоторое время, – я должен предупредить вас, что принял известные предосторожности: в моем кабинете оставлен пакет, адресованный на имя одного из моих друзей, и в нем среди прочих важных бумаг лежит записка о том, что я уехал именно с вами; если я не вернусь ровно через два часа домой, то пакет будет отнесен по назначению моим слугою.

Граф молча продолжал смотреть в окно, словно не слыша того, что ему говорили.

Это действовало на Торичиоли раздражающим образом. Он кашлянул нарочно громко и опять заговорил:

– Если вы думаете, что одни вы имеете возможность узнавать чужие тайны, то опять-таки я должен предупредить вас, что мне известно ваше настоящее имя. Я знаю, что вы – вовсе не граф Soltikoff, как вас звали в Генуе, и не доктор Шенинг. Я знаю ваше настоящее имя...

– Вы знаете мое настоящее имя? – подчеркнул граф, – какое ж оно?..

– Граф Сен-Жермен, – торжественно произнес Торичиоли. – Да, вы – тот самый и известный в Париже и во многих других местах граф Сен-Жермен, который является под

именем Шенинга.

Торичиоли, собственно, готовил этот удар на всякий случай для более удобного времени.

Однако его расчеты не оправдались. Граф несколько не был удивлен. Только глаза его глянули насмешливо.

– Ну, хорошо, вам нетрудно было узнать, что доктор Шенинг и граф Сен-Жермен – одно лицо! Это вам мог сказать хотя бы ваш приятель, пьемонтец Одар, но значит ли это, что вам известно мое настоящее имя?

Оказалось, что Торичиоли вместо того, чтобы смутить графа, сам очутился в неловком положении. Свои сведения он действительно получил от Одара, но графу было известно даже и это.

– Во всяком случае, – заговорил итальянец, чтобы выйти из неловкости, – знайте, что в моей записке прямо сказано, что я уехал с известным графом Сен-Жерменом, который находится в Петербурге под именем доктора Шенинга, и если что случится, то – будьте покойны – вас найдут: сам государь будет знать об этом.

Сен-Жермен продолжал смотреть в окно. Насмешливая улыбка так и застыла у него на лице.

– А разве вы знаете Одара? – не успокаивался Торичиоли.

– Что значит «знаете»? Вы помните старое греческое изречение: «Познай самого себя»? Ведь это невозможно; так же как вы хотите, чтоб я знал Одара?..

Больше они не разговаривали.

Карета подъехала к деревянному домику на реке Фонтанной, тому самому, откуда Сен-Жермен поехал к итальянцу. Иоганн остановил лошадей у ворот и щелкнул три раза бичом – ворота отворились. Карета въехала в них.

Граф вышел первый и повел Торичиоли на крыльцо дома, оно было не заперто. В сенях оказались две двери, кроме входной внизу, неширокая крепкая лестница вела наверх. На первый взгляд этот домик был самым обыкновенным домиком, скромным и уютным, какие строили себе в России помещики средней руки.

Торичиоли доверчиво следовал за графом. Тот повел его вверх по лестнице. Там наверху в мезонине оказалась одна только комната, под самой крышей.

– Милости прошу, – проговорил граф, открывая дверь этой комнаты.

Итальянец вошел. Дверь захлопнулась за ним. Он кинулся к ручке ее, но дверь была уже заперта снаружи. Торичиоли попался в ловушку.

– Что же это? – вслух произнес он. – Ну, конечно... И нужно было ехать, нужно было поддаться...

Правда, комната, в которой его заперли, не имела в себе ничего страшного, ни угрожающего. Ее стены, аккуратно и крепко обшитые чистыми, новыми досками, не были ничем покрыты, но все-таки имели приветливый вид. Пол был тоже чистый, белый. Из мебели стояли лишь несколько стульев и стол. В окна гляделись, почти вплотную заслоняя их, зеле-

ные ветви деревьев.

Торичиоли попробовал постучаться ручкой и потрясти дверь. Она сидела плотно на петлях и не поддавалась. Он попытался заглянуть в окна, но они были так малы, что высунуться в них не представлялось возможности. Выхода не было.

Торичиоли пришел в отчаяние.

Запереть его, запереть и оставить, – это было ужасно, главное же – хуже всего казалась неизвестность. Неужели его завезли, чтобы кончить с ним? Но этого быть не может: этот таинственный граф предупрежден, что через два часа пакет отнесут по надписанному на нем адресу и все станет известно и будут искать Торичиоли, и помогут ему.

Соображая все это, итальянец, как зверь в клетке, ходил из угла в угол, потом сел, затем опять заходил.

Сначала он все соображал, потом стал припоминать дорогу, как они ехали, и рассчитывать, далеко ли он находится от центра города; затем он впал в полное отчаяние, но опять нашел себе утешение; потом стал молиться.

А время между тем шло и шло. Был уже шестой час, когда Торичиоли наконец уселся у стола и, положив на него перед собою часы, бессмысленно следил за тем, как медленно двигались стрелки, подходя к сроку, назначенному им графу.

Да, если даже сию минуту его выпустят, то уже будет поздно, он не успеет доехать и пакет будет отдан.

«Ну, что ж, тем хуже для него!» – решил Торичиоли и

прислушался.

Ему показалось, что идут. Но во время своего невольного заключения он уже столько раз прислушивался и обманывался, что, наверняка, и на этот раз было то же самое.

Однако это было не так: на лестнице теперь уже послышались шаги, и не одного человека, а по крайней мере двоих.

Торичиоли притаил дыхание.

С лестницы поднялись совсем на площадку, там, по ту сторону двери, можно было различить шорох.

«Отопрут или не отпрут?» – с забившимся сердцем подумал Торичиоли.

Ему хотелось, чтобы отперли – по крайней мере, в продолжение часа, что сидел здесь, он только и желал этого. Но теперь, когда послышались шаги, а потом шорох у самой двери, ему стало жутко, и он готов был почти крикнуть, чтобы не отворяли, что не надо, что он не хочет этого.

– Неужели без этого нельзя обойтись, неужели это необходимо? – услышал он слабый женский голос за дверью.

– Да, это необходимо, – ответил голос Сен-Жермена и вслед затем граф раскрыл дверь, пропуская в комнату впереди себя женщину в черном монашеском одеянии.

Торичиоли в это время стоял уже у стола, крепко ухватившись за него, прямо лицом к двери. Первое его движение было защититься, но поднявшиеся для этого руки при взгляде его на монахиню вдруг быстро опустились.

Это была та самая мать Серафима, которая, будучи по-

стрижена в монастырь вблизи Проскурова, столько лет запрещала Торичиоли показываться себе на глаза, – та самая, которая давным-давно, там, на юге, в Генуе, не носила еще этой черной рясы и в миру казалась обыкновенною светскою женщиной, русской аристократкой, то есть не совсем обыкновенною, потому что красота ее сводила с ума все молодые головы города; та самая, наконец, которая была героиней страшной истории, разыгравшейся между нею, Торичиоли и графом, и которая впоследствии стала матерью ребенка итальянца, ребенка, отыскиваемого им до сих пор еще с прежним рвением, как единственное существо, на кого он мог обратить всю свою любовь.

Давно закончилась эта история сильно изменилась с тех пор и мать Серафима, и Торичиоли. Один граф, казалось, оставался прежним, но если взглядеться и в него, то заметно было, как изменились не черты его лица, а выражение последнего, ставшее совсем бездушным, холодным, застывшим.

И вот они снова все трое встретились после стольких лет разлуки. А ведь и разлучились-то они для того, чтобы никогда не встречаться. Однако, очевидно, так нужно было, нужно было сойтись им еще раз, но зачем? Это должен был сейчас узнать Торичиоли.

Мать Серафима вошла и остановилась посреди комнаты с опущенными руками, сплошь закрытая своею черною мантией, глядя прямо пред собою тем светлым, бесстрастным

взглядом, каким смотрят на это внешний «светский» мир люди, отрешившиеся от него. Но в ее почти сквозном матовом лице, и в особенности в бесстрастных глазах, оставались еще следы той замечательной красоты, из-за которой Торичиоли пошел на преступление.

И теперь при взгляде на нее эта прежняя красота матери Серафимы, как живая, воскресла в памяти итальянца, и он смотрел на нее, и давно его уже не волновавшееся сердце забилось вновь так часто, что он схватился за него, словно желая остановить его беспокойные удары.

– Вы хотели, – заговорила мать Серафима по-итальянски, обращаясь к Торичиоли (да, она заговорила по-итальянски, на том языке, на котором он шептал ей когда-то слова любви, которые она не хотела слушать – она не забыла этого языка!), – вы хотели знать, где... где этот ребенок, – она запнулась, потому что не хотела сказать ни «мой», ни «ваш», ни «наш» ребенок, и сказала просто «этот». – Я пришла теперь назвать вам его.

Торичиоли кинулся вперед. Грудь его часто и неровно подымалась, он совсем задышался.

– Я понял, понял, – едва выговаривая слова, перебил он, – это он, – показал он на графа, – привел вас сюда и упросил, чтобы вы ценою вашей тайны купили у меня молчание о заговоре, в котором он, очевидно, принимает участие... Ему нужен этот список... Я все отдам, все... Я буду молчать, я согласен, если вы скажете мне, где мое дитя. Для него, то

есть чтобы отыскать его, мне нужны были эти деньги, эта денежная награда... Только для него... Если я буду знать, что мне нужно, я на все согласен, и мне тогда ничего не нужно.

Мать Серафима, не слушая, ждала, пока он закончит, чтобы продолжать свою прерванную речь. Торичиоли задохнулся и не мог больше говорить.

– Этот ребенок, – продолжала она, – был много времени возле вас, вы знали его почти с самого детства и не подозревали этого, живя у князя Проскурова.

– У князя Проскурова? – крикнул Торичиоли. – Я знал его с детства?.. Он был возле меня?.. Кто же это... Артемий? воспитанник князя?.. Да?..

– Да, воспитанник князя.

Мать Серафима перевела дух, очевидно, и ей было тяжело дышать.

Сен-Жермен сделал движение к двери, как бы указывая: этим, что теперь все, что просил он, исполнено и эта мучительная сцена может прекратиться, но мать Серафима остановила его, говоря:

– Нет!.. Я думала, что мой грех и умрет со мною, что мне не придется никому, не только вам, рассказывать свою исповедь. Однако теперь я вижу, что это неизбежно, что нужно кончить, как ни тяжело, нужно, нужно сказать... Да, я подкинула своего сына в богатый княжеский дом, потому что князь Проскуров хотел иметь мальчика. Я знала, что ему там будет хорошо... Сама же я не могла оставить его у себя – я

боялась сплетен; ведь я жила в обществе, где злословие считается добродетелью, и я, ни в чем неповинная, вследствие своей боязни и малодушия, стала тоже виновною... Я отдала в чужой дом своего сына, И в этом мой грех. Пока он был в Петербурге и я жила здесь и бывала в обществе – все было скрыто – мне еще жилось... Но князь Проскуров уехал в деревню, и тогда начались мои муки. Сначала я не могла понять, любила ли я этого ребенка, рожденного от отца, которого я должна была ненавидеть, и только когда окончательно разлучили меня с ним, только тогда я поняла, что люблю его, и как дороги мне были те мимолетные свидания с ним на улице, когда его выносили гулять и я потихоньку ждала его возле дома... Да, тогда начались для меня мои мученья, и они привели меня в монастырь! – Она с трудом договаривала слова. – Он был в чужом доме, брошенный мной, лишенный матери... я не могла принять и взять его обратно – мне его не дали бы и лишь насмеялись бы надо мной... Раскаяние измучило меня – и постригшись, я взяла на себя послушание никогда не пытаться увидеть моего сына, лишь бы он был счастлив. Довольны ли вы теперь? – совсем ослабевшим голосом обратилась она к графу.

Тот почтительно, как кланяется только низший высшему, поклонился ей, и в этом поклоне были выражены и благодарность, и просьба о прощении за те минуты, которые он заставил только что пережить мать Серафиму.

Она повернулась и вышла из комнаты.

– Мадонна! – крикнул Торичиоли и кинулся за нею, но сильная рука графа Сен-Жермена остановила его.

– Не торопитесь, синьор Джузеппе, – проговорил он, – теперь мы с вами один на один.

Торичиоли взглянул на него в упор совсем бессмысленными глазами, как будто не узнав его, и рванул руку, но граф крепче стиснул ее.

– Пустите! – произнес наконец Торичиоли. – Вы слышали... Мой сын... Он – мой сын... Теперь... Теперь...

– Теперь половина шестого уже прошла, – оставаясь спокойным, проговорил граф.

Торичиоли сделал движение к столу, где лежали у него часы – Сен-Жермен отпустил его. Часы показывали тридцать четыре минуты шестого. Итальянец схватился за голову.

– Вы не знаете, что вы сделали! – в полном отчаянии: крикнул он. – О, вы не знаете, что вы сделали!.. Ведь в этом пакете, который теперь остановить нет возможности, потому что поздно – он сейчас будет в руках Эйзенбаха, и тогда все потеряно, – в этом пакете я донес на сына, на Артемия...

Бедный Торичиоли был похож на сумасшедшего. Он метался по комнате – кидался то к столу, к часам, то к двери.

– Да вы не верите, может быть, что я говорю правду? Клянусь вам, что этот список у меня, и в особой записочке назван Артемий, и рассказано, как взят этот список...

Сен-Жермен стоял неподвижно, загораживая собою дверь, и следил за движениями Торичиоли.

– Я верю вам, – ответил он, – я знаю, что вы говорите правду.

– А если так, то что же вы стоите, что же вы... что же?... Ведь, может быть, есть еще время... нужно поехать... остановить... Да пустите же меня!

И снова Торичиоли хотел прорваться силой, и снова граф остановил его.

– О, пустите! – стал просить тогда он. – Пустите меня! Ведь это ужасно, что вы делаете... Столько лет я жил возле сына, не зная, что это – он; столько лет я искал его... Готов был на все – ведь он для меня теперь все в жизни... Все!.. И вдруг в тот самый миг, когда я узнаю, что это – он, я сам, его отец, делаю на него донос... Ведь это же ужасно... ведь его возьмут...

– И не одного его – и других также.

– Да, но от этого мне не легче. Вы сами говорили, что его могут взять и отдать в пытку... в пытку!.. Пожалейте же его... пожалейте!..

– Отчего же вы не пожалели сами?

– Да, но я не знал тогда, не знал... Помогите мне, пустите! Я успею остановить Эйзенбаха; я поеду, скажу, что все это – ложь, что все это – неправда... я все на себя возьму... Что вы делаете со мною? Это безжалостно, что вы делаете!..

– Безжалостно! – повторил Сен-Жермен. – А вы сами умели жалеть других?

– Не умел! Ну, что ж! Но ведь в таком положении, как

я теперь, никто не был. Подумайте только: единственное существо, которое было для меня в жизни дорого, единственное, и в тот самый миг, когда я мог назвать его своим, сказать ему, что я – его отец, в тот самый миг... вы отнимаете его у меня.

Граф глубоко вздохнул, после чего произнес:

– Вспомните, синьор Джузеппе, что сегодня – двадцать седьмое июня; вспомните это же число много лет тому назад! И тогда был человек, который готов был тоже любимое им существо – не ребенка, не сына, а женщину, которая для него была всем в мире, – назвать своею, и вы в этот день отняли ее у него, отняли обманом, преступлением.

Торичиоли остановился и, поднеся руку ко лбу, невнятно проговорил:

– Да... Да... правда, сегодня двадцать седьмое июня, то самое число... Так это – месть? Это – ваша месть? – крикнул он. – Жестокая месть. Но лучше бы вы меня тогда же убили, чем заставить дожить до сегодняшнего дня.

– Я не хотел вам мстить, – я два раза щадил вас и сегодня приехал к вам, уговаривал – вы не хотели слушать: вы сами себе отместили.

– Да, но эта месть скверна, ужасна, бесчеловечна! – кричал Торичиоли, хотя его голос срывался ежеминутно. – Вы мне мстите и губите других... Вы губите их... Вас убить мало за это... Убить! – и он опять кинулся на Сен-Жермена, окончательно потеряв голову.

Граф, спокойно улыбаясь, глянул в его остервенелые, налитые кровью глаза и отвел его руки от себя.

Торичиоли чувствовал уже его силу, а также и то, что силой ничего нельзя сделать с ним.

– Ну, хорошо, – заговорил он, стараясь сдержаться, и в голосе его слышались слезы, – ну, хорошо! Вы отомстили мне, довольно... Но дайте же мне возможность, насколько мыслимо, исправить свою вину. Пустите меня – откройте дверь, пустите, – и я век свой не забуду вашего благодеяния да, как на благодеяние, я буду смотреть на это... Откройте мне дверь... может быть, еще не поздно...

Была минута, когда, казалось, Торичиоли станет на колена.

– Так вы хотите только, чтобы я открыл вам дверь? – спросил Сен-Жермен.

– Да... Только...

– Ну, хорошо синьор Джузеппе, я вас больше не держу! – и граф открыл дверь настежь.

XVI. Измена

Петручио стоял у перил Полицейского моста, беспокойно оглядываясь и, видимо, с нетерпением ожидая кого-то. Каждую проезжавшую мимо карету он оглядывал с нескрываемым волнением и, когда она проезжала мимо, снова разочарованно возвращался к своему месту. Его волнение было настолько сильно, что он даже не делал вида, что находился тут как будто случайно, а ждал уже совершенно открыто.

Но вот наконец показалась на Невской перспективе карета графа Сен-Жермена, теперь уже с кучером вместо Иоганна на козлах. Петручио стал вглядываться в нее, как вглядывался во все проезжавшие мимо экипажи – не тот ли, которого ждал он. Въехав на мост, карета остановилась. В окне ее показалась голова Сен-Жермена. Его-то и ждал Петручио.

– Наконец-то, синьор! – почти крикнул он, подскакивая к окну. – Я вас не могу дождаться.

– Пакет у вас? – отрывисто спросил Сен-Жермен.

Петручио взволнованно заговорил, торопясь и глотая слова:

– Синьор приказал мне принести сюда этот пакет именем синьора Одара; я всем сердцем служу синьору Одару, но я не мог исполнить ваше приказание. Клянусь Мадонной, я не мог исполнить его... Скажите Одару, что я клянусь Мадонной.

Петручио, не только словами, голосом и выражением, но жестами силился подтвердить невозможность исполнения возложенного на него поручения. Он сильно размахивал руками, приседал и ворочал головою из стороны в сторону.

– Отчего же вы не могли исполнить приказание? Значит, пакет остался на своем месте? – мягко спросил Сен-Жермен.

– О, если бы он остался на своем месте, – воскликнул Петручио, – то был бы теперь в руках синьора! Клянусь Пресвятой Мадонной...

Дело становилось серьезным. Брови графа сдвинулись.

– Куда же мог деваться пакет? – спросил он опять.

Петручио снова замахал руками.

– На пакете, синьор, был написан адрес: «Господину Эйзенбаху». Как только что вы уехали с синьором Торичиоли из дома, как приходит молодой Карл фон Эйзенбах. Он – приятель синьора Джузеппе и бывает у него совсем запросто. Я говорю: «Нет дома», – а он сказал мне: «Хорошо, я пройду в его кабинет и напишу ему записку». Я не мог задержать его, потому что он меня и не спросил, он прошел прямо в кабинет и увидел пакет на свое имя, тогда он взял его...

– Нужно было остановить...

– Я останавливал, сказал, что этот пакет мне велено отнести только через полтора часа, но он возразил мне: «Дурак!» – он так и возразил мне: «Дурак! Не все ли равно, через полтора часа или теперь, если этот пакет мне?»

– И он распечатал его?

– И он распечатал его, а когда посмотрел, какие там были бумаги, то схватил их и сейчас же убежал; он сделал это очень быстро – мне только оставалось прийти сюда с пустыми руками. Я и пришел.

– Вы говорите, что Эйзенбах явился почти вслед за нами? – проговорил Сен-Жермен слегка изменившимся голосом.

– Да, почти сейчас же.

Времени, значит, прошло немало, и если молодой Эйзенбах не потерял его, то мог многое уже сделать.

– Синьор, – продолжал Петруччо, – засвидетельствуйте сеньору Одару, что я не виноват.

Но граф не слушал его уже.

– Скорее! Налево! Подъезжайте к дому! – сказал он кучеру, высунувшись из окна.

Налево от Полицейского моста был дом, где жил Орлов.

Сен-Жермен выскочил из кареты на ходу. В дверях он встретился с Орловым. Тот, взволнованный и встревоженный, обрадовался его появлению.

– Это вы, граф? А я хотел идти к вам навстречу... Вы знаете? Измена! Мне сейчас прибежали сказать, что Пассек арестован.

– Уже арестован? – проговорил Сен-Жермен.

– То есть как «уже»? Значит, вам известно что-нибудь?

– Мне известно, что мы слишком долго мешкали и что сама судьба толкает нас действовать, значит, пора?.. Садитесь

сейчас в карету. Вы не знаете, государыня все еще в Петергофе, а Петр – в Ораниенбауме?

– Да, он все там, а она – в Петергофе.

– Тем лучше! Садитесь сейчас в мою карету, лошади должны выдержать, отправляйтесь в Петергоф и, не медля, по приезде, доложите государыне, что все готово для ее провозглашения.

– Но никто еще не знает ничего, мне первому прибежали сказать о Пассеке... Разве вы тут поспеете?

– В то время, когда вы скажете государыне, что все готово, – будет действительно готово все. Садитесь и не теряйте времени! Нужно вернуться сегодня в ночь.

Они уже были на крыльце.

– Это ваш кучер? – спросил Орлов. – Он надежен?

– Да, он вполне надежен, но все-таки лучше заменить его... Сержант у вас?

«Сержантом» продолжали звать в близком кружке Артемия, несмотря на то что он уже давно был офицером.

– Он у меня, – ответил Орлов, – но с ним творится что-то странное. Он приехал ко мне давным-давно и сказал, что нужно ждать вас; больше я ничего не мог добиться от него – сидит, как убитый, не ест ничего и заладил одно, что нужно ждать вас, и тогда все объяснится.

– Ну, да! Зовите его сюда... или нет, лучше пусть Иероним подыметесь к нему... Иероним, – обернулся Сен-Жермен к своему кучеру, – пройдите в квартиру... Вы спросите

там... – и он объяснил, что должен был сделать Иероним.

Через некоторое время – не успел граф перекинуться несколькими последними нужными словами с Орловым – на крыльцо выбежал Артемий в одежде кучера Сен-Жермена. Он уже не спрашивал, что нужно было ему делать, не разговаривал, но поняв, что граф не успел остановить донос и что нужно как можно скорее приступить к действию, послушно и безропотно решил повиноваться и исполнять все, что от него потребуют. Он взглянул только на Орлова, чтобы узнать, известно ли тому, кто главный виновник происшедшего, но по взгляду, который рассеянно бросил на него Орлов, понял, что Сен-Жермен ничего не сказал ему. Это ободрило Артемия.

– Куда ехать? – спросил он, садясь на козлы.

– В Петергоф, голубчик, за государыней. С богом! – как-то странно произнес Орлов и перекрестился.

Артемий тоже сделал крестное знамение и, едва Орлов сел в карету, тронул лошадей. Когда они двинулись, Сен-Жермена не было уже на крыльце.

Артемий сейчас же, как только явился к нему кучер для переодевания, сообразил, что ему предстоит участие в важной поездке, но он не мог думать, что за самой государыней поедут они!

План был рискованным, но, вероятно, дело зашло так далеко, что нужно было рисковать, и радость наполнила сердце Артемия – радость загладить свою вину, радость пойти

на прямую опасность. Что происходило теперь в Петергофе? Что ждало их там? Может быть, там уже было все известно, и они ехали на то, чтобы прямо арестовали их? Но, разумеется, не этого, не за себя и не за свой арест боялся Артемий – личная его свобода и даже сама жизнь была не дорога ему, нет, он боялся, что случилось с императрицей, что с ней, и поспеют ли они вовремя, прежде чем туда придет распоряжение из Ораниенбаума.

Лошади бежали дружно, мерною рысью; несмотря на то что Артемию птицей хотелось бы лететь теперь в Петергоф, он с напряженным вниманием следил, стараясь употребить на то все способности существа своего, за ходом лошадей, чтобы сохранить их силы. Но они, видимо, отлично втянутые в работу и гоньбу, словно понимали, какой им предстоит сделать конец, и понимали тоже, что все зависит от того, вынесут они или нет. И Артемию казалось, что каждый взмах их тонких, словно точеных, мускулистых ног говорил, что они вынесут и не выдадут. Они шли, словно разумные существа, и Артемий не сдерживал их и посылал вперед лишь тогда, когда они просили посылы.

Ночь была тиха, дорога казалась пустынной, и в этой пустынной тишине слышался только звук быстро бегущих копыт и вертящихся колес кареты.

– Береги лошадей! – высунулся Орлов.

Артемий оглянулся только на него, и Орлов понял, что он знает, что ему делать, и делает это хорошо.

Ни верховых, ни одноколок, ничего похожего на экстренных посланцев не попадалось по дороге, и это служило хорошим знаком.

Медленно, мучительно медленно тянулось время для Артемия, но, когда он огляделся, чтобы понять где находится, то невольно поразился, как далеко они отъехали. Сам он не ожидал этого, хотя следил за верстовыми столбами, мелькавшими по правой стороне дороги, но сбился с их счета, цифры же рассмотреть было трудно. Судя по местности, они уже должны были проехать трактир, стоявший в стороне от дороги, и необитаемый дом, крыша которого торчала из-за зелени и про который ходили таинственные вымыслы о привидениях.

«Неужели это уже монастырская роща?» – удивился Артемий, но пред ним в самом деле вдруг в сумрачно-призрачном белесоватом небе северной летней ночи выплыли золотые маковки монастырской церкви.

– Монастырь виден! – сказал Артемий в карету и придержал лошадей, чтобы дать им вздохнуть.

Переезд от монастыря к Петергофу показался даже гораздо короче, чем обыкновенно.

Однако раннее солнце уже взошло и, судя по нему, был пятый час утра, когда они въехали в Петергоф. Он спал еще. Движения нигде не было заметно... А что во дворце? Так же ли тих и спокоен дворец, и не предупреждены ли там?

Но вот и дворец. И его длинное одноэтажное здание охва-

чено тем же безмолвием – только высокие деревья, шурша на утреннем ветерке с моря, качаются вокруг него своими ветвями и наклоняют друг к другу макушки, словно и они в заговоре, и они перешептываются.

– Остановись здесь! – слышит Артемий осторожный теперь, тихий голос Орлова и натягивает вожжи.

Лошади, перебрав ногами, останавливаются.

Орлов выходит, бережно закрывая за собою каретную дверь, чтобы она не стукнула, и поспешно объясняет Артемию, куда он должен встать в аллею и слушать троекратного свистка. Артемий слушает его и невольно любит его красивой, огромной, дышащей силой фигурой, освещенной сегодня еще каким-то внутренним огнем; но, несмотря на этот огонь, несмотря на важность минуты, Орлов, привычный ко всякого рода ночным похождениям, имеет решимость шутить еще.

– Ты не засни, смотри! – с улыбкой добавляет он, обращаясь к Артемию, и исчезает куда-то, очевидно, хорошо знакомый со всеми ходами и выходами дворца.

«Совсем как в романе! – думает Артемий. – Боже мой, неужели это возможно, неужели мы действительно привезем государыню в Петербург и завтра воцарится новая монархия в России – Екатерина Вторая? Да, конечно, она уже будет «вторую» – первая была супруга Петра... Великого Петра... А как странно: этого тоже зовут Петром, но, Боже, какая разница!»

Думая так, Артемий ждал с напряженным вниманием условленного свистка. Орлов, исчезнув, пропал, и Артемий, которому почему-то представилось, что он должен сейчас же вернуться назад, никак не мог сообразить, сколько времени нужно Орлову, чтобы, проникнув во дворец, известить государыню и дать ей время одеться, потому что, вероятно, она спала еще в этот час.

Но как проникнуть, как дать знать, когда на каждом шагу могли поймать его, их вместе, наконец, – это Артемий не мог себе представить, и ему казалось уже, что они затеяли сумасшедшее дело, что этим сумасшествием только испортят все, и что Орлов схвачен, и сейчас придут схватить и его. Ну, и пусть схватывают! Пусть гибнет он сам: это – все, что ему остается, потому что другого исхода нет.

Вдруг в воздухе раздался осторожный, как голос Орлова, свист и повторился три раза.

Артемий дрогнул и послал лошадей.

«Один он или нет? Конечно, один», – решил Артемий, выезжая из аллеи.

В тени большой разросшейся сирени стоял Орлов и рядом с ним – женщина, окутанная в черную мантилью.

«Спаси ее Господь!» – мелькнуло у Артемия, и он чувствовал, как дрожь пробегает по его телу.

Как они сели, как он поехал, как выбрались на Петербургскую дорогу – он не помнил; он был словно во сне, словно в грезе, и словно не он сидел на козлах и правил, а кто-то

другой; однако этот другой отлично следил за лошадьми, от которых теперь зависело все.

Артемий чувствовал, что его волнение, точно ток по проволоке, передалось и им, и они разгорячились и шли уже не так ровно и уверенно, как прежде.

До монастыря еще можно было ехать спокойно, но, миновав его, Артемий стал с тревогой прислушиваться к все чаще и чаще повторявшемуся хрипу лошадей (они уже хрипели) и поглядывать на их усталые, с заметным усилением двигавшиеся ноги.

– Гони! – высунулся Орлов из кареты.

Артемий хлестнул бичом. Лошади дрогнули, крепче влегли в оголовки, но их ослабевшие силы снова скоро сказались.

Проехали еще несколько верст.

И вдруг, к своему ужасу, Артемий заметил, что несмотря на посыл лошади идут тише и тише; еще несколько шагов и они остановились.

Бедные, дрожавшие теперь, измученные животные сделали все, что могли. Они выбились из последних сил и из последних сил протасили карету, пока только могли; теперь они остановились, дрожа всем телом; каждый мускул, каждая жилка этого обессиленного, покрытого пеной тела тряслась и билась.

Орлов высунулся снова из кареты, открыл дверцу, вышел и, взглянув на лошадей, тоже ужаснулся их виду. Они не могли идти дальше. Они на месте шатались от усталости.

XVII. Безвыходное положение

Выпущенный на свободу Торичиоли кинулся вниз по лестнице и, найдя сам дорогу, выбежал за ворота, точно боясь погони, которая остановит его, он выбежал и без оглядки бросился вперед, подальше от этого дома, где он провел несколько ужасных для него часов.

Прежде всего ему именно хотелось только уйти как можно дальше.

На пустынном берегу Фонтанной, по которому ему пришлось пробираться, трудно было найти какой-нибудь другой, кроме собственных ног, способ передвижения: городские извозчики сюда не заезжали и даже попутного крестьянина с возом нельзя было встретить.

Торичиоли шел сначала бодро, почти бежал, но скоро ноги его стали ослабевать, спотыкаться и подкашиваться. Волнение, страх, беспокойство, желание спасти сына, который по его вине может пострадать, отнимало у бедного итальянца энергию, и он напрасно силился обдумать, что предпринять ему теперь; все мысли путались у него, как у пьяного, и он чувствовал, что начинает шататься, как пьяный.

Он не знал, сколько времени уже шел и много ли ему оставалось еще до самого города, но чисто физическая усталость уже присоединилась ко всему остальному, и он, не отдавая себе отчета в ней, удивлялся лишь, отчего идти ему все труд-

нее и труднее, и ноги отказываются повиноваться, и подымать их так же тяжело, как будто к ним привешены пудовые гири. Но все-таки он делал почти сверхъестественные усилия и подвигался вперед.

Добрался он таким образом уже до барских домов, глядевших своими щегольскими, один лучше другого, фасадами в воды тихой реки, и ему стало легче – значит, уже сравнительно недалеко Невский, значит, главный и самый трудный путь пройден.

Но это облегчение оказалось только кажущимся и, напротив, после него-то усталость дала себя знать с особенною, почти уже несокрушимою, силою.

– Глянь-ко... глянь, Митрий! – услышал он чей-то голос. – Барин-то, барин идет и совсем пьян, пьянехонек!

Торичиоли обернулся: несколько дворовых сидело у ворот на лавочке и показывало на него пальцами.

– Голубчики, – обернулся к ним итальянец, – дайте воды напиться!

– Чего, того, кого прочего? – спросил один из дворовых, видимо, шутник и забавник, выходя вперед, подбоченясь на удовольствие остальной компании.

– Напиться, воды! – повторил Торичиоли.

– Напиться просит! – обернулся парень-шутник к своим, словно те не слышали и словно он им объяснял и показывал в Торичиоли заморского зверя. – А не угодно ли вашей милости к речке вот приступить? – продолжал он говорить,

обращаясь к итальянцу. – Оно куда прохладнее будет... мы подсобим...

– Воды! – вдруг крикнул Торичиоли, побагровев. – Я вам дам, анафемы!..

И откуда он вспомнил это слово, и откуда взялась у него еще сила крикнуть, но крикнул он так громко и зычно, что парень, несколько сконфуженный, попятился.

Среди дворовых произошло смятение.

– Воды просит, – послышался робкий шепот.

Но Торичиоли больше ничего не слышал: прилив внезапного гнева совсем доконал его, и он, как сноп, повалился на землю.

Очнулся он поздно. Должно быть, была уже ночь, потому что в окно, маленькое, с зелеными бутылочными стеклами, чуть проникал мутный сумрак июньской петербургской ночи, или, вернее, утра – в то время заря с зарей сходились.

Помещение, в котором очнулся Торичиоли, казалось очень странным. Комната была похожа на чулан с косым потолком, словно она была под лестницей. Грязные стены пестрели тараканами, на полу валялась солома, на которой и лежал Торичиоли.

«Санта Лючия, – подумал он, – где я и что со мною?»

И он начал с усилием припоминать все, что случилось с ним со вчерашнего вечера.

Разговор в тесовом домике он помнил, разумеется, превосходно – он не мог забыть его, сколько бы ни прожил те-

перь. Потом этот ужасный переход пешком по берегу реки... потом что-то дерзкие люди говорили... они приняли за пьяного... он упал... да, Торичиоли вспомнил ясно, как упал он, и тогда понял все: его подняли, как пьяного, и отнесли или отвезли в полицейский дом. Он заперт теперь в полицейском доме, – сомнения нет.

Торичиоли поднялся, оглядел себя: в ужасном виде были его кафтан, чулки и башмаки. Он поискал шляпу – шляпы не было. Ему захотелось посмотреть, который час – часов в кармане тоже не оказалось, и Торичиоли не мог припомнить, оставил ли он их на столе в доме, куда его привез Сен-Жермен, или у него вытащили их потом.

Но теперь в сущности ему было не до часов и не до шляпы. Что было делать теперь ему, как выбраться? Стучать, звать кого-нибудь, он знал, что это напрасно, что все равно его не выпустят до утра, то есть до появления начальства. Торичиоли попробовал дверь, она была дощатой, еле сколоченной.

«А-а», – обрадовался он и хотел был попробовать плечом, не поддастся ли она, но остановился, сообразив, что это сделать нельзя без шума.

Он осмотрел щель, которая оставалась, потому что дверь не была приперта плотно. С наружной стороны нашелся один только засов.

Торичиоли попробовал подвинуть его пальцами – засов поддался. Итальянец сделал еще несколько движений – и

дверь открылась. Тогда он осторожно, на цыпочках, вышел в длинный коридор, потому что дверь отворялась туда, и, не соображая еще, что и как ему делать, инстинктивно пошел, не озираясь, по коридору. Терять время ему было некогда – его и так уж ушло слишком много.

В конце коридора дверь оказалась незапертою. Она вела прямо во двор.

На дворе, у калитки, спал с блаженною улыбкой на лице сторож, охватив свою длинную, неуклюжую алебарду. Торичиоли свободно прошел мимо него и очутился на улице.

Никто не слышал и не видал его побега. Только где-то сзади, на дворе, петух на нашесте, проснувшись, прокричал протяжно и громко, на его крик откликнулись другие, и все снова затихло.

Теперь Торичиоли следовало решить, что делать?

Идти домой? (Это – первое, что пришло ему в голову.) Но туда было слишком далеко, и сам он находился в таком виде, что ночные сторожа могли принять его за вора и снова взять.

Оглядевшись, Торичиоли узнал местность: тут было недалеко до петергофской рогатки.

Он не сомневался, что пакет, оставленный им на столе, был еще вчера вечером в руках Эйзенбаха. Следовательно, тот, вероятно, уже дал знать куда следует. Государь был в Ораниенбауме, и к нему, вероятно, уже послан гонец с докладом о заговоре. Следовательно, важно теперь быть не в городе, а именно в самом Ораниенбауме, дойти до государя

и искать у него спасенья для Артемия. Об остальных Торичиоли не заботился.

Рогатка была недалеко. Нужно было идти к ней, по дороге нанять, за какие угодно деньги, первого чухонца, едущего в город, и ехать на нем в Ораниенбаум, где были у Торичиоли друзья.

Этот план составился у него сам собою.

И он, стараясь припомнить местность (он часто ездил по петергофской дороге и знал эти места), стал пробираться к рогатке.

Утренняя свежесть, разлитая в воздухе, ободрила итальянца. Местность была довольно пустынной, но, по мере того как Торичиоли подвигался вперед, и в ней начинала просыпаться жизнь.

Раза два уже попались прохожие, с удивлением оглянувшись на итальянца, истерзанный вид которого не мог не поразить их; один из них даже остановился и долго смотрел ему вслед.

Попался выехавший на промысел извозчик. Торичиоли чрезвычайно обрадовался ему и стал нанимать в Ораниенбаум. Извозчик подумал, почесал затылок, зевнул и потребовал деньги вперед.

Торичиоли стал шарить по карманам и нашел в них одну только семитку. Извозчик махнул рукою и поехал дальше.

Это обеспокоило было Торичиоли. Что, если никто не польстится на его уговоры и откажется везти?

Но он почти сейчас же нашел себе утешение: лишь бы добраться ему до рогатки, а там можно будет объявить кто он и потребовать чтобы его доставили в Ораниенбаум, к самому государю, к которому он имеет важное дело. И, ободренный, этим Торичиоли купил еще по дороге сайку на свою семитку и с удовольствием стал жевать ее.

Оказалось только, что дороги он вовсе знал не так хорошо, как думал. Он запутался в каких-то огородах и долго блуждал между ними, пока не встретил какого-то мужика, который подозрительно оглядел его, но, как пройти к рогатке, все-таки объяснил.

Наконец только после порядочных усилий Торичиоли вышел, куда ему нужно было.

У рогатки стояли солдаты, загораживая путь. Ружья их были составлены, но сами они держались наготове. Два офицера в полной форме прохаживались в стороне.

На проспекте, который начинался тут, заметно было непривычное движение.

Торичиоли сейчас же сообразил, что это значит. Видимо, против заговора принимались спешные и энергичные меры, были отданы строгие распоряжения в течение ночи. Но Торичиоли думал, что для него они не опасны.

Он решил подойти прямо к офицеру и, показав, что ему дело известно, убедить его в своей близости к тем сферам, о принадлежности к которым нельзя было судить по его костюму.

– Вы меня извините, – начал он, приближаясь, – вероятно, вы здесь по делу о заговоре?

Офицер осмотрел его с ног до головы и, нахмутив брови, спросил:

– А вам какой в том интерес, государь мой?

– А я именно по поводу этого дела могу доставить императору важные сведения...

– Императору? – переспросил офицер.

– Да, самому его величеству и прошу вас дать мне возможность немедленно отправиться в Ораниенбаум, если император еще там...

– Императора больше нет, – вдруг проговорил офицер, – а есть-с императрица Екатерина Алексеевна.

И не успел Торичиоли опомниться, как офицер крикнул: «Сидоренко, убери-ка мне этого молодчика!» – и дюжий унтер, которого, очевидно, звали Сидоренкой, захватил итальянца, протащил до караулки и, втолкнув его там в темный чулан, засунул дверь на засов и подпер ее колышком.

В эти сутки Торичиоли очутился третий раз под запором.

XVIII. Двадцать восьмое июня

Положение было ужасным, когда измученные лошади кареты, в которой ехала Екатерина Великая, остановились среди дороги. Оставалось всего пять верст до Петербурга, только пять верст, но теперь они становились уже неизмеримым расстоянием.

Орлов и Артемий осмотрели лошадей. Надежды не было, что они оправятся. Это было видно и понятно без слов, и Артемий и с Орловым ничего не сказали друг другу. Они только взглянули, как-то сразу, так что глаза их встретились, и этот молчаливый взгляд казался красноречивее всяких слов.

Ехать дальше не было возможности, оставаться тоже было нельзя.

Артемий боялся прямо заглянуть в карету, где сидела государыня, но он только мельком, углом глаза посмотрел на нее.

Она сидела строгая и прямая и, казалось, не обращала внимания на их остановку, словно ей не было до этого никакого дела, словно она чувствовала, что время действовать ей еще не наступило, что скоро наступит оно, и тогда она покажет себя, а теперь она доверилась им. Они взялись довести ее до города и должны это сделать. Как? – ей было решительно все равно, но она верила в них и в то, что они сделают свое дело.

Эта величаявая уверенность и спокойствие могли дать силы кому угодно, не только таким людям, каковы были Орлов и Артемий.

– Нужно дать лошадям вздохнуть, – заявил Орлов, сознавая, что это было все равно ни к чему, но нельзя было не сказать этого, – или подождать, не проедет ли кто, и тогда взять лошадей за деньги или силой.

– Посмотри! – вдруг показал Артемий вперед по дороге. – Видишь?

По дороге прямо на них скакал всадник. Это был офицер. Орлов весь обратился в зрение, стараясь узнать кто это.

– Может быть, это посланный оттуда, – проговорил опять Артемий, – может быть, в течение ночи уж все стало известно и с Ораниенбаумом завели сообщение. Это – гонец.

Орлов продолжал вглядываться.

– Тем лучше, – ответил он, – мы возьмем гонца и узнаем, что он везет... Да нет же, это – Бибиков! – вдруг радостно добавил он, узнав скакавшего офицера.

Бибиков приблизился уже настолько, что его лицо было видно. Завидев на дороге карету, он пустил лошадь быстрее. Орлов махнул ему вверх три раза шляпой. Бибиков на ходу ответил тем же.

– Слава богу, все благополучно пока! – успокоительно произнес Орлов.

Бибиков на полных рысях подъехал прямо к дверце кареты. Екатерина глянула на него своими прекрасными, строгими

ми глазами, в которых виднелся вопрос – друг ли явился к ней теперь или враг?

– Приехал доложить вашему величеству, – проговорил молодежато, но все же с трудом переводя дыхание от быстрой езды, Бибииков, – что вслед за мною навстречу вам едет другой экипаж, со свежими лошадьми.

Артемий перекрестился.

Почти сейчас же показалась на дороге карета, о которой говорил Бибииков. Когда она подъехала, в ней оказались старший Орлов, Алексей и Бярятинский.

Екатерина пересела в новый экипаж, и бодрые, свежие лошади быстро помчали ее в столицу.

В Петербурге она направилась прямо к казармам Измайловского полка.

Барабанщик пробил тревогу. Выбежали солдаты к своей государыне, и их радостному восторгу не было выражений, не было предела – они целовали руки, ноги императрицы и ее платье.

Двое из них вели уже под руки священника для присяги. И Измайловский полк первый присягнул императрице Екатерине II.

Потом в предшестве священника в полном облачении с крестом Екатерина отправилась в Семеновский полк. Он вышел навстречу с криками «ура»!

Сопровождаемая измайловцами и семеновцами государыня отправилась в Казанский собор. Здесь ждал ее архи-

епископ Дмитрий. Тотчас же начался молебен, на ектиниях которого провозглашали самодержавную императрицу Екатерину Алексеевну и наследника Павла Петровича.

Между тем явились преображенцы и конная гвардия.

– Виноваты, что позже пришли, – кричали они, – не пускали нас!

А в новоотстроенном Зимнем дворце собрались уже Синод и Сенат. Действительно, все уже было готово к провозглашению самодержавия Екатерины!

В Зимнем дворце, куда направилась она из собора, были составлены манифест и присяга. Войска окружили дворец, и семеновцы заняли караулы.

Канцлер Воронцов явился было с упреком к Екатерине – зачем она оставила Петергоф, но его повели в церковь для присяги.

Потом приехали из Петергофа Трубецкой и Шувалов. Они хотели увериться в расположении войск и, если нужно, начать расправу, но и их повели присягать без долгих разговоров.

Вечером Екатерина во главе гвардии сама выступила к Петергофу. Она ехала с Дашковой, верхом, в преображенском мундире старого образца и с дубовыми ветвями на шляпе.

Ночью во время пути повстречался гонец из Ораниенбаума. Петр III, окруженный полутора тысячей голштинцев в своем Ораниенбауме, прислал отречение от престола, который передавал Екатерине.

Артемий, хоть и не имел службы именно в строю, но участвовал в этом походе.

В числе прочих офицеров он увидел тут и Карла Эйзенбаха, который ехал, окруженный молодыми сослуживцами, не бывшими заблаговременно в заговоре и примкнувшими к нему по внезапному влечению, которым были охвачены все, и громко, нарочно громко рассказывал им подробности всего дела и называл имена участников.

Артемий, слышавший это издали, видел, что никаких подробностей молодой Эйзенбах не знает и говорит, видимо, по догадкам, но вместе с тем имена участников он называл совершенно верно.

Артемий не мог понять, откуда Карл мог получить эти сведения. Он не мог понять, потому что не знал, что список, перехваченный Торичиоли, попал к Эйзенбаху и что произошло потом.

Придя случайно к Торичиоли и увидев на его столе пакет на свое имя, Карл распечатал, увидел, в чем дело, и, захватив бумаги, бросился домой. Однако сведения были для него слишком ценны, чтобы делиться ими с кем-нибудь. Он решил лично отправиться к государю, доступ к которому можно было найти через кого-нибудь из голштинцев.

Ехать сейчас было поздно, и Эйзенбах решил подождать до утра. Но, чтобы кто-нибудь раньше его не предупредил императора, он написал анонимный донос к коменданту и отрезал фестонем угол у своей бумаги, с тем чтобы, когда

дело вскроется, прийти с отрезанным углом и доказать таким образом, что и эти сведения даны им.

Однако на другое утро оказалось уже поздно. Екатерина была провозглашена императрицей, и Карл, заметив, что партия Петра III слишком малочисленна и дело его окончательно проиграно, одним из первых закричал у Казанского собора «ура!» самодержавной императрице Екатерине.

Он, разумеется, тоже принял участие в петергофском походе и здесь извлекал из имевшихся у него сведений всю ту пользу, которую мог извлечь, то есть делал вид, что был одним из деятельных пособником государыни, в доказательство чего может назвать всех своих остальных товарищей по именам. Он делал собственную карьеру и касался политики лишь настолько, насколько могла она касаться его.

XIX. Розы

Утром двадцать девятого июня Екатерина, получив отречение Петра III, вернулась в Петербург уже неоспоримой распорядительницей судеб обширной России.

Артемий, не спавший две ночи подряд, едва добрался до дома после похода, упал на постель и заснул крепким, непробудным сном.

Теперь он мог спать спокойно. Задуманное ими «действие» совершилось – Россия была спасена от добровольного иностранного ига.

Целый день проспал Артемий не просыпаясь, но вечером его разбудили страшный шум и гам на улице.

«Что это? – вскочив и ничего не понимая, подумал Артемий. – Уж не пожар ли?»

Он прислушался, не слышать ли набата, но колокола нигде не было слышно. А на улице гудел неумолчный гам, и стон стоял от криков и возгласов.

«Боже мой!.. Что случилось?» – забеспокоился Артемий. Времена были беспокойные, и хотя казалось, что все хорошо, однако трудно было еще ручаться за следующую минуту.

Ни своего денщика, ни квартирной хозяйки, ни конюха он не мог дозваться, все они куда-то исчезли.

Артемий вскочил и, быстро одевшись, вышел на улицу.

Причину шума оказалась толпа, собравшаяся у погреб-

ка, где шло пиршество: солдаты и солдатки в неистовом восторге носили ушатами вино, водку, пиво и мед и лили все вместе без разбора в кадки и бочонки, что у кого случилось.

«Ишь их, радуются!» – успокаиваясь, подумал Артемий и, не пытаясь остановить веселье, прошел мимо, крикнув солдатам:

– Живите, братцы!

– Рады стараться! – прокричали солдаты.

Артемий пошел дальше и везде увидел повторение все тех же сцен: везде были веселье и радость. Сначала это нравилось ему, но, чем более подвигался он, тем более буйный характер принимало это веселье. Народ опьянел и стал уже разносить кабаки и трактиры.

Показались конные разъезды, но они ничего не могли поделать. Буйство разыгрывалось. Стекла звенели, рев диких песен, хохота, ругани и радостных возгласов стоял в воздухе.

Произведенный в этот день разгром оказался столь великим, что впоследствии, в продолжение нескольких месяцев, купцы били челом «о возвращении им за растащенные, при благополучном возвращении ее императорского величества на императорский престол, напитки и вина проторей и убытков».

Впоследствии можно было вернуть эти протори и убытки, когда оказалось, что, кроме них, ничего не случилось более тревожного, – в самый же день буйства трудно было сказать, чем оно могло кончиться.

Артемию, когда он шел по улице, пришлось уже несколько раз сторониться к стенке от пьяных, и пьяные, расходившиеся солдаты не узнавали в нем офицера. Артемий шел, собственно, без определенной цели: беспокоиться ему был не о чем: ни дома, ни добра, которое могли бы растащить, у него не было; но он хотел пробраться ко дворцу, чтобы посмотреть, что делается там.

На одном из перекрестков он увидел карету. Она не могла пробраться сквозь сгустившуюся в этом месте толпу.

Артемий поглядел, кто сидит в ней, чтобы помочь, если это была женщина, и, заглянув, узнал Сен-Жермена.

Ни особенной радости, ни волнения не было заметно на лице графа – он оставался по-прежнему таким же невозмутимым, каким видел его Артемий в Кенигсберге и каким наблюдал его вчера, третьего дня ночью, когда они уезжали в Петергоф.

– Это вы, сержант? – узнал его граф. – Ну, что, вас можно поздравить?

– Да, – проговорил Артемий, – но эта толпа... Что они делают – это ужас...

Граф улыбнулся своею особенною улыбкой.

– Эта толпа! – повторил он. – А что же вы бездействуете?.. Если эта толпа разойдется совсем, то после кабаков начнет разносить барские хоромы.

У Артемия не было барских хором и защищать ему был некого и нечего.

– А Ольга? – вдруг проговорил Сен-Жермен. – Идите к ней!.. Может быть, она нуждается в эту минуту в помощи... Неужели вы хотите, чтобы кто-нибудь другой помог ей?

Словно варом обдало Артемия. Ольга!.. Он забыл о ней в эту минуту, он, в чьих мыслях жила она столько лет неотлучно, и забыл именно тогда, когда нужнее всего было вспомнить о ней.

И ему живо представилось, в каком она теперь, может быть, положении. Полупьяная дворня разбежалась, старый князь, вероятно, во дворце, никого нет возле Ольги; она одна, одна! Бог знает, что выйдет из этого пьянства, и если действительно оно примет размеры полного уже беспорядка. Да, граф прав, как всегда, прав – нужно идти к ней!

– Ну, вот видите! – подтвердил Сен-Жермен и, высунувшись из окна, потому что кучер, пользуясь удобной минутой для свободного проезда, тронул лошадей, добавил, кивнув Артемию: – До свидания! Если захотите видеть меня, то найдете в большом дворце.

Но Артемий уже машинально воспринял его слова, машинально ответил на его поклон поклоном; теперь у него была цель, куда идти, и он весь отдался этой цели.

Решение, как поступить, у него составилось быстро. Прямо, с парадного крыльца, он не пойдет к Проскуровым – во-первых, потому, что это будет похоже на довольно странный визит, а во-вторых – просто потому, что двери парадного крыльца могут быть заперты. Нет, нужно зайти с другой сто-

роны дома, к той решетке сада, где он уже видел Ольгу, и там, в саду, ждать, если будет нужна его помощь, если же – нет, то никто не узнает о том, был он или нет.

Артемий ускорил шаг и, не чувствуя ног под собою, шел быстро вперед, чуть ли не обгоняя экипажи, которые постоянно задерживались толпою.

Он вздохнул свободнее и легче, когда повернул в пустынный проезд, на который выходили заборы садов.

Здесь не было кабаков, не было трактиров и не было толпы, пьяный гул которой доносился теперь лишь издалека. Артемий уходил от этого гула, оставляя его за собою и приближаясь к знакомой уже решетке проскуровского сада.

Вот наконец и эта решетка. Она стоит так же безмолвно, как стояла и третьего дня, и густые ветки опустились над нею так же.

День был красный, жаркий, и вечер сменил его удивительный, тихий. На небе не было ни облачка, в воздухе ни малейшего движения. И тишина эта, вдали того гама, из которого только что вышел Артемий, еще более оттененная этим гамом, казалось полна чарующей, волшебной прелести.

Артемий огляделся. Хорошо было тут. Пустынный проезд терялся в отдалении. Ни души не было видно.

Артемий перескочил канаву и легко, словно его подбросил кто, перебрался через решетку.

Он очутился в саду – в «ее» саду, где «она» гуляла, ходила каждый день, где каждый шаг должен был напоминать о ней.

И он действительно напоминал – такая святая тишина и прелесть, именно прелесть царила кругом!.. Но куда было идти?

Артемий пошел наугад. Нерасчищенная, заросшая травой аллея вела в глубь сада. Артемий выбрал ее.

В конце аллеи оказался розовый цветник. Одурачивающий, сладкий запах розанов так и обдал Артемия, так и напомнил ему такой же цветник и такие же розы в далеком Проскурове, в далеком и милом Проскурове, где он провел такие счастливые годы.

Вернется ли это счастье вновь?

«Да, вернется», – словно произнес какой-то голос в сердце Артемия, и он смелее вошел в цветник.

Там на скамейке сидела Ольга.

Она сидела, точно ни о чем не думая, далекая от всех волнений, ото всего, что происходило там, в городе, далекая, как далек казался и этот тихий сад от уличного шума и беспорядка.

Она не испугалась и не вздрогнула при появлении Артемия. Ее глаза остановились на нем, но остановились бессмысленно, без всякого выражения; в ней, казалось, происходило внутри что-то страшное, но тихое; она точно прислушивалась сама к себе, искала чего-то в себе и не могла найти. Такой взгляд бывает у помешанных.

Но Артемий, глянув ей в глаза, мог заметить только одно – что в них все еще не было того выражения любви, которого

он искал. О том, что в них не было никакого выражения, он вовсе и не думал.

– Ольга Андреевна... Оля! – вдруг проговорил он. – Неужели все кончено, все забыто... неужели... – он приблизился к ней. – Боже мой, неужели бесследно прошли те счастливые часы, которыми мы жили в Проскурове? Неужели забыла ты, что моя жизнь в тебе одной, в одной тебе, моя прелесть, моя радость!

Колено его согнулось само собою, и он опустился на него, глядя Ольге прямо в глаза; голос его был нежен, тих; казалось, он не говорил, а дышал только, и это его дыхание была она, Ольга, потому что в ней заключалась вся жизнь его.

Розы струили свой чудный одуряющий аромат, и вдруг, как нарочно, словно он ждал этой минуты, где-то недалеко, вблизи, запел соловей.

Ольга вытянула шею, прислушиваясь. Эти розы, этот влюбленный шепот, эта песнь соловья напоминали ей что-то, и это «что-то» было именно то, что она мучительно никак не могла вспомнить, все время не могла и не могла понять, что это и когда это было с нею – здесь ли, в этом ли мире или когда она еще не родилась и жила, наверное, в ином – более счастливом – мире. Теперь, сегодня это близкое ей, но не разгаданное воспоминание так и жгло ее.

Она внимательно и долго глядела Артемию прямо в глаза, слушая и не отстраняя его, и вдруг... вспомнила ли она или новое чувство охватило ее, но она, всплеснув руками и

крикнув, упала на грудь Артемию. Она была спасена – она любила вновь.

XX. Предательство

Все участники «действия» 28 июня получили щедрые награды: Григорий Орлов стал первым лицом. Чины, ордена, деньги и пенсии так и сыпались в первые дни екатерининского царствования.

Государыня награждала всех, со всеми была ласкова. За стариком Бестужевым был уже послан гонец для возвращения его из ссылки. Непосредственные пособники переворота, молодые и старые гвардейцы, получали придворные звания, ленты и звезды.

Один Артемий не знал еще, какая участь ожидает его. Он не шел ни во дворец, ни к своему приятелю Орлову, потому что жил теперь от вечера до вечера – от одного свидания с Ольгой до другого.

Да, они теперь виделись каждый день, счастливые снова, снова любящие и радостные, виделись украдкой в саду, но это не мешало прелести их свиданий.

И эти свидания были для Артемия жизнью, а все, что было вне их и между ними, казалось сном, прозябанием каким-то; он не мог еще прийти в себя, не мог опомниться от своего счастья.

Однако ему готовилось мучительное отрезвление.

Придя, как обыкновенно, на свидание с Ольгой, счастливый и радостный Артемий застал ее в слезах, и, плача, она

принялась рассказывать ему, что сегодня прислали за ее отцом во дворец, что его приняла там сама государыня, что она была милостива, обласкала его и вызвалась сама посвятить его дочь. Старый князь был в восторге от приема и лишь просил императрицу назвать удобного ей жениха. И императрица назвала маркиза Каулуччи.

Это была старинная итальянская фамилия, но при русском дворе ее слышали в первый раз; никого тут не было, кто носил бы это имя. Кто этот маркиз Каулуччи, откуда он?.. Но старый князь не спрашивал заранее и, разумеется, дал свое согласие.

Как сумасшедший, вернулся Артемий домой, не помня, как он добрался туда, не помня и не понимая ничего.

Неужели муки его еще не кончились, неужели он не заслужил еще своего счастья и неужели это счастье отнимется вновь от него и тогда, когда оно было снова так близко и возможно?

Мысли Артемия путались, он не мог уже ничего сообразить, он был словно помешанный.

Нужно было пойти к кому-нибудь, нужно было, чтобы другой кто-нибудь помог разобраться, научил, что делать. Сам Артемий не мог думать.

Во всяком случае, он решил, что никому не отдаст Ольгу; кто бы ни был этот неизвестно откуда взявшийся маркиз, но он увезет ее силой, потихоньку обвенчается с ней – так они уже решили.

Но нужно действовать скорее, нужно действовать, а сил нет нужно, чтобы кто-нибудь помог.

Орлов? Конечно, он поможет, но теперь у него все время занято – он что-то делает там, у них дела какие-то, государственные... перевороты...

«И как они могут заниматься все этим, – в отчаянии думал Артемий, – когда мы погибаем?»

Сен-Жермен? Да, он, конечно, должен помочь, он может все сделать, если захочет.

И вдруг, вспомнив о Сен-Жермене, Артемий вскочил, точно его коснулись каленым железом. Его поразила вдруг явившаяся у него мысль: «А что, если этот неизвестный до сих пор маркиз Каулуччи – не кто иной, как сам граф?»

Остановившись на этой мысли, соображение Артемия стало работать в этом направлении.

Прежде всего Ольга была такою прелестью, что всякий должен был видеть это и не мог не полюбить ее. Следовательно, граф, видевший ее, должен был полюбить. А он не только видел ее, но и бывал у князя. Артемий помнил, как он собственными глазами видел, как Сен-Жермен выходил из кареты у дома князя Проскурова.

Потом, что значили эти слова графа о том, что он почему-то виноват, что Ольга забыла Артемия? Мало того, он послал в день опасности бунта Артемия к Ольге – ясно, потому что ему самому было необходимо быть во дворце, а между тем он беспокоился о ней и послал верного человека.

Потом он просил государыню как единственную награду за свое участие в деле – устроить его свадьбу с княжной Проскуровой. Некому и быть другому! Нет сомнения, что он назвался теперь маркизом Каулуччи: он постоянно меняет имена, и, вероятно, устроил как-нибудь, чтобы получить эту фамилию. Все это ясно.

Но неужели граф, этот безупречный до сих пор человек, способен на все это?

А почему нет? Как узнать людей, как влезть в их душу? Наконец, чего ни сделает любовь? Ведь любил же он когда-то, значит, мог вновь полюбить.

«О, если так, – решил Артемий, – то сейчас же пойду к нему, узнаю истину и, если только он не сознается мне, убью его на месте! Все равно, другого выхода у меня нет».

И весь разгоряченный, словно боявшийся, чтобы не остыл его гнев, Артемий выскочил на крыльцо, бросился на первого попавшегося извозчика и велел везти себя во дворец.

Теперь он вспомнил, где граф велел искать его, когда понадобится Артемию. А еще бы теперь не нужен был ему!

Не помня себя, влетел Артемий в подъезд и крикнул, чтобы его сейчас же провели к графу. Его не поняли... Он вспомнил, что нужно спросить Одара (он готов был уже спросить маркиза Каулуччи), и потребовал Одара. Его повели по коридору.

– Не надо доклада! – крикнул он опять и, оттолкнув лакея от двери, вошел в комнату.

Комната, которую занимал теперь граф, была очень скромною. Тут же находилась постель, тут же было и бюро, у которого сидел Сен-Жермен.

– Что за тревога, что за шум? – спросил он, поднимаясь навстречу Артемию. – Что с вами? Вы на себя не похожи.

– Сейчас, сейчас вы узнаете, что со мной! – заговорил Проскуровский. – Маркиз... Маркиз Каулуччи – вы, вы?

– О, не так сердито и, главное, не будем торопиться! – улыбнулся граф.

– Я вас спрашиваю только, вы ли – этот Каулуччи?... Я-то знаю, что вы, но, скажите, да или нет?

– Это очень грозно, мой друг! – снова улыбаясь ответил граф.

– Да или нет, говорю вам?!

Сен-Жермен, все продолжая улыбаться, со своим невозмутимым спокойствием смотрел на Артемию.

«Какое спокойствие! – бешено подумал тот. – Смотрит, точно правый, а сам не говорит!.. Ну, так вот же... Это он... Да, вот же?»

И, окончательно не владея собой, Артемий выхватил из кармана короткий финский нож, попавшийся ему под руку пред отъездом из дома, и, не успев опомниться, ударил в грудь графа. В глазах у него потемнело.

Только нанеся удар, он опомнился и сознал, что он сделал, но вместе с тем ощутил страшную физическую боль, с которою сжимали ему вооруженную руку.

Он открыл глаза. Граф, все так же спокойный, целый и невредимый, стоял пред ним и держал его руку. Нож скользнул по надетой на графа под камзолом кольчуге и не принес никакого вреда.

– Вы хотели убить маркиза Каулуччи, – проговорил граф, – вы хотели убить себя.

Артемий стоял шатаясь. «Как – себя?» – подумал он.

– Да, – продолжал Сен-Жермен, – потому что сегодня утром вы получили имя маркиза Каулуччи.

И, отстранив руку Артемия, он не спеша подошел к бюро, достал оттуда синюю, сложенную вчетверо бумагу и подал ее Артемию.

Эта бумага была той самой, которую граф три года тому назад оставлял в Париже на заботу принцессы Иоганны.

Старый маркиз Каулуччи, умерший тогда в Париже, был отцом Торичиоли. Но в бумаге имя Торичиоли не было упомянуто, там было сказано лишь, что маркиз Каулуччи усыновляет воспитанника русского князя Проскурова, Артемия, и передает ему после смерти все свое состояние.

Отец Торичиоли получил свой титул и богатство после того, как его сын Джузеппе уехал в Россию и они потеряли из вида друг друга.

Теперь завещание старика маркиза было признано и утверждено правительствами итальянским и русским.

В деле о «действе», произошедшем 28 июня в Петербурге, была также заведена переписка «об опасных и противных царствованию ее величества лицах», и в числе их был упомянут иностранец, итальянский подданный Торичиоли, пытавшийся в знаменательный день прорваться через петергофскую рогатку, для сообщения подозрительных сведений. На третий же день нового царствования он был выслан из России без права когда-нибудь въехать сюда.

Артемий, получив новый титул и богатство, женился на Ольге и счастливо прожил с нею в деревне, куда уехал немедленно после свадьбы. О своем отце он никогда не узнал, и кто был усыновивший его маркиз Каулуччи, для него осталась тайной.

Из всех участников события 28 июня только он и граф Сен-Жермен отказались от всяких почетных и вообще каких-нибудь наград. У Артемия в лице Ольги были самые высшие награды, и большего, как жить с нею в тиши и вдали от всякого шума, он не желал.

Сен-Жермен же действовал не ради награды и был человеком, который не нуждался в ней. Он, очевидно, знал нечто такое, что было тоже больше всяких наград, и довольствовался своим знанием.

В иностранных источниках сохранилось свидетельство

маркграфа д'Анспаха о том, что, когда он в 1772 году встретился вместе с Сен-Жерменом в Нюрнберге с князем Григорием Орловым, последний называл Сен-Жермена «*тiо саго радре*»⁴ и говорил маркграфу, что этот человек сыграл выдающуюся роль в деле 1762 года.

⁴ Дорогим отцом (*ит.*).